Макиавелли

Гравюра из издания Tesii *1545 г.*

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Под общей редакцией

А. К. Дживелегова

НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ

(1469—1527)

ACADEMIA

Москва — Ленинград

87.3
М-15
Инв.

НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ I

ПРОВЕРЕНО

Переводы

А. І. Габричевского, А. К. Дживелегова, М. А. Петровского, М. С. Фельдштейна и С. В. Шервинского

Статья и редакция А. К. Дживелегова

Предисловие [illegible]

Библиотека [illegible]
инв. № 6131
97

ACADEMIA
1934

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА им. В. И. Ленина
Секретарь цеха № 6

NICCOLÒ MACHIAVELLI

OPERE

Супер-обложка и переплет
П. А. Лякринского

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТДЕЛ
ЦБ им. Ленина

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
им. В. И. Ленина

БИМС без предисловия

НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ

ЧИТАЛЬНАЯ
им. Ленина

...Doloroso Machiavelli
Maturava li pio desir...

G. Carducci

...Чистую вынашивал мечту
Макиавелли скорбный,..

Дж. Кардуччи

I

Едва ли случайно, что мы не знаем буквально ничего о молодости Макиавелли. В 1498 году, двадцатидевятилетним зрелым человеком, поступил он на службу республики. До этого он ничего не писал. До этого он нигде не выступал. И до такой степени сразу в своих служебных донесениях и в неслужебных писаниях он обретает манеру обстоятельного чиновника и язык опытного литератора, что начинает казаться, будто ничем другим в жизни он так и не был. А молодым вообще не был никогда. Представить себе Макиавелли юным, с гибким телом, со свежими красками на лице, с искрящимися глазами, с беззаботным смехом, всегда готовым на любую сумасбродную проделку,— необыкновенно трудно. Его единствен-

ный, повидимому, не фантастический, портрет[1] показывает его совсем другим.

Бюст костлявого, чуть сгорбленного человека. Лицо худое. Плохо выбритые, впалые щеки. Утомленные глаза сидят глубоко, смотрят рассеянно и беспокойно, но в них много затаенной думы, и они способны загораться порывами решимости и энергии. Много думы и под высоким морщинистым лбом, лысеющим спереди зализами. Рот большой, окружен бесчисленными складками, в которых прячутся большие и малые душевные боли, тоска, разочарование. Губы чувственные; если на них заиграет улыбка, она будет насмешливая, недоверчивая, злая, циничная, едва ли часто добродушная. Нос — длинный, крючковатый, с тонким висящим концом. Голова мыслителя и человека дела, невеселого эпикурейца, Мефистофеля в миноре. На гравюре нет красок, и так становится жалко, что лицо одного из величайших людей Италии и Европы не увековечила кисть большого мастера: сколько их было кругом него во все моменты его жизни!

Каков был Макиавелли в пожилые годы, таков должен был быть и в молодости. Знакомясь с его жизнью и с его произведениями, особенно с самыми интимными, с его замечательными письмами, нельзя отделаться от одного впечатления. На протяжении тридцати лет, что мы его знаем, всегда, при всех обстоятельствах,— в делах, в творчестве, в развлечениях, в моменты серьезные и радостные, сидело в нем что-то больное, не растворяющийся ни при каких условиях осадок горечи. Откуда он?

---

[1] Приложен к изданию „Discoral" 1540 г., воспроизведен при собрании сочинений 1550 г. („La Testina").

Момент поступления на службу делит жизнь Макиавелли на две почти равные половины. Вторая известна нам хорошо. Первую мы не знаем совсем, а знаем только то, что служило ей фоном. Бурные были времена, и в то же время самые блестящие в истории его родного города. В 1478 году, девятилетним мальчуганом, Никколо видел, как обезумевший народ гонялся по улицам за членами семьи Пацци и их сторонниками, как висели в окнах Дворца Синьории архиепископ Сальвиати в лиловой рясе, Франческо Пацци совсем голый, с окровавленной ногою и трое Якопо: два Сальвиати, родственники архиепископа, и один Браччолини, сын Поджо. Четвертый Якопо Пацци, повешенный тоже спустя два дня и похороненный в Санта Кроче, был удален из церкви и закопан где-то под стенами. Его вырыли из второй могилы, и мальчишки, захлестнув труп за шею веревкою, волокли его по городу, подтащили к собственному его дому, громко крича, чтобы отворили хозяину. Потом бросили в Арно. Маленький Никколо если и не был свидетелем всего этого, то не мог не слышать разговоров. Порукою необыкновенная даже в „Истории Флоренции" пластичность рассказа о заговоре Пацци.

Подрастая, Никколо наблюдал режим Лоренцо, необыкновенный блеск культуры и быта: празднества, турниры, процессии, карнавальные шествия с мифологическими фигурами, в устройстве которых соперничали Сандро Боттичелли и Пьеро ди Козимо. Он ходил смотреть в Санта Мария Новелла только что открытые, сверкавшие свежими красками фрески Гирландайо и слушал около них разговоры о том, как похожи изображенные художником Анджело Поли-

циано, Марсилио Фичино, Кристофоро Ландино. Наблюдательность понемногу становилась острее, и он начинал понимать, что под этим блеском уже кое-где проступают признаки упадка, что торговля и промышленность больше не поднимаются, а идут к уклону, что тирания Лоренцо жестче, чем тирания его деда, что республика крепко зажата в кулак, а свобода существует только в льстивых панегириках, расточаемых Лоренцо гуманистами. И чем лучше понимал это Никколо, тем меньше нравились ему пышные процессии и тем меньше хотелось ему веселиться под звуки карнавальных песен.

Ему было двадцать три года, когда смерть Лоренцо резко покончила с этим обманчивым покоем. При Пьеро Медичи флорентинская тирания, поглупевшая и обнаглевшая, стала быстро катиться к пропасти. Не успело успокоиться ликование, вызванное падением Пьеро, как в город явились французы. Диалог между Карлом VIII и Пьеро Каппони: „Я прикажу ударить в барабаны".— „А мы ударим в колокола",— короткий, как звон скрестившихся клинков, заставил город целые дни трепетать от тревоги и ярости. Но король испугался, и французские барабаны вместо атаки забили отступление. Никколо переживал со всеми эту встряску. И все думал.

Потом пришло царство монаха. Революционные пророчества гремели под куполом Брунеллеско. Конституция переделывалась по указаниям библейских текстов и благочестивых видений. Очистительные костры зловещим заревом освещали городские площади. Вериги и власяница истязали под нарядами тела женщин. Савонарола попал в круг зрения Никколо, когда его дела решительно пошли хуже. И не покорил

его, как других. Никколò ни на одну минуту не был увлечен бурным, экстатическим красноречием его проповедей и был даже непрочь смотреть на него как на вульгарного обманщика[1]. Он не мог не видеть костра, на котором сгорел неистовый пророк, и если стоял не очень далеко, видел и то, как сверху „падал дождь из крови и внутренностей". Когда бросили в Арно прах Савонаролы, Никколò поступил на службу к республике, спешно секуляризировавшейся под успокоенные благословения папы Александра VI.

Поводов для размышления было достаточно, а голова — хорошая. Не хватало только настоящей подготовки. В семье не было избытка, и образование Никколо получил самое суммарное. Греческого он, повидимому, все-таки не знал[2], а в латинском не мог угнаться за матерыми гуманистами. На юридическом факультете перенесенного во Флоренцию Низанского Студио, где учился Гвиччардини, ему побывать не пришлось. Он не имел даже нотариального стажа. Его учитель друг Адриани носил классическое имя — Марчелло Вирджилио, но совсем не был для него тем, чем для Данте его Вергилий. Он слегка учил его латыни и помог потом устроиться на службу.

Настоящею школою Никколò была флорентинская улица, этот удивительный организм, где формировалось столько больших умов. Дома он читал древних и Данте. Бродя по улице, получал среднее и высшее

---

[1] Lettere familiari di N. Machiavelli publicate per cura di Ed. Alvisi (ed. integra), 1883. Письмо 3. Цифра впредь всегда будет означать порядковый номер письма в сборнике Альвизи.

[2] Хотя много потрачено ученого остроумия для доказательства противного.

образование. И проходил курс политики. Ибо в Италии, а значит и во всем мире, не было города, где политику можно было бы изучать с большим успехом. У венецианцев опыта и умения политически рассуждать было, конечно, не меньше. Но в Венеции политика была уделом немногих: для большинства она находилась под строжайшим запретом. Во Флоренции политиками были все. Только там можно было видеть на улице живые хранилища политического опыта, важные фигуры в разноцветных кафтанах и плащах, в капюшонах с длинными концами, обвивавшими шею и перекинутыми через плечо, носителей самых громких имен славного республиканского прошлого, модели Беноццо, Гирландайо, Филиппино. Они любили стоять на площадях перед большими церквами, торжественные с серьезными неулыбающимися лицами, со стиснутыми губами, которые словно боялись разомкнуться, чтобы не выдать тайну, с тихой скупой речью. Не всегда во Флоренции политический опыт накоплялся в спокойной обстановке, иногда его приходилось усваивать под звон мечей, под грохот разрушаемых зданий, под жуткое гудение набата, в дыму пожаров: среди заговоров и революций. А в мирное время политика сплеталась с весельем, ей вторили карнавальные песни и хороводные припевы. Политика пропитывала все. Макиавелли ею опьянялся.

И все-таки капля горечи отравляла его дух уже в молодости. Происхождение и способности открывали ему дорогу к широкой политической карьере: не было нужных связей. Для преуспевания в обществе он обладал всеми данными: не хватало средств. Успеху у женщин мешала несчастная наружность. А когда наконец удалось устроиться — поздно, в двадцать де-

вять лет,— место было отнюдь не блестящее: наиболее доходные доставались по традиции людям с хорошим гуманистическим стажем. В канцеляриях Дворца Синьории на лучших постах корпело над бумагами сколько угодно таких надутых, бездарных гуманистических павлинов. Никколо был принят в канцелярию Синьории — канцлером на место Салутати, Бруни и Ноджо сидел его учитель Адриани — и откомандирован в качестве секретаря в Коллегию Десяти, ведавшую иностранными и военными делами. Должность хлопотливая, утомительная, требовавшая огромной работоспособности, быстрого, точного, красивого пера и совершенно исключительной физической неутомимости. А вдобавок не давала ни достаточной самостоятельности, ни хорошего дохода, ни надежды выдвинуться. Где Никколо сел в 1498 году, после аутодафе Савонаролы, там и прижала его в 1512 медичейская реставрация. Когда новые хозяева Флоренции прогнали его с места, он ни деньгами, ни положением не был богаче, чем четырнадцатью годами раньше. А горечи накопилось много.

У секретаря Коллегии Десяти были обязанности двух родов: он управлял канцелярией Коллегии и должен был исполнять дипломатические миссии, которые почему-либо считалось неудобным поручать аккредитованному послу, „оратору" республики. Никколо не имел полномочий вести переговоры и решать вопросы [1]. Он должен был добиваться приема, разговаривать, убеждать, собирать сведения и о результатах доносить Десяти или самой Синьории. За

[1] За исключением разве наименее ответственных миссий, вроде пьомбинской.

четырнадцать лет таких поездок набралось около двух десятков. Никколò их не любил и должен был сильно морщиться, когда получал очередной наказ. Все они начинались более или менее одинаково. „Niccolò tu anderai infino a...“ Или: „Niccolò, tu cavalcherai in poste a...“ Или: „Niccolò, tu cavalcherai in ogni celerità a trovare...“ „Ты отправишься...“, „Ты поедешь на почтовых...“, „Ты поскачешь как можно скорее...“, Ты поедешь!“, „Ты поскачешь!“ — слова, которые, казалось, подчеркивали, что он человек маленький и подневольный. Денег при этом отпускали ему в обрез, так что частенько приходилось приплачивать из собственного кармана, надоедать сослуживцам просьбами о присылке денег и обременять дипломатические донесения аналогичными постскриптумами. Купцы, правившие республикой, не любили раскошеливаться без крайней нужды. Между тем у Никколò расходы росли. Он женился, пошли дети. Требования представительства становились больше. И хотелось не так скупо тратить на жизнь и на удовольствия: ибо Никколò — мы увидим — не был ни стоиком, ни аскетом. Средств решительно не хватало. Накопление опыта и коллекционирование политических наблюдений было единственной радостью, какую давала служба. А годы шли. Волос на голове становилось меньше, прибавлялись морщины на лбу, складки вокруг рта и горечь внутри.

В 1512 году разразилась катастрофа: сначала лишение службы, потом привлечение по делу о заговоре против Медичи, тюрьма, пытка веревкою. Потом — чистилище после ада — долгое прозябание в деревне бесплодные попытки устроиться вновь и ощущение бесповоротно разбитой жизни. Ибо в глазах самого

Макиавелли создание гениальных произведений было ничто по сравнению с тем, что ему не удалось вновь и по-настоящему выбиться на дорогу.

Горечи стало так много, что она превратилась в мрачный пессимизм.

Один из приятелей писал ему однажды: „Если бы я знал, куда обратиться с такой молитвою, я бы просил, чтобы скорее все беды этого мира свалились мне на голову, чем та, моровой язве подобная, отвратительная, гнилая (pestiferissimo e dispiatatissimo et putrefato) болезнь, которая зовется меланхолией и которая, я знаю, гнетет одного любимейшего нашего друга. Да избавит его от нее природа“ [1].

Макиавелли это отлично чувствовал и знал, что от такой болезни нет лекарства. В одном из писем к Веттори [2], пересыпанном шутками, он вспомнил стихи Петрарки:

Però se alcuna volta io rido o canto,
Follo perche non ho se non quest'una
Via, da sfogare il mio angoscioso pianto.
И если иногда смеюсь я иль пою,
То потому, что мне лишь этот путь остался,
Чтоб горькую слезу не показать свою [3]

---

[1] Lett. fam., 88, от Филиппо Казавеккиа, о котором будет речь ниже.

[2] Lett. fam., 122.

[3] Последний терцет сонета Петрарки 70 — 81, причем третий стих цитирован неточно. У Петрарки — не sfogare — облегчить, а celare — скрыть. Впрочем, и слово sfogare, которое Стендаль находил таким многомысленным и удивительным, стоит тут же, в восьмой строке сонета. Стендаль превосходно чувствовал горечь, пронизывавшую все существо Макиавелли. Про „Мандрагору“ он говорил, что она была бы превосходной комедией, если бы автор ее был более веселым человеком („Histoire de la peinture en Itiaoe“, éd. 1868, II.

II

Однажды, когда Макиавелли, находившемуся в командировке, грозила некая неприятность, Биаджо Боначкорси, его приятель, служивший у него в канцелярии, в взволнованном письме сообщал ему обстоятельства дела и, рассказывая, как он старался ликвидировать инцидент, писал: „У вас так мало людей, которые хотели бы притти к вам на помощь; я не знаю почему“ [1].

Простодушный Биаджо поставил вопрос, который и сейчас еще не перестает интересовать всякого, кого интересует судьба Макиавелли. Действительно, почему никогда не имел Никколò настоящего друга, который готов бы был не то что чем-нибудь для него пожертвовать, а просто сделать для него что-то требующее серьезных усилий?

Такие, как сам Биаджо или их общие приятели, Бартоломео Руффини и Агостино Веспуччи, конечно не в счет. Их связывали с Никколò канцелярия, интересы общей службы, зависимость от него, и близость их характеризуется больше непристойностями, которыми полна их переписка, чем настоящими душевными отношениями [2]. Он знал, что это — великие

---

[1] Lett. fam., 106, 27 декабря 1509.

[2] Никколò нисколько не смущали в письмах Биаджо ласковые cazo v'in culo по его адресу или сердитые li venga il cacasangue nel forame, сопровождавшие рассказ о товарище, из-за которого канцелярия получила разнос от Синьории, или подробные донесения ему о том, какие опустошения производит среди общих знакомых французская болезнь. Никколò отвечал своим „страдиотам“, повидимому, тем же. Руффини пишет ему (Lett. fam., 29): „Ваши письма к

друзья на малые услуги, и не обольщал себя. После катастрофы 1512 года они, как тараканы, расползлись во все стороны, забились каждый в свою щель и бесследно исчезли. И именно теперь, когда для Никколо дружеская поддержка была по-настоящему вопросом существования, вокруг него образовалась пустота. Остался один Франческо Веттори, его товарищ по миссии в Германию, в это время „оратор" Флоренции при курии Льва X. Он два года поддерживал с ним переписку, все кормил его обещаниями, но, имея все возможности, пальцем о палец не ударил, чтобы ему помочь. В конце 1517 года Никколо получил доступ в общество садов Ручеллаи. Молодежь образовала там вокруг больного Козимино Ручеллаи нечто вроде вольной академии. Кто-то привел Никколо, и он очень скоро сделался душою кружка, потому что никто не умел лучше него поддерживать живую и содержательную беседу. Молодежь была богатая и знатная, с большими связями: Дзаноби Буондельмонти, Филлипо дей Нерли, поэт Луиджи Аламанни, его тезка — кузен, философ Якопо Диачето, Баттиста делла Палла. Козимино был родственник Медичи, Филлипо — близкий им человек. Пока в 1522 году дело о новом заговоре не разбило кружка, члены его очень помогли Никколо. Именно они, повидимому, выхлопотали ему заказ на „Историю Флоренции". Но их отношение к Никколо была не дружба, а почитание учениками учителя.

Биаджо и к другим доставили всем огромное удовольствие, а словечки и шуточки (li mocti et facetie) заставили нас хохотать так, что мы чуть не вывернули себе челюстей". Душевнее других относился к нему Биаджо.

Около этого же времени Макиавелли сошелся с человеком очень крупным, родным ему по духу и равным по уму, вполне способным его понять,— с Франческо Гвиччардини. Однако и тут не было настоящей дружбы. Гвиччардини был важный сановник и большой барин, Макиавелли — бедный литератор и опальный чиновник. Гвиччардини очень ценил ум и талант Никколо, охотно принимал его советы и услуги, но Никколо ни разу не мог забыть, какое отделяло их друг от друга расстояние [1].

Таковы факты. Друзей Никколо не имел. Его не любили. Об этом свидетельствует современник, которому можно поверить, — Бенедетто Варки, историк. Рассказывая о смерти Никколо, Варки говорит [2]: „Причиной величайшей ненависти, которую питали к нему все, было, кроме того, что он был очень невоздержан на язык и жизнь вел не очень достойную, не приличествовавшую его положению,— сочинение под заглавием „Князь"... Но, конечно, главная причина „ненависти" была не в том, что Макиавелли писал вещи, которые разным людям и по-разному не очень нравились. Дело было в том, что Варки считал обстоятельством второстепенным: в личных свойствах Никколо. Такой, каким он был, для своей среды он был непонятен и потому неприятен. Его не стесняясь ругали за глаза. Верный Биаджо не раз со-

[1] Гвиччардини это немного даже обижало, особенно под конец. В одном из писем он просит Никколо прекратить пышное титулование, шутливо угрожая что будет отвечать ему тем же. „Бросьте же титулы,— пишет он,— и мерьте мои теми, каких вы хотели бы для себя" (Lett. fam., 193, август 1525).

[2] „Storia Fior". Ed. Le Monnier, 1888, т. I, стр. 200, кн. IV, гл. 15.

общал ему об этом с сокрушением сердечным[1]. Что ее делало его чужим среди своих?

Итальянская буржуазия не приходила в смущение от сложных натур. Наоборот, сложные натуры в ее глазах приближались к тому идеалу, который не так давно формулировали по ее заказу гуманисты,— к идеалу широко разностороннего человека, uomo universale. Но была некоторая особенная степень сложности, которую буржуазия переносила с трудом. Его не пугали ни сильные страсти, ни самая дикая распущенность, если их прикрывала красивая маска. Она прощала самую безнадежную моральную гниль, если при этом соблюдались какие-то необходимые условности. Гуманисты научились отлично приспособляться ко всем таким требованиям. За звонкие афоризмы, наполнявшие их диалоги о добродетели, им спускали все, что угодно. Макиавелли наука эта не далась. Он не приспособлялся и ничего в себе не прикрашивал.

Во всяком буржуазном обществе царит кодекс конвенционального лицемерия. Тому, кто его не преступает, заранее готова амнистия за всякие грехи. Макиавелли шагал по нему, не разбирая, а иной раз и с умыслом топтал его аккуратные предписания. Он был не такой, как все, и не подходил ни под какие шаблоны. Была в нем какая-то нарочитая, смущавшая самых близких прямолинейность, было ничем не прикрытое, рвавшееся наружу даже в самые тяжелые времена, нежелание считаться с житейскими и гуманистическими мерками, были всегда готовые сарказмы на кончике языка, была раздра-

[1] Lett. fam., 55 и 79.

жавшая всех угрюмость, манера хмуро называть вещи своими именами как раз тогда, когда это считалось особенно недопустимым. Когда „Мандрагора“ появилась на сцене, все смеялись: не смеяться было бы признаком дурного тона. Но то, что лица „Мандрагоры“ были изображены как типы, а сюжет был разработан так, что в нем, как в малой капле вод, было представлено глубочайшее моральное падение буржуазного общества, раздражало. Сатира была более злая, чем допускала лицемерная условность.

Если его осуждали за дурной характер и пробовали хулить за то, что он выходит из рамок, он всем на зло делал вдвое, не боясь клепать на себя и выдумывал себе несуществующие недостатки сверх имеющихся. Гвиччардини — правда, ему одному, потому что он был уверен, что будет понят им до конца — Никколо признавался с некоторым задором: „Уже много времени я никогда не говорю того, что думаю, и никогда не думаю того, что говорю, а если мне случится иной раз сказать правду, я прячу ее под таким количеством лжи, что трудно бывает до нее доискаться“ [1].

И эта бравада, по поводу которой Гвиччардини мог бы заметить, что она вполне подпадает под действие софизма об Эпимениде-критянине, и все остальные, которые так бесили его общество, имели источником своим полупренебрежительный, полупессимистический взгляд Макиавелли на ближнего своего. В последней, восьмой песне неоконченного „Золотого осла“ он вкладывает в уста свиньи грозно хрюкающую филиппику против человека, в которой ра-

[1] Lett. fam., 179.

Лоренцо Медичи

С портрета Вазари

обличаются недостатки, свойственные его природе. В сатире „Осел“ вторят общие положения больших трактатов: „люди злы и дают простор дурным качествам своей души всякий раз, когда для этого имеется у них легкая возможность“; „люди более наклонны ко злу, чем к добру“; „о людях решительно можно утверждать, что они неблагодарны, непостоянны, полны притворства, бегут от опасностей, жадны к наживе“ [1].

Люди не стоят того, чтобы быть с ними искренними. Люди не стоят того, чтобы из-за них терпеть невзгоды и огорчения. Люди не стоят того, чтобы задумываться об их участи, когда им грозит несчастье. А если они провинились и заслуживают наказания, не стоит их жалеть. Когда Паоло Вителли, кондотьер на службе у Флоренции, руководивший осадою Пизы, стал вести себя подозрительно и в руки комиссаров республики попали уличающие его документы, Макиавелли был в числе тех, кто требовал его казни (1499), а когда она была совершена, громко ее оправдывал. Когда Ареццо, летом 1501 года восставший и на некоторое время отложившийся от Флоренции, был приведен к покорности, Макиавелли в качестве секретаря Десяти писал комиссару с требованием выслать во Флоренцию главарей восстания: „Пусть их будет скорее двадцатью больше, чем одним меньше. И не задумывайся над тем, что опустеет город“ [2].

---

[1] „Discorsi“, I, 3 и 9; „Principe“, 17. Оговорка („Discorsi“, I, 27), что „люди чрезвычайно редко бывают или совсем дурными или совсем хорошими“ (по поводу Джан Паоло Бальони), имеет, как увидим ниже, особый смысл и не ограничивает основного суждения.

[2] Цит. у *Villari*, I, 377.

Но когда он сам сделался игралищем судьбы, попал в тюрьму и „на плечах его остались следы шестикратной пытки веревкою", он призывал гром и молнию на головы всего остального человечества, лишь бы его оставили в покое. „Пусть несчастье постигнет других, только бы мне спасти свою шкуру. Пусть бросят врагам моим кого-нибудь на растерзание, только бы они перестали грызть меня" [1]. Он — отдельно. Он выше других.

Другие могут стать жертвою политического террора или судебной ошибки, он — нет. Мерки разные. Как могло такое пренебрежение не злить тех, кого оно поражало?

И они ему отплатили. В то время как целая куча людей неизмеримо менее нужных, чем он, бездарные буквоеды, трухлявые пасквозь, были окружены кольцом близких, обременены почестями и благами, Никколо прошел свой путь одинокой, безрадостной тенью, и богатая Флоренция, умевшая оплачивать труды, позволяла ему с огромной семьею на руках горько нуждаться и искать заработка в сомнительных подчас аферах [2].

---

[1] См. *Villari*, II, 204.

[2] О том, как Макиавелли нуждался, мы знаем из писем его к племяннику Джованни Верначчи (Lett. fam., 160 и ряд следующих). Некоторый доход принесли ему хлопоты в Риме по делам Донато дель Карно, о котором будет речь ниже (Lett. fam., 152, от Баттисты делла Налла). „Жизнь Каструччо", полная тенденциозных измышлений, была написана для оправдания претензий на господство в Лукке наследников Паоло Гуппиджи и едва ли не была ими оплачена. См. *Winkler*, Castruccio Castracani (1897), стр. 2—3. Об этом см. ниже в примечаниях к переводу „Жизни Каструччо".

III

Как это ни странно, в эпоху такой неслыханной распущенности людям больше, чем что-нибудь, не нравились беспорядки интимной жизни Макиавелли. Варки — мы видели — на это определенно указывал. Гвиччардини дружески его за это журил. Правда, Никколò с некоторой, быть может, надрывной развязностью не делал из этих вещей никакого секрета. А злились на него больше всего те, кто особенно усердно скрывал свои собственные делишки.

Переписка Макиавелли дает пеструю и красочную картину этой стороны его жизни. Когда он говорит о женщинах, чувствуется, что каждая, самая мимолетная, связь чем-то его мучит. А он все-таки продолжает самым неразборчивым образом бросаться в новые приключения. Имена женщин мелькают в письмах постоянно. Все они — невысокого полета. То некая Янна, то другая, которую мы знаем не по имени, а только по месту жительства [1], то старая прачка в Вероне, которую подсунули ему в темноте и которая при свете оказалась до такой степени омерзительной, что его вырвало [2]. То куртизанка второй или третьей

[1] „Scis quam dicam etc. Lungo Arno da le Grazie". Это та, которая, по словам друзей, ждет его „a ficha aperta" (Lett. fam., 13).

[2] Lett. fam., 105. „Желудок, не будучи в состоянии вынести такой удар, содрогнулся и от сотрясения раскрылся" — „Lo stomacho per non poter sopportare tale offesa tucto si commesse et commosso oprò". Описана женщина с таким зверским натурализмом, что тошнит читать. Но нет оснований предполагать, как это делают биографы (*Villari*, II, 289; *Tommasini*, I, 484), что весь эпизод не более, как чисто литературная выдумка: слишком много в письме неподдельной макиавеллевой горечи.

категории, Ричча, недостаточно к нему внимательная, то молоденькая девушка в деревне, в которую он пылко влюбился, но которая далеко не осталась его единственной утешительницею в изгнании [1]. То наконец Барбера, куртизанка более высокого ранга, имевшая связи и обладавшая сценическими талантами; она играет в его пьесах; он устраивает ей гастроли в провинции; на старости лет ездит за ней, занятый по горло серьезнейшими делами, как молодой воздыхатель, и смертельно о ней тоскует, когда она уезжает.

А приятели вдобавок вкрапливают ему в письма — латинские по этому специальному случаю — намеки, которые заставляют думать о каких-то серьезных уклонах Никколò в этих делах [2]. Возможно, конечно, что инсинуации „страдиотов“ канцелярии — самое обыкновенное непристойное трепачество, всегда увлекавшее недоносков гуманизма. Канцелярия Дворца Синьории была ведь „вральней“ (il bugiale) не хуже, чем ватиканская. Но переписка с Веттори свидетельствует, что Никколò умел смаковать, хотя тоже не без гримасы боли, рассказы, всего меньше добродетельные и доверху полные всякими уклонами [3].

---

[1] Lett. fam., 150. О Ричче см. ниже.

[2] Lett. fam., 16: „Non posse te ullo pacto in Gallia nisi magno cum discrimine civersari, propterea quod istic pedicones et pathici vexantur lege acriter“. От Агостино Веспуччи. Макиавелли был в это время во Франции.

[3] В ближайшие два-три года после катастрофы, лишившей Никколò места в обществе, Франческо Веттори, дипломат и историк, был его главным корреспондентом. Большинство их писем посвящены обсуждению политических вопросов, прежде всего воз-

Веттори жил барином в Риме. Дела у него были обременительные, денег достаточно и единственной серьезной заботою его было ублажать свою грешную плоть. Владил он по-сановному: степенно, добросовестно, неторопливо. А когда в его безмятежное житье вторгались разные деликатные казусы, он повергал их на суждение Макиавелли. Например. В его доме — двое приживальщиков: один, Джулиано Бранкаччи — большой поклонник женского пола, другой, Филиппо Казавеккиа — совсем наоборот. Когда „оратора“ посещает куртизанка, его знакомая, Филиппо ворчит, что это недостойно лица в его положении. Когда приходит — по делу, уверяет Веттори — некий сер Сано, своеобразные вкусы которого составляют притчу во языцех в Риме, Флоренции и окрестностях, протесты Филиппо внезапно смолкают, но выходит из себя Джулиано и кричит, что Сано — uomo infame, что принимать его — позор. Веттори не знает, как ему быть [1]. Макиавелли в письме, великолепном по силе иронии и по меткости „воображаемых портретов“, подсказывает послаппику выход, а в одном из ответных — это чудесная маленькая новелла, от которой не отказались бы ни Фиренцуола, ни Ванделло — сам рассказывает, как некий единомышленник сера Сано и Филиппо „охотился за птицами“ во Флоренции в темную ночь, как, наохотившись всласть, пытался заставить расплатиться за свое невинное удовольствие

растающей с каждым годом опасности порабощения Италии чужеземцами. Для Макиавелли его письма служили этюдами к большим работам, а Веттори вынырял идеями Никколо в Ватикане. Когда высокая политика надоедала, друзья писали о другом.

[1] Lett. fam., 139.

приятеля, такого же убежденного „птицелова“, и как на этом попался[1]. А разве не новелла тоже — бытовая картинка, которая развертывается еще в двух письмах Веттори?[2]

К „оратору“ пришла в гости соседка, вдова, очень почтенная, с двадцатилетней дочерью, с четырнадцатилетним сыном и с братом, очевидно в качестве телохранителя. Бранкаччи немедленно стал таять около девушки, Филиппо присоседился к мальчику и, тяжело дыша, повел с ним разговор об его ученьи. Посланник беседовал с родительницею, одним глазом следя за Филиппо, другим за Джулиано. Потом пошли к столу, и неизвестно, каким образом нашли бы примирение столь многочисленные противоречивые интересы, если бы не неожиданный приход других гостей. Через несколько дней добродетельная матрона привела дочку к Веттори уже без телохранителя и, уходя, забыла ее. Девушка оказалась не строптивой. „Оратор“ так ею увлекся, что испугался сам: как бы страсть не захватила его серьезно. Потребовалась диверсия. Он вызвал к себе своего племянника Пьеро. „Прежде мальчик приходил ко мне ужинать, когда хотел, теперь не ходит. Еще можно было бы, кажется, потушить этот огонь: он не разгорелся настолько, чтобы такая вода не могла его залить“. Огонь — девушка, вода — Пьеро.

В доме посланника явно впали в уклон даже стихии.

Сидя в деревне, Никколо с любопытством следил, как развертываются эти разносторонние — во многих

---

[1] Lett. fam., 144.
[2] Lett. fam., 141 и 143.

смыслах — запутанные извивы. На фоне густых римских удовольствий его собственные похождения с бесхитростными и необученными деревенскими прелестницами представлялись ему, может быть, элементарными и убогими, но замысловатый переплет, в котором копошились римские приятели, все-таки должен был вызывать у него не одну мефистофельскую улыбку. Это видно по его ответным письмам. Он ничего не осуждает. Он только наблюдает. Как мудрец и как художник. Потому что человеческие документы этого рода его жадно интересуют. Веттори знал, что у Никколо встретит сочувствие и такое его сверхэпикурейское размышление: „Когда я отдаюсь мыслям, они часто нагоняют на меня меланхолию, а этого я терпеть не могу. Поневоле приходится думать о вещах приятных, а какая вещь может доставить большее удовольствие, когда думаешь о ней или делаешь ее, чем il fottere“ [1].

Самое удивительное то, что наряду со всем этим Никколо был очень привязан к семье. По-настоящему, по-хорошему. Несмотря на все грехи, он никогда от нее не отдалялся. Когда его дела шли плохо, его больше всего тяготило, что будет нуждаться его „команда“ (la brigata). В письмах к детям, особенно более поздних, есть неподдельная теплота. Но Никколо не хочет давать ей воли: он не умеет быть нежным на словах. И мона Марietта, жена его, по-видимому, эти вещи понимала хорошо. У нее было много такта, беспутного мужа своего она принимала, каким он был, очень его любила и была превосходной матерью. Из их многочисленного потомства пятеро

[1] Lett. fam., 158.

выросли и пережили отца. Умер Никколо, как добрый семьянин, на руках у жены и детей [1]. И ни из чего не видно, чтобы свои внесемейные увлечения Макиавелли считал чем-то непозволительным. Для него это — вещи другого ряда, и только. Таких distinguo [2] у него сколько угодно.

Он без всяких усилий переключал себя из одного настроения в другое. И не только, когда дело касалось интимных отношений. В письмах первых, самых тяжелых лет после жизненного крушения 1512 года — целый калейдоскоп набросков, рисующих его срывы и взлеты.

„Томмазо сделался чудным, диким, раздражительным и скаредным до такой степени, что когда вы вернетесь, вам будет казаться, что это другой человек. Я хочу рассказать вам, что у меня с ним вышло. На прошлой неделе он купил семь фунтов телятины и послал к Марионе. Потом ему стало казаться, что он истратил чересчур много, и, желая сложить на кого-нибудь часть издержек, он пустился клянчить себе компаньонов на обед. Я пожалел его и пошел вместе с двумя другими, которых я же и сосватал. Когда обед кончился и стали рассчитываться, на долю каждого пришлось по четырнадцать сольди. При мне было только десять. Четыре я остался ему должен, и он каждый день их у меня требует. Еще вчера приставал он ко мне с этим на Ponte Vecchio...

---

[1] Свидетельство внука, Дж. Риччи (см. *Tommasini*, II, 904). Подлинность письма Пьеро Макиавелли, сообщающего о смерти отца (Lett. fam., 229), Томмазини оспаривает (II, 903 и след.)

[2] Схоластическое разграничение, не очень убедительное объективно.

У Джулиано дель Гуанто умерла жена. Три или четыре дня он ходил, как оглушенный судак. Потом встряхнулся и теперь хочет непременно жениться снова. Все вечера мы просиживаем на завалинке у дома Каппони и обсуждаем предстоящий брак. Граф Орландо все еще сходит с ума по одном мальчике известного сорта, и к нему нельзя подступиться. Донато дель Корно открыл другую лавочку...“ [1]

„Когда я бываю во Флоренции, я делю свое время между лавкою Донато и Риччей. И, кажется мне, что я стал в тягость обоим. Один зовет меня несчастьем своей лавочки (impaccia-bottega), другая — несчастьем своего дома (impaccia-casa). Но и у него, и у нее я слыву за человека, способного дать хороший совет, и до сих пор эта репутация настолько мне помогала, что Донато позволяет мне погреться у камелька, а Ричча дает иной раз, правда украдкою, поцеловать себя. Думаю, что эта милость продлится недолго, потому что и тут и там мне пришлось дать советы — и неудачно. Еще сегодня Ричча сказала мне, делая вид, что разговаривает со служанкою: „Ах, эти умные люди, эти умные люди! Не знаю, что у них в голове! Кажется мне, что им все видится шиворот-навыворот“ [2].

Ничего страшного, однако, не произошло. „Наш Донато вместе с приятельницей, о которой я вам как-то писал,— единственные два прибежища для моего

---

[1] Lett. fam., 122, к Веттори.

[2] Lett. fam., 142, к Веттори. Веттори в ответ утешает его: „Ричча, конечно, может в сердцах ругнуть советы умных людей. Но не думаю, чтобы из-за этого она перестала вас любить и не открыла вам дверей, когда вы в них постучитесь“ (Lett. fam., 143).

суденышка, которое из-за непрекращающихся бурь осталось без руля и без ветрил (sanza timone et sanza vele)“ [1].

Мещански-серое, не очень сытое, уязвляющее на каждом шагу самолюбие житье в городе беспрестанно гнало Никколо в деревню и заставляло подолгу там оставаться. У него было именьице, называвшееся Альбергаччо, в Перкуссине, неподалеку от Сан-Каччано, по дороге в Рим. Там, худо ли, хорошо ли, мог он жить с семьей не попрошайничая, имел кров, пищу и даже общество, правда, иной раз самое неожиданное.

„Встаю я утром вместе с солнцем и иду в свой лесок, где мне рубят дрова. Там, проверяя работу предыдущего дня, я провожу час-другой с дровосеками, у которых всегда имеются какие-нибудь нелады с соседями или между собою... Из лесу я иду к фонтану, а оттуда — на птичью ловлю [2]. Подмышкою у меня всегда книга: или Данте, или Петрарка, или кто-нибудь из менее крупных поэтов — Тибулл, Овидий, другие. Читаю про их любовные страсти, про их любовные переживания, вспоминаю о своих. Эти думы развлекают меня на некоторое время. Потом прохожу на дорогу, в остерию, разговариваю с прохожими, расспрашиваю, что нового у них на родине, узнаю разные вещи, отмечаю себе разные вкусы и разные мнения у людей. Тем временем настает час обеда. Я ем вместе со всей командою (la brigata, т. е. семья) то, что мое бедное поместье и малые мои достатки позволяют. Пообедав, воз-

---

[1] Lett. fam., 159, к Веттори.

[2] На этот раз птичья ловля — самая настоящая, не иносказательная.

вращаюсь в остерию. Там в это время бывает ее хозяин и с ним обыкновенно мясник, мельник и два трубочиста. В их обществе я застреваю до конца дня, играю с ними в крикку и в трик-трак [1]. За игрою вспыхивают тысячи препирательств, от бесконечных ругательств содрогается воздух. Мы воюем из-за каждого квatрино [2], и крики наши слышны в Сан-Кашяно. Так, спутавшись с этими гнидами (pidocchi), я спасаю свой мозг от плесени и даю волю злой моей судьбине: пусть она истопчет меня как следует, и я погляжу, не сделается ли ей стыдно. Когда наступает вечер, я возвращаюсь домой и вхожу в свою рабочую комнату (scrittoio). На пороге я сбрасываю свои повседневные лохмотья, покрытые пылью и грязью, облекаюсь в одежды царственные и придворные (reali e curiali). Одетый достойным образом, вступаю я в античное собрание античных мужей. Там, встреченный ими с любовью, я вкушаю ту пищу, которая уготована единственно мне, для которой я рожден. Там я не стесняюсь беседовать с ними и спрашивать у них объяснения их действий, и они благосклонно мне отвечают. В течение четырех часов я не испытываю никакой скуки. Я забываю все огорчения, я не страшусь бедности, и не пугает меня смерть. Весь целиком я переношусь в них" [3].

Это замечательное письмо, которое наряду с последней главою „Il Principe" обошло все хрестоматии, дает

---

[1] Крикка — карточная игра, трик-трак — игра на доске.

[2] Мелкая монета.

[3] Lett. fam., 137, к Веттори, 10 декабря 1513.

ключ ко многому. „Пусть судьба истопчет меня — я посмотрю, не станет ли ей стыдно". Какое отчаяние, какой безнадежный пессимизм в этих словах! Ведь все, что в характере и в поведении Никколо так злило и так оскорбляло современников,— все в этом крике души. Жизнь била его, не давая вздохнуть. Впереди ничего. Так пусть же он будет еще хуже, чем о нем думают. Пусть все знают, до какого смрадного дна способен он докатиться. Пусть все морщатся от его сарказмов и мефистофельского его смеха. Пусть! „Средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он".

А способен ли кто-нибудь после глубочайшего падения взлететь к солнцу, „когда божественный глагол до слуха чуткого коснется"? Из грязной придорожной деревенской остерии, из москательной лавки Донато, из домика захудалой куртизанки способен ли кто-нибудь перенестись сразу в общество величайших мужей древности, упиваться „беседою" с ними, парить в недосягаемой высоте творческих экстазов? Только он. Этого не хотят видеть? Не хотят его признавать? Тем хуже! Прикосновение к тому вечному, что есть у древних, даст в нем выход родникам мысли, и, выпрямленный, он будет создавать ценности, равные античным.

Вот эта способность творить и действовать, преодолевая постоянные внутренние боли, не давая жизненным невзгодам задушить силы духа, торжествуя над мутящим мозг пессимизмом, способность творить и действовать, раскрывая до конца дары ума и воли, темперамента и энергии, и приобщила Макиавелли к сонму великих.

IV

Общество, которое не хотело понимать Макиавелли и отвергало его, было общество Возрождения. Никколо́ был его родным детищем, но капризным и своенравным: свет и тени в нем были распределены по-другому, чем у огромного большинства.

Культура Возрождения — организм сложный и противоречивый. Различные ее элементы сталкивались между собою с резкой непримиримостью, но в конце концов как-то все-таки уживались вместе. Разложение быта и семьи, моральный скептицизм, апофеоз удачи, преклонение перед человеком и силами его духа, перед красотою в природе и в человеческих творениях, расцвет искусства и литературы, первые серьезные завоевания науки, разрыв с церковными идеалами и утверждение мирских — все это переплеталось между собою и сливалось в видение необычайного блеска, который ослеплял чужестранцев, а итальянцев наполнял гордостью и высокомерным сознанием превосходства над другими народами.

Простейшими и самыми естественными плодами, которые произрастали в этой атмосфере, были неутолимая тяга к соблазнам и прельщениям жизни, жадная хватка, напор, неудержимый рост хищных инстинктов: в идейном обрамлении, как у Пьетро Аретино, или в полной обнаженности, как у большинства. У Никколо́ всего этого было не меньше, чем у любого из современников. Но судьба не дала развернуться его аппетитам. Его это очень сокрушало. В капитоло[1] „О случае“ он грустно поет о том, как

[1] Капитоло (capitolo) — стихотворение, обычно на дидактическую тему, написанное терцинами.

Случай в виде женщины с копною волос спереди и с голым затылком промелькнул перед ним прежде, чем он успел его схватить, а в капитоло „О фортуне", написанном в пожилые годы, жалуется, что фортуна любит молодых и смелых, очевидно не решаясь причислить себя и ко второй категории. Приходилось мириться, что судьба, выбирая любимцев, обошла его. Его ждала „иных восторгов глубина".

У него было нечто, чего не было ни у кого из избалованных утехами жизни: огромный, острой, безгранично смелый ум. Уму Макиавелли была свойственна некоторая рационалистичность, подчас сухость, но критическая его сила была поразительна. Анализ Макиавелли не знал никаких преград, проникал до дна, доискивался до последних начал. Никто не умел с таким неподражаемым искусством изолировать вопрос и обнажать его имманентную сущность. Бесстрашие некоторых его логических операций не только смущало современников, но уже много веков бесит иезуитов, мучит моралистов и расстраивает первы буржуазным ученым.

Легкой и безболезненной жертвой анализа Макиавелли сделалась очень скоро вера. Никколо был настоящим атеистом и по духу и по научному своему облику. Библия и отцы церкви были знакомы ему мало. Его начитанность была чисто мирская, а когда по ходу рассуждений ему приходилось касаться опасных вопросов, он, подобно Леонардо, прятал иронической усмешку под гримасою благочестия [1]. Неверие

[1] См. напр., „Il Principe", II: „Так как этими (церковными) княжествами управляют высшие силы, непостижимые для человеческого ума, то я не буду о них говорить. Они возвеличены и хранимы богом, и

в то время отнюдь не было чем-нибудь революционным, особенно если оно не провозглашалось в кричащих лозунгах. Католическая реакция еще не пришла, а религиозного пафоса в кругах образованных людей давно уже не было. Придворные дамы, как Эмилия Пиа, умирали без исповеди, а пылкий республиканец Пьетро Паоло Босколи, беседуя перед казнью с друзьями и духовником, мучительно хотел умереть добрым христианином и умолял, чтобы у него „вынули из головы Брута“: ему никак не удавалось настроить себя благочестиво. Но атеизм у всех оставался делом личной совести. Ум Макиавелли был неспособен остановиться на этом. У него сейчас же стройным рядом выстроились категории: личная вера; религия как общественное настроение, подлежащее учету и воздействию со стороны всякого политика; религия как сила, формирующая человеческую психологию; религиозная точка зрения, вторгающаяся в научное исследование; соприкосновение религии с моралью и их совместное пертурбирующее действие при научном анализе; церковь; духовенство.

Атеизм не нарушал канона Возрождения, ибо канон Возрождения признавал безграничную свободу за критикующим умом. Но, признавая законность неверия, канон на этом останавливался. Критический анализ христианской религии ставил точку где-то очень близко. Макиавелли с хмурой усмешкой смахнул эту точку и пошел дальше.

рассуждать о них может лишь человек самоуверенный и дерзкий“. О крупнейшем из этих „хранимых богом“ княжеств — о Папской области — Макиавелли „рассуждал“ самым уничтожающим образом.

Прежде всего он сделал одно очень важное сопоставление. Личная вера — бессмыслица. По пока на эту точку зрения станет большинство, пройдет много времени. Религия, как настроение широких народных масс, будет существовать еще долго, и политик должен уметь этим настроением пользоваться, как пользовались им римляне. Мало того: религиозность в народе нужно поддерживать, потому что народом религиозным легче управлять [1]. Это — рассуждение реального политика. Но нельзя закрывать глаза на то, что христианская религия, выдвигая на первый план заботу о делах потусторонних, полагая высшее благо в смирении и неприятии мира, заставляет никнуть дух, размягчает характер, принижает силу и энергию человека. Древние, наоборот, своей религией поднимали дух, прославляли силу, мужество, суровую непреклонность, и потому народы древности способны были свершить великое. Христианская религия ослабляет волевую и умственную активность в человеке и в народе, и потому находятся в упадке любовь к свободе и республиканский дух [2]. С этим надо бороться.

Вот цепь рассуждений, определяющих роль и значение христианской религии в общественной жизни. До них раньше Макиавелли не додумывался никто, хотя все его выводы сделаны из посылок, давно усвоенных каноном Возрождения. Но Макиавелли и на этом не остановился. Когда ему пришлось ставить и разрешать вопросы политической теории, он должен был задуматься над тем, чем руководствоваться в анализе. До него самые блестящие образцы

---

[1] „Discorsi", I, 12.
[2] „Discorsi", II, 2.

Гвиччардини

Современная гравюра

теоретических рассуждений в области политики были неразрывно связаны с моралью, и так как это были рассуждения не гуманистические, а схоластические, то и с религией. Гуманисты, поскольку в своих сочинениях они касались политических вопросов, делали иной раз робкие попытки поговорить о политике свободно, но жизнь не ставила им трагических вопросов, и у них все кончалось легкой игрою ума. Макиавелли понял, что пока он не изолирует вопросов политики от вопросов морали и религии, до тех пор он будет беспомощно топтаться на месте и не скажет ничего нужного для жизни. А события были таковы, что необходимо было политические вопросы ставить и разрешать с величайшей, беспощадной прямотою и смелостью: для этого надо было отбросить все, что мешало свободному анализу, в том числе религиозные и моральные соображения. И Макиавелли дерзнул. Именно за это его кляли больше всего и при жизни и особенно после смерти.

С церковью и духовенством вообще было легче. Это была проторенная дорожка со времени первого „Новеллино". Но Макиавелли не умел смеяться так, как смеялись новеллисты. Его смех был другой. В „Мандрагоре" церковь в лице монаха фра Тимотео разрушает крепкие моральные устои у людей, успокаивает сомнения, продиктованные чистой совестью, толкает к греху и удовлетворенно позвякивает потом тридцатью серебряниками, полученными за самое безбожное с ее собственной точки зрения дело. Это — не легкая насмешка. Это — свирепая, уничтожающая сатира. Макиавелли знает, что он хочет сказать. Пока церковь управляет совестью людей, не может быть здорового общества, ибо церковь благословит, если

это будет ей выгодно, самую последнюю гнусность, самое вопиющее преступление. Совершенно так же, как не может быть в Италии здорового, т. е. единого и свободного государства, пока в центре страны укрепилась Папская область, которая в своих интересах идет наперекор национальным задачам страны. Тут полная параллель.

В вере, в религии, в церкви — главное зло. Чем сложнее становится жизнь, тем это зло больше. Потому что усложняющаяся жизнь — это новая жизнь, которая секуляризируется с каждым днем сильнее к великой невыгоде церкви. Церковь отстаивает свои позиции с непрерывно возрастающим озлоблением. И тем более непреклонно и непримиримо должна вестись борьба со старым, еще не изжитым наследием феодального мира. Вольтер скажет потом: „Раздавите гадину" — „Ecrasez l'infame". Формула принадлежит ему, мысль — Макиавелли.

Доктрина Возрождения благодаря Макиавелли вбирала в себя под напором жизни новые элементы, все более решительные и боевые. В ней, как и в микельанджеловском искусстве, появлялась terribilità, нечто „грозное", что отпугивало более робких, но с точки зрения социальных и политических задач времени было самой естественной защитной реакцией, ибо в „Principe" и в аллегориях Сикстинского плафона трепещет в муке один и тот же дух. Страшно, но неизбежно. Жизнь — Голгофа. Ее отражение не может быть хороводом танцующих путтов на светлом розовом фоне или беззаботной карнавальной песенкой.

И важно в жизни то, что нужно. Распределяя ипостаси гуманистического канона в порядке убывающей политической, т. е. единственно жизненной,

важности. Макиавелли нашел, что ренессансный культ красоты — нечто совершенно бесполезное. Он знал, конечно, что идея прекрасного в мировоззрении эпохи играет огромную роль и является неотъемлемой частью культуры Возрождения. Но это его не останавливало. С точки зрения трагических „быть или не быть“ это не нужно. Ни красота в природе, ни красота в искусстве. В писаниях Макиавелли нет ни одной строки, где бы чувствовалось понимание красот природы, лирическая настроенность, подъем. Никколо имел слабость считать себя поэтом [1] и стихов написал достаточно. Но это — не поэзия, а рифмованный фельетон: и стихи в комедиях, и „Десятилетия“ („Deccennali“), и „Золотой осел“ („Asino d'oro“), и capitoli, и песни. Настоящий подъем, трепет подлинного чувства, пламенная лирика — политическая — у Макиавелли не в стихах.

С таким же равнодушием, как к природе, относился он и к искусству. В „Истории Флоренции“ оно не играет никакой роли. Даже рассказывая о Козимо и Лоренцо, он оставил совершенно в тени вопросы искусства. Имена Брунеллеско, Гиберти, Донателло, всей плеяды художников, работавших при Лоренцо, даже не упоминаются. В характеристике Лоренцо есть только одна фраза: „Он очень любил всякого художника, выдающегося в своей области“ [2].

---

[1] Он был очень обижен на Ариосто за то, что тот, перечисляя в „Orlando Furioso“ крупнейших современных поэтов, не упомянул его имени, „отбросил его как собаку“. См. Lett. fam., 166, к Луиджи Аламани.

[2] „Istor. Flor“, VIII, 36; “Amuva maraviglfosamente qualunque era in una arte eccelente“.

А в „Arte della guerra“ он говорит про Италию, что она „воскрешает мертвые вещи: поэзию, живопись, скульптуру“ [1].

В идеологии Возрождения его интересует только индивидуалистическая доктрина, но в его руках она стала неузнаваема. У гуманистов интерес к человеку есть интерес к личности. Он замкнут в кругу этических проблем. Макиавелли этот круг разрывает. Человек у него берется в самом широком смысле слова, и опять строятся категории: человек, люди; соединение людей, т. е. общество; жизнь общества и борьба общественных групп; возникновение власти; властитель и различные его типы; государство и различные его формы; государственное устройство; столкновение между государствами; война; нация. Его интерес возрастает по мере того, как он двигается в этой цепи все дальше. Меньше всего интересует его отдельная личность. Зато никто до него не подвергал такому всеобъемлющему анализу человека „как существо общежительное“. В миропонимании Возрождения Макиавелли — рубеж. Он первый стал изучать человека и человеческие отношения не с этической, а с социологической точки зрения, и это у него не случайные проблески, не единичные озарения, а выношенная до конца мысль, которой не хватало только систематического изложения и четкой терминологии, чтобы сразу войти в идейную сокровищницу человечества. А в идеологии Возрождения ломка этической установки и внесение социологической имело еще один колоссальный результат. От звена к звену,

---

[1] Кн. VII, в самом конце. См. Opere (1819), т. V, стр. 420.

от силлогизма к силлогизму, неотразимым напряжением логической мысли Макиавелли приходит к тому, что требует от него социальный заказ: к созданию политической теории Возрождения.

В сравнении с его конструкциями кажутся детским лепетом не только чисто этические этюды Петрарки и Салутати, но и сравнительно зрелые, тронутые и социологическим прозрением и политическим анализом рассуждения Бруни, Поджо, Понтано. Между тем, формально Макиавелли был вооружен для этой задачи гораздо хуже и не обладал такой колоссальной начитанностью в классиках, как крупнейшие представители гуманизма. Но он в ней и не нуждался: ему было достаточно начитанности в размерах, строго необходимых для проверки своей мысли. Он подходил к Ливию и Тациту, к Плутарху и Полибию совсем не так, как гуманисты. Их интерес к древним был научный. Практических целей они не преследовали. Они не „беседовали с классиками", не „спрашивали у них объяснения их действий", и те не „отвечали им благосклонно". Для Макиавелли классики только такой смысл и имели. Все, что в них было ему интересно, интересно было потому, что находило применение в жизни, в делах сегодняшнего дня. Античные историки и мыслители помогали ему понимать отношения, в которых жил он сам, которые затрагивали его, людей его группы, его родной город, родную его страну. Но никогда не полагался он на классиков всецело. Если они служили оселком, которым он проверял свои наблюдения и мысли, то их он тоже проверял собственным опытом и данными истории итальянских коммун. Наряду со Спартой, Афинами, Римом, Карфагеном он обращался к прошлому

Болонью, Перуджи, Сиены, Фаэнцы и никогда не упускал из поля зрения Венецию и Флоренцию, Милан и Неаполь. Чтобы понять до конца, например, Цезаря Борджа, вскрыть то типическое и практически нужное, что в нем имеется, на него нужно предварительно накинуть римскую тогу. Простого наблюдения недостаточно, хотя бы оно было самое пристальное, хотя бы оно длилось месяцами. Сравните письма Легации в Имолу, записку о том, как герцог Валентино расправился с кондотьерами, и страницы, посвященные Цезарю в „Principe". Донесения Легации накопляют наблюдения над живым человеком, ряд моментальных фотографий, скрупулезно, точных, день за днем, с 7 октября по 21 января 1502 года[1]. Записка химически „обрабатывает" герцога Валентино Ливием и Тацитом, и в результате этой „реакции" получается Цезарь Борджа стилизованный, уже не во всем похожий на подлинного Цезаря Легаций. „Principe" подводит итоги; в нем герцог Валентино — отвлеченный, разложенный на ряд максим практической политики: кто желает, может ими пользоваться. И когда угодно: сейчас, через сто лет, через пятьсот лет.

Без классиков построения Макиавелли остались бы не вполне законченными. Но классики для него материал подсобный. Макиавелли — не гуманист: в тревожное время, в которое ему пришлись жить, типичными гуманистами могли быть только бездарные и бездушные люди. Но он — подлинный человек Возрожде-

[1] Год по флорентинскому календарю начинался не 1 января, а 25 марта.

ния, а его политическая теория — подлинная доктрина Возрождения. В ней вековой опыт социальной ячейки Возрождения, итальянской коммуны, подвергнут обобщающему анализу, очищен от плевел церковной идеологии, проверен на классиках. И оплодотворен могучим порывом к действию, идеей virtù.

Что такое макиавеллева virtù? Это последнее слово ренессансного индивидуализма, венчание его теории с духом живого дела, прославление и апофеоз действенной энергии человека. Virtù — не „добродетель" Петрарки, почерпнувшего ее формулу у Цицерона, и не „добродетель" Бруни, взятая напрокат у стоиков, и даже не радостная стилизация здорового жизненного инстинкта, формулированная Валлою по эпикурейским образцам. Макиавеллева virtù — это воля, вооруженная умом, и ум, окрыленный волею, страстный зов к планомерному, сознательному, самому нужному делу: завет его времени будущему.

Идеология Возрождения — от начала до конца идеология переходного исторического периода, эпохи разложения феодального общества и возникновения общества буржуазного. И от начала до конца эту идеологию определяют интересы буржуазии, обороняющейся и наступающей, слабеющей и торжествующей, побеждающей и побеждаемой; смотря по тому, как складывалась в коммунах социальная группировка и какая группа буржуазии давала тон.

Какую же группу буржуазии представляет Макиавелли? И как интересы группы, им представляемой, запечатлелись в его политической доктрине?

V

Когда Макиавелли поступил на службу, уже были налицо признаки кризиса, который переживало итальянское народное хозяйство. Кончился подъем, под знаком которого Италия жила, несмотря на все потрясения, чуть ли не со времени первого крестового похода. Торговля и промышленность, на которых зиждилось хозяйственное благополучие Италии, начинали клониться к упадку, и люди прозорливые это чувствовали не со вчерашнего дня. Лоренцо Великолепный, глава крупнейшей банкирской фирмы Италии, вложившей большие капиталы и в торговлю и в промышленность, первый начал принимать меры, чтобы его банк не сделался жертвою кризиса. И эти меры производили очевидно, настолько сильное впечатление, что и Гвиччардини, и Макиавелли, ближайшие после его смерти историки Флоренции, тщательно их отмечают.

Гвиччардини говорит[1]: „Так как в Лионе, в Милане, в Брюгге и в других городах, где были у него торговые агентуры и конторы, росли издержки на представительство и на дары, а прибыли падали, ибо делами управляли люди мало способные... и отчеты сдавались плохо — сам Лоренцо не смыслил в торговле и не заботился о ней,— то дела пришли в такое расстройство, что он был накануне разорения... Убедившись в том, что торговля идет плохо, он стал скупать земли на 15 или 20 тысяч дукатов...“

Макиавелли рисует дело так же, как и Гвиччардини[2].

---

[1] „Storia Fior.“. Op. ined., III, 87 — 88.
[2] „Istor. Fior.“. Ed. Le Monnier, 1857, VIII, 36.

„В делах торговых он (Лоренцо) был очень несчастлив, ибо из-за недобросовестности служащих, которые управляли его делами не как частные люди, а как владетельные особы, во многих местах он понес большие денежные потери... Поэтому, чтобы не испытывать больше судьбу на этом поприще, он, отказавшись от коммерческих предприятий (mercantili industrie), обратился к скупке земель, как к богатству более прочному и надежному".

В этих указаниях обращают на себя внимание две вещи. Прежде всего, Лоренцо сознательно извлекает капиталы из торговли и промышленности и вкладывает их в землю, считая, что земельная рента верней. И нужно заметить, что он не только скупает земли, но и всеми другими способами старается сосредоточить в своих руках как можно больше земельных владений, словно предчувствуя, что в недалеком будущем земля действительно станет более надежным богатством. Так, избрав для своего второго сына духовную карьеру (1483), Лоренцо воспользовался своим огромным влиянием на папу Иннокентия VIII и начал такую безудержную охоту за бенефициями для сына, что в его руках сосредоточились огромные церковные поместья в Италии и за Альпами. Распоряжение ими, юридически ограниченное определенными нормами, на деле было почти свободно, и касса медичейского банка получила очень неплохое подспорье [1].

То, что Лоренцо начал, следом за ним стали делать другие крупные капиталисты флорентинские: Капно-

---

[1] *G. B. Piccoti*, La giovinezza di Leone X (1928), 81.

ки, Пуччи, Руччелаи, Валори, Гвиччардини, Веттори и другие [1].

И одно то обстоятельство, что тяга капиталов к земле уже в 80-х годах XV века становилась явлением далеко не исключительным, заставляет с большим сомнением относиться ко второму единогласному указанию Гвиччардини и Макиавелли: что торговля и промышленность давали убытки потому, что служащие медичейские были людьми неспособными или недобросовестными. У Медичи, надо думать, всегда было достаточно служащих и неспособных и недобросовестных, а дела прежде шли отлично. Правда, после смерти Козимо служащие стали позволять себе не так строго подчиняться указаниям из Флоренции, и это приводило иногда к большим потерям [2]. Но главная причина была вовсе не в этом. Менялась мировая хозяйственная конъюнктура. Лоренцо это понял, ибо неправ Гвиччардини, что Лоренцо „не смыслил в торговле". Он уступал, конечно, в коммерческих способностях Козимо, но отнюдь не был плохим купцом.

---

[1] См. *Anzilotti,* La crisi constituzionale della Repubblica Fiorentina (1912), стр. 8 — 9. Автор нашел обильные указания на скупку земель в деловых бумагах этих фирм, хранящихся во флорентинском архиве. Только нельзя, как это он делает, без оговорок утверждать, что „движение капиталов в деревню началось издавна" (он ссылается на книгу Родолико, посвященную концу XIV в.). Была большая разница между двумя моментами. Тогда покупали земли вследствие обилия доходов, теперь — чтобы спасти доходы; ибо в конце XIV в. был расцвет, в конце XV начинался упадок.

[2] См. *O. Meltzing*, Das Bankhaus der Medici und seine Vorläufer (1906), стр. 134 — 139.

Ему только не хватало специально коммерческой подготовки и собственного опыта, потому что его готовили к политической карьере больше, чем к купеческой[1]. Теперь, через четыреста с лишком лет, ход заключений банкира-правителя, прибегавшего для перестраховки своих доходов к скупке земель, для нас совершенно ясен.

В Европе назревали повороты, последствия которых нужно было учитывать самым серьезным образом. В Англии кончилась война Роз, которая проделала вследствие неплатежеспособности Эдуарда IV очень большую брешь в активе банка Медичи. Там появилась единая твердая власть. Она по-хозяйски стала на страже английской шерсти — продукта, без которого флорентинская суконная промышленность не могла существовать. Во Франции Людовик XI закончил собирание коронных ленов, и Анжуйские притязания на Неаполь, никогда не забывавшиеся, и притязания Орлеанского дома, связанные с правами Валентины Висконти на Милан, только теперь становились опасны, как скверная заноза, которая сначала не беспокоила, а потом принялась болеть. Пока Флоренция в союзе с Миланом и Венецией вела войну против папы Сикста IV и Неаполя — ее с необычайным терпением описал Макиавелли,— Лоренцо не раз угадывал хищную заинтересованность Людовика XI в итальянских делах[2] и с тревогой обращал взоры на север. Куда

---

[1] См. *O. Meltzing*, там же, стр. 122 — 123.

[2] Со времени издания писем Людовика XI (*Carauare, Vaesen et Mandrot*, Lettres de Louis XI, 1883—1909, 11 томов; см. особенно том VII, страница 286 и следующие) у нас имеются документальные доказательства этого.

направится боевая энергия не угомонившегося еще французского рыцарства теперь, когда прошла опасность со стороны Англии и кончились феодальные усобицы? А с другой стороны, теперь, когда в Англии и Франции наступило внутреннее успокоение, установилось политическое единство, появилась крепкая власть, будет ли там поприще для работы итальянских капиталов или им придется уступать поле молодым национальным капиталам, переживающим буйную эпопею первоначального накопления? Ничего радостного не виделось и со стороны Испании. Там Кастилия объединилась с Арагоном, у которого тоже традиционные притязания на итальянскую землю, на Неаполь и Сицилию. Правда, там завязалась смертельная борьба с маврами, но она имеет все шансы кончиться счастливо. Куда бросятся неисчерпанные силы новой Испании? А с Востока, где тридцать с лишним лет назад пал под ударами турок Константинополь, где войска и флот султана обирают венецианские владения на морях и закупоривают торговые пути, не грозят ли новые бури? А на Западе, где ищут доступа к левантским рынкам кругом света, если найдут, не будет ли Италии совсем плохо?

Лоренцо делал все, что мог, чтобы предотвратить опасность. Он был творцом системы равновесия в Италии, очень плохого, но единственно возможного в то время вида единения. Оно прекращало на более или менее длительный срок внутренние усобицы, но не гарантировало ни от чего. На политической почве добиться большего было нельзя, ибо у Венеции, у Милана, у курии, у Неаполя были свои интересы, как и у Флоренции, и ни одно из пяти государств не было достаточно слабо, чтобы другие могли об-

щими силами заставить его покориться. Трудность чисто политического соглашения коренилась главным образом в том, что среди пяти крупных итальянских государств было одно, имевшее не только итальянский, но и международный характер: Папская область. Губительная политическая роль Рима в Италии, раскрытая с такой сокрушающей убедительностью Макиавелли, становилась ясна уже и до него, и Лоренцо, конечно, приходилось задумываться над тем, какой оборот примут дела, если место „спавшего его глазами" Иннокентия VIII папский престол займет первосвященник более воинственный или более чадолюбивый, чем Сикст IV. И Италии повезло. После Иннокентия пришел сверхчадолюбивый Александр VI, а за ним через короткий промежуток сверхвоинственный Юлий II: после Юлия надолго исчезли надежды на осуществление единства.

В непримиримости политических интересов было главное несчастье Италии. Она порождала все ее национальные беды. Она мешала политическому объединению по примеру Франции и Испании. Она была причиной ее беззащитности перед чужеземцами. И была неустранима, ибо в основе ее лежали чрезвычайно резкие экономические противоположности между отдельными ее частями. Типично промышленная, богатая капиталами Флоренция в кольце своего contado с цветущими земледельческими культурами, рядом — чрезполосно-феодальная, полудикая Романья, яблоко раздора между курией и Венецией, закрепленная за Римом Юлием II и перманентно разоренная римская Кампанья, а дальше к югу — нищие горные скотоводческие районы Неаполитанского Reame. Венеция с крепкими отдельными отраслями индустрии и с

огромной торговлей в большом стиле, по соседству — ломбардские города с падающей промышленностью, за ними — Генуя с падающей торговлей. Между крупными государствами — клинья мелких. Мантуя, Феррара, Урбино с сильными феодальными пережитками, с хозяйством преимущественно земледельческим, с мелкими предприятиями по добыче сырья, с торговыми монополиями казны и с военным предпринимательством (кондотьерская индустрия, если можно так выразиться), делающим хорошие дела; или Сиена, копировавшая в малом масштабе Флоренцию; или Лукка живучая, все больше; или Болонья, безуспешно пытавшаяся хозяйственно организовать Романью. Пестрый конгломерат государств, среди которых и районы с типично активной экономической политикой, как Флоренция и особенно Венеция, и не менее крупные — с типично пассивной: Рим, ненасытная утроба-потребительница, и полуфеодальный Неаполь. Каждое из этих государств, больших и малых, гораздо теснее было связано со своими сырьевыми базами и с рынками сбыта вне Италии, чем одно с другим. Наоборот, друг с другом они чаще всего были конкурентами или очень несговорчивыми и не всегда добросовестными контрагентами.

Экономические противоположности были чрезвычайно уступчивы, так как в них кристаллизовались результаты очень раннего и буйного роста благосостояния, обострившего местные особенности. И самый гениальный политик не сумел бы в этот момент найти равнодействующую, которая сгладила бы эти противоречия. Лишь постепенно, веками, стали утрачивать они свою остроту, и между отдельными частями страны могло установиться такое хозяйственное

сотрудничество, при котором политическое объединение сделалось возможно.

Когда Макиавелли поступил на службу (1498), уже исполнилось многое из того, что предвидел и чего боялся Лоренцо Медичи. Французское рыцарство прошло через всю Италию с Карлом VIII, ограбив ее, а теперь собирался завоевывать Милан преемник Карла, Людовик XII. В Англии купцы и банкиры итальянские терпели поношение и вытеснялись с острова с немалым ущербом. В Испании борьба с маврами была кончена, и Гонсальво Кордовский, il gran capitano, дал уже почувствовать силу своего меча неаполитанской земле. Турки настойчиво и методично продолжали свои завоевания. В поисках путей в Индию генуэзец Христофор Колумб нашел Америку, но его открытие принесло огромные выгоды Испании и до корня потрясло весь организм итальянской торговли. Ее приходилось свертывать все больше. Промышленность итальянских городов все с большим трудом находила сбыт для своих изделий. Падали доходы. Уменьшались богатства. И — что было страшнее всего — будущее не сулило никакого улучшения. Эпохе хозяйственного расцвета итальянской буржуазии приходил конец по-настоящему. Поднимали голову другие классы — землевладельческие, и уже начинали кое-где играть заметную роль.

Открывалась новая эра. Ее назовут потом эрою феодальной реакции. Потрясениями, которые она принесла Италии, страна расплачивалась за процветание предыдущих четырех веков. Европа, которую Италия эксплоатировала столько времени, дождалась наконец момента, когда страна величайших богатств оказалась перед нею беззащитной. Старые феодальные

государства переживали подъем, Италия — упадок. За Альпами начиналась ликвидация феодальных отношений, сковывавших хозяйственный рост, Италию заливали волны нового феодального прилива.

Время было насыщено событиями грозными и важными и, как всякая переломная пора, давало неисчерпаемый материал для наблюдения и анализа. Макиавелли стоял в самой гуще жизни и прекрасно понимал смысл происходившего. Он видел, что продвижение капиталов в деревню раскалывает буржуазию, лишает ее политического веса и, наоборот, увеличивает политический вес враждебных буржуазии феодальных классов. Он был флорентинец и знал, как опасна такая ситуация.

Чтобы понять ход его мыслей, нужно бросить взгляд на эволюцию общественных классов в родном его городе.

VI

Медичи пришли к власти (1434) опираясь на мелкую буржуазию, на ремесленные цехи, в борьбе с представителями крупного капитала, к которым принадлежали сами. Противники Медичи, Альбицци и их сторонники, представляли торгово-промышленный капитал. Им нужны были рынки сбыта. Они стремились к экспансии, вели завоевательную политику, истощали казну и не давали работы ремесленникам. Медичи представляли банковский капитал, в экспансии были заинтересованы мало, проводили политику бережливости и тратили огромные деньги на украшение города. Но ни Козимо, ни Пьеро, ни особенно Лоренцо никогда не отождествляли своих интересов

Джованни делле Банде Нере

С портрета неизвестного художника (Турин, Галлерея)

бою организацию власти именно этой группы, было усовершенствованием принципов той самой олигархии, против которой так упорно боролись дед Лоренцо, Козимо, и прадед Джованни. И естественно, оно вызывало недовольство других кругов буржуазии, интересы которых беспощадно приносились в жертву. Это недовольство прорвалось наружу, когда после смерти Лоренцо власть перешла к его сыну. Предательство Пьеро, сдавшего в 1494 году флорентинские крепости французам, послужило предлогом. Медичи были изгнаны, причем даже члены Семидесяти не очень их защищали, надеясь без Медичи создать настоящую олигархию, при которой не приходилось бы львиную долю выгод отдавать синьору — правителю. Но этим надеждам не суждено было сбыться: другие группы буржуазии при поддержке ремесленников, цеховых и нецеховых, провели конституционную реформу. Основные ее линии сначала правильно наметил, потом безнадежно запутал Савонарола.

Этот гениальный монах был полной противоположностью Макиавелли: недаром он был совершенно не понят им. Там, где у одного было трезвое размышление, у другого была интуиция, где у одного анализ — у другого религиозный пафос, где у одного продуманное знание — у другого видения. Макиавелли относился к народу без больших симпатий. Савонарола его трепетно любил. И в любви его к народу было что-то неизмеримо большее, чем простая гуманность или верность евангельскому слову о малых сих. Он разбирался в экономическом положении трудящихся и нападал на предпринимателей. В его проповедях мелькают зарницы-предвестницы далеких еще учений о праве на труд и о неоплаченном труде,

хотя и недодуманные до конца и затуманенные религиозной фразеологией. Савонарола не сумел претворить их в жизнь и создать, как он хотел, условия человеческого существования для трудящихся, так беззаветно поддерживавших его в первое время. Он не мог даже поднять вопроса о какой-либо форме их участия в правящем органе. Тем не менее политическая терминология того времени называла савонароловский и послесавонароловский режим демократией, ибо он осуществил господство popolo. А popolo в то время составляли полноправные граждане, beneficiati, которых на 90 000 жителей было всего около 3 200 человек: купцов, мануфактуристов, ремесленников. Они имели право заседать в Большом Совете. При Медичи, до Савонаролы и после Содерини, количество полноправных граждан опускалось до нескольких сотен. Разница была существенная, и мы понимаем, что тогда господство верхних 3 000 провозглашали демократией. Менее понятно, когда демократией называют его современные исследователи. Это был умеренно буржуазный режим, в котором власть принадлежала торгово-промышленным группам. Савонарола, опираясь на низы, сверг господство рантьерской буржуазии. Чрезвычайно жесткое обложение крупной земельной ренты поражало корни ее социальной мощи, в то время как налоги на доходы с торговли и промышленности всячески щадились. Вспыхнувшая на этой почве бешеная классовая борьба привела к тому, что торгово-промышленные группы отступились от Савонаролы и выдали его заклятым его врагам (1498), но режим его было сохранен этою ценою и позднее (1502) укреплен еще больше благодаря установлению пожизненного гонфалоньерата.

Пьеро Содерини был выдвинут крупной рантьерской буржуазией, ибо был человеком их класса, но он обманул ее ожидания и ее путями не пошел. Он примкнул к большинству Большого Совета, стал во главе торгово-промышленной буржуазии и продолжал политику податного благоприятствования купцам, владельцам мануфактур и мастерских. Последние следы демократических чаяний Савонаролы испарились. Народ, plebe по тогдашней терминологии, противополагавшей его popolo, остался при разбитом корыте. Зато торгово-промышленные классы сорганизовались очень крепко. Содерини окружил себя и пополнил ряды ответственных служащих новыми людьми. К их числу примкнул и Никколо Макиавелли. Он не принадлежал ни к купцам, ни к промышленникам. Но участие в правительстве, новые связи, образовавшиеся вскоре, большая близость к Содерини определили его социально-политический облик. По происхождению он принадлежал к старой флорентинской буржуазии. Теперь он нашел себе более определенную ячейку.

Четырнадцать лет, проведенных им на службе, сроднили его с этим классом. Постоянная борьба, которую богачи, прежние сподвижники Лоренцо, частью изгнанные, частью обобранные, частью задавленные налогами, вели против режима пожизненного гонфалоньерата, приучили его смотреть на них, как на врагов, а все накоплявшиеся признаки феодальной реакции привели его к выводу, что люди, владеющие землею, т. е. связанные с феодальным прошлым Италии, являются противниками всякого организованного общественного порядка. И когда ему в деревенском уединении пришлось продумать свой опыт, он внес в „Discorsi“ следующее замечательное размышление

о дворянах (gentiluomini)[1]: „Дворяне — это люди, которые живут от доходов со своих поместий, в праздности и изобилии, нисколько не заботятся об обработке земли и не несут никакого труда, необходимого для существования. Эти люди вредны во всякой республике и во всяком городе. Но еще вреднее те, которые кроме упомянутого имущества владеют замками и имеют подданных, им повинующихся. Теми и другими полны Неаполитанское королевство, Римская область, Романья и Ломбардия. В таких странах никогда не существовало никакой республики и никакой политической жизни (vivere politico), ибо эта порода людей — заклятый враг всякой свободной гражданственности (d'ogni civiltà[2])... Кто захочет создать республику там, где много дворян, должен предварительно истребить их всех, и кто захочет создать королевство или вообще единоличную власть там, где царит равенство, сможет сделать это не иначе, как взяв из среды равных большое количество людей честолюбивых и беспокойных и сделав их дворянами, притом не на словах только, а на деле, т. е. одарив их замками и поместьями, дав им денежные пожалования и людей".

И чтобы не оставалось сомнений, какой класс он противополагает дворянам, Макиавелли к общему рассуждению прибавляет несколько слов о Венеции. Венеция вовсе не опровергает положения, что дворяне

---

[1] „Discorsi", I. 55. Он повторил те же соображения, но в несколько ином плане в „Discorso sopra il riformar lo Stato in Firenze". См. об этом ниже.

[2] La civiltà у историков и политических писателей XVI века всегда содержит в себе в той или иной мере представление о свободе.

не уживаются при республиканском строе, ибо „дворяне в этой республике — дворяне больше на словах, чем на деле: у них нет больших доходов с поместий, а их крупные богатства зиждятся на торговле и состоят из движимости (fondate in sulla mercanzia e cose mobili); кроме того никто из них не владеет замками и не имеет никакой вотчинной власти (alcuna iurisdizione) над людьми“ [1].

Это противопоставление Венеции и тосканских республик, как областей, где царит „равенство“ и где богатство „зиждется на торговле“, тем частям Италии, где существование многочисленного дворянства создает условия, благоприятные для феодальной организации власти, формулирует самую острую тревогу Макиавелли. Его заботит, конечно, прежде всего Флоренция.

Соотношение общественных сил в Ломбардии, на юге и в Папской области было таково, что усиление феодальных влияний в это время уже не пугало руководящие общественные группы, а встречало с их стороны сочувствие. В Венеции напора феодальных сил не очень боялись, ибо правящая буржуазия не подвергалась такому расслоению, как во Флоренции, и потому силы экономического и политического сопротивления в республике не были подорваны. Во Флоренции буржуазия не только раздиралась чисто экономическими противоречиями. Обстоятельства, при которых произошло крушение режима пожизненного

[1] Карл Маркс, который вообще высоко ценил Макиавелли, внимательно читал „Discorsi“ и делал из книги много выписок. Из этой главы он сделал целых три. См. об этом статью *В. Максимовского* в „Архиве К. Маркса и Ф. Энгельса“, кн. IV, 1929, стр. 332—351.

гонфалоньерата, показали, что самому „равенству" в республике грозит величайшая опасность. Падение Содерини было результатом напора рантьерской крупной буржуазии, интересы которой попирались политикою Большого Совета. Но падению режима активно содействовали силы, планомерно насаждавшие в Италии феодальную реакцию: Прато пал под ударами испанцев. Между Испанией и Медичи, лидерами рантьерской буржуазии, установилась некая солидарность. А это несомненно служило признаком, что верхи буржуазии, пособники Медичи, захватившие власть после переворота 1512 года, находятся если не целиком, то в значительной мере в лагере феодальной реакции[1]. Укрепление и развитие этой тенденции грозило разрушить во Флоренции „равенство", т. е. лишить группы торгово-промышленной буржуазии всякого участия в организации власти. Реставрация 1512 года захватила их врасплох. Сторонники Медичи сейчас же после победы торопились восстановить хозяйственную основу своего господства и отбирали прежние свои поместья у тех, кто их скупил. Тому классу, который Макиавелли считал носителем идеалов республиканской свободы и равенства,— торгово-промышленной буржуазии, грозил полный разгром.

С этими группами буржуазии Никколо связал свою судьбу. И все его мысли ближайшим образом были направлены на одно: спасти флорентийскую буржуа-

---

[1] В 1530 году, после падения Флоренции, комиссары медичейские в своих донесениях папе Клименту VII будут изображать победу над республикою как „торжество дворянства (nobilità) над народом". См. *Anzilotti*, назв. соч., стр. 21.

зию, не вовлеченную в орбиту действия феодализирующих факторов, от ударов феодальной реакции.

На первый взгляд этому противоречит то, что Никколò очень скоро после переворота 1512 года стал заискивать у Медичи и проситься к ним на службу, что он посвящал им свои сочинения, а позднее принимал от них не только литературные, но и политические поручения. Объясняются эти вещи просто. Никколò никогда не предполагал, что, если Медичи возьмут его на службу, он сможет получить влиятельный пост, а литературные посвящения высоким особам были вполне в духе времени и ни к чему не обязывали. Записка о реформе государственного строя во Флоренции, которую он подал Льву X по инициативе кардинала Медичи в 1515 году [1], была попыткою убедить папу в необходимости дать больше доступа к власти торгово-промышленным группам, т. е. полностью продолжала его всегдашнюю политическую линию. Что касается деятельности Никколò в 1526—1527 годах, то тут ему совсем не приходилось кривить душою и изменять своему классу, потому что политика Гвиччардини и папы в период Коньякской Лиги была — мы увидим ниже — его политикою. Дело шло о том, быть или не быть независимой Италии, а в этом вопросе его группа была заинтересована больше, чем другие. С другой стороны, спасать нужно было прежде всего ее, потому что Никколò лишь ее одну считал способной осуществить национальные задачи Италии. Но именно она не поняла, что побудило Макиавелли поступить в 1526 году на

[1] „Discorso sopra il riformar lo Stato in Firenze",

службу к Медичи, и после изгнания Медичи отлучила его от всякой политики.

При Содерини приходилось считаться главным образом с правой опасностью. Опасности слева торгово-промышленная буржуазия не ощущала сколько-нибудь остро. Низшие группы ремесленников, как и рабочих, она вела за собой. Партия Савонаролы, i piagnoni, не чувствовали под собой такой крепкой почвы, как при жизни своего пророка, и не могли оспаривать у буржуазии руководства беднейшими классами, а так как экономическая конъюнктура была очень неблагоприятна им самим, то противиться буржуазии они были не в состоянии. Напора слева и борьбы с неимущими поэтому не было. И в актуальных публицистических выступлениях Никколо прежде всего в „Discorso sopra il riformar lo Stato", la plebe не играет никакой роли[1]. В сущности весь демократизм Макиавелли только в том и заключается, что он не призывает к борьбе с plebe. Но и защиты прав этого plebe нельзя найти у него нигде. Он за popolo, т. е. за верхних три тысячи, которые ведут за собою, и не очень мягко, низшие классы. И едва ли мы ошибемся, если признаем, что с его точки зрения это — наиболее нормальное соотношение между popolo и plebe. Как он относится к такому режиму, где власть полностью принадлежит plebe, мы увидим из тона его повествования о чомпи в „Истории Флоренции".

[1] Там говорится (Opere, изд. 1619 г., т. VI, стр. 75) „о третьем и *последнем* классе людей, который охватывает всех граждан" („terzo ed ultimo grado degli uomini, il quale e tutta universalità dei cittadini"), т. е. о полноправном popolo, для которого нужно „открыть залу" Большого Совета.

А рассуждения в „Discorsi", которые обычно приводятся в доказательство демократизма Макиавелли, его практическую позицию определяют в малой мере, если вообще определяют. Правда, у него говорится, что масса (la moltitudine) более умна и более постоянна, чем государь; это очень хорошее подтверждение его республиканизма, но недостаточное для доказательства его демократизма [1].

А все восхваления plebe, особенно в „Disc.", I, 6, относятся исключительно к римским условиям, т. е. к таким, где существовала армия, составленная из этой самой plebe. Ради возможности иметь постоянные войсковые кадры, необходимые для завоевательных войн, приходится терпеть — только терпеть, tollerare — столкновения между „народом и сенатом", т. е. давать „народу" некоторую свободу бороться за свои права. Значит, там, где „необходимость" не „толкает на завоевания", этого терпеть не нужно. Для Флоренции такой „необходимости" Макиавелли не видел. Он отлично понимал, что при тех обстоятельствах, в которых находилась Италия, поставленная лицом к лицу с сильными национальными государствами, ей не приходится говорить о „римском величии" (romana grandezza), хотя это, быть может, „путь чести" (parte piu onorevole). Флоренция же не смела, конечно, и мечтать о каких-либо завоеваниях после того, как она четырнадцать лет покоряла Пизу и в конце концов вынуждена была купить ее у французов, а перед тем, тоже за деньги, переняла от французов взбунтовавшийся Ареццо. Во Флоренции не было причин давать волю низшим классам. Наоборот,

[1] „Discorsi", I, 58.

ее очень давняя история очень красноречиво говорила, что в городе имеются предпосылки — их Рим не знал — для чрезвычайно опасного брожения социального характера — восстания рабочих против предпринимателей. Оно могло подорвать благосостояние города, лишить его богатства, т. е. того оружия, которым при всяких столкновениях Флоренция оперировала с наибольшим успехом. Макиавелли и думал, что политикою сегодняшнего дня по отношению к низшим классам должна была быть та, которая проводилась во Флоренции и о которой в той же главе „Discorsi" говорилось так: „Правящие держали их в узде и не пользовались ими ни в каких делах, где бы они могли взять власть". И только потому, что Макиавелли не говорит прямо о необходимости борьбы с plebe, эта его точка зрения не так бросается в глаза. Едва ли все это достаточный аргумент в пользу его демократизма. Он был и остался до конца последовательнейшим идеологом торгово-промышленной буржуазии, и демократом отнюдь не был.

За время своей службы и позднее, будучи и в центре политического штаба Флоренции и вдали от дел, Никколо копил наблюдения из области партийной борьбы, и они постепенно складывались у него в обобщения, которые можно назвать социологическими, хотя и с оговорками, ибо они больше вскрывают физиологию политической борьбы, чем ее социальную сущность, и больше ее механику, чем диалектику. Они, в свою очередь, помогали ему найти политические конструкции, которые были ему нужны. Их он дал в больших трактатах. Мы рассмотрим сначала социологию, потом политическую теорию.

VII

5 октября 1502 года Никколо получил приказ отправиться в Имолу к Цезарю Борджа с рядом поручений. Ему, как всегда, не хотелось ехать. Он только что женился. Человек, к которому его посылали, пользовался такой устрашающей славой, что бедному секретарю было заранее не по себе. Выгод от миссии он не предвидел никаких, хлопот — очень много. Но нужно было подчиняться. Никколо выехал, перечитывая свою инструкцию. Там, в конце, стояло такое предписание [1]: „Когда тебе представится удобный случай, ты будешь от нашего имени ходатайствовать перед его светлостью о том, чтобы в принадлежащих ему областях и государствах была обеспечена охранной грамотою безопасность имущества наших купцов, едущих к Леванту или обратно. Так как это вещь очень важная и является, можно сказать, желудком нашей республики (lo stomacho di questa citta), то нужно приложить все старания и пустить в ход все усилия, чтобы результаты получились согласно нашему желанию".

Макиавелли едва ли нужно было напоминать, что составляет — говоря словами Лассаля — „вопрос желудка", Magenfrage флорентинской коммуны. Он, конечно, и сам давно додумался до этой нехитрой мысли, иллюстрации которой он видел на каждом шагу.

Классовая борьба, которая кипела вокруг него, давно открыла Никколо основную причину социальных противоположностей. Если бы ему была известна со-

[1] Opere (1805), V, 191—192.

временная терминология и если бы он излагал эти вопросы в привычной для нас системе, мы бы нашли в его сочинениях много хорошо знакомых социологических инструкций.

Прежде всего Макиавелли отлично знает, что самый могущественный стимул людских действий — интерес. В главе XIX „Principe" говорится: „До тех пор, пока у народа (universalità degli uomini) не отнимают ни имущества (robba), ни чести, он спокоен". Почти буквально повторяется эта мысль в „Discorsi", в главе о заговорах (III, 6): „Имущество и честь — две вещи, отнятие которых задевает людей больше, чем всякая другая обида". В обоих этих афоризмах „интерес" не отделяется от „чести", причем честь имеется в виду специальная. „Государя, — читаем мы в той же главе „Principe", — делают ненавистным больше всего, как я указывал, покушения на имущества и на женщин его подданных и насильственное их присвоение". А в главе об аграрных законах в Риме („Discorsi", I, 37) говорится резко: „Из этого еще раз можно убедиться, насколько люди больше ценят имущество, чем почести". Честь и почести (onore и onori), конечно, не одно и то же, но имущество в этой сентенции стоит уже определенно на первом месте. Та же мысль — в „Principe", 17: „Больше всего (государю) не следует покушаться на имущество других, ибо люди скорее забудут смерть отца, чем лишение имущества". Впервые, повидимому, такая формула пришла в голову Макиавелли как практический аргумент в минуту, очень для него тяжелую: в 1512 году, когда падение Содерини уже совершилось, но он не был еще лишен своей должности, Никколò обратился

к кардиналу Медичи, будущему Льву X, с письмом, в котором он пытался остудить реставрационный пыл новых хозяев Флоренции. Там говорится: „Уже назначены чиновники, которые должны разыскивать и возвращать имения Медичи. Эти имения находятся сейчас в руках людей, которые их приобрели и законным образом ими владеют. Отобрание их породит непримиримую ненависть, ибо люди больше сокрушаются о потере поместья, чем о смерти брата или отца“ [1]. В трактатах эта формула воспроизводится в распространенном виде: не поместье только, а имущество вообще людям дороже всего на свете. Действия людей управляются интересом.

Из этого основного положения нетрудно было — жизнь подсказывала — вывести другое. Если имущество людям дороже всего, то те, у кого его нет, естественно стараются им обзавестись, а те, у кого оно есть, стараются его сохранить. Так как эти стремления непримиримы и так как стимулы их неустранимы, то неминуема борьба. „Масса (la moltitudine) скорее готова захватить чужое, чем беречь свое, и людьми больше двигает надежда на приобретение, чем страх потери, ибо потере, если только она не близка, не верят, а на приобретение, хотя бы оно было далеко, надеются“ [2]. „Людям недостаточно вернуть свое: они хотят захватить чужое и отомстить“ [3]. Борьба, которая вспыхивает, естественно получает характер борьбы классов. Волнения, в которые она выливается, „чаще всего бывают вызваны иму-

[1] См. *Villari*, II, 185.
[2] „Istor. Fior.“, IV, 18.
[3] Там же, III, II.

щими (chi possiede), ибо страх потери рождает в них те же побуждения, которыми полны стремящиеся к приобретению. Ведь людям кажется, что обладание тем, что у них есть, не обеспечено, если они не приобретают вновь и вновь. Кроме того, владеющие многим имеют больше возможностей и больше побуждений (moto), чтобы производить перевороты (alterazione). Вдобавок, их неблаговидные (scorretti) и честолюбивые повадки (portamenti) зажигают в сердцах неимущих (chi non possiede) стремление обзавестись средствами либо для того, чтобы, отняв у богатых их достояние, отомстить им, либо чтобы самим приобщиться к богатству и почестям, которыми другие пользовались на их взгляд неправильно“ [1]. Трудно без четких социологических формулировок, время которых еще впереди, яснее выразить мысль, что в основе борьбы классов из-за власти („почестей“), т. е. политической борьбы, лежат мотивы экономические.

Классовые противоположности и классовая борьба, то, что Макиавелли обозначает словом disunione, являются душой истории. Ибо „в каждой республике существуют два различных устремления (umori diversi): одно — народное, другое — высших классов (dei grandi), и все законы, благоприятные свободе, порождены их борьбой (disunione), как нетрудно видеть на примере Рима“ [2]. Возвращаясь к этой мысли в

---

[1] „Discorsi“, I, 5. Начало цитаты выписано Марксом. См. *Максимовский*, там же. Интересна мысль, что нападающей стороной в классовой борьбе являются не бедные, а богатые.

[2] „Discorsi“, I, 4. Место выписано Марксом. См. *Максимовский*, там же.

„Истории Флоренции“ (VII, 1). Макиавелли утверждает, что ни одна республика не может быть вполне единой внутренне и существовать без общественных группировок (divisioni). Эти группировки он считает явлением нормальным и при известных условиях благотворным и придает им огромное значение как историческому фактору. Мысль эта подчеркнута с самого начала, в предисловии к „Истории“. Там, критикуя своих предшественников, Бруни и Поджо, он говорит: „В описаниях войн... они очень старательны, но раздоры гражданские, внутренняя борьба (civili discordie e intrinseche inimicizie) и результаты, ими порожденные, частью обойдены молчанием совершенно, частью изложены настолько коротко, что читатели не получат ни пользы, ни удовольствия“.

Вообще, вся „История Флоренции“ в сущности является иллюстрацией avant à lettre к тезису „Коммунистического манифеста“, что история всего предшествующего общества есть история борьбы классов. Недаром Маркс назвал эту книгу „высоко мастерским произведением“ [1].

Чтобы было ясно, с какой сокрушительной для своего времени отчетливостью представлял себе Макиавелли эти вещи, мы приведем замечательный отрывок из рассказа о восстании чомпи [2]. Он будет немного длинный, но он того стоит.

---

[1] В письме к Энгельсу от 25 сентября 1857 г. Цитировано у *Максимовского,* там же, стр. 332.

[2] Восстание чомпи 1378 г. — первая в истории попытка рабочего класса захватить политическую власть. См. мое „Начало итальянского возрождения“, стр. 142—155. Отрывок взят из „Истории Флоренции“, III, 12—13.

Цезарь Борджа

Современная гравюра

Вителлоццо Вителли

Современная гравюра

„Пока происходили эти события, возникло другое волнение, которое нанесло республике ущерб гораздо больший, чем первое. Поджоги и грабежи последних дней большей частью были делом рук городских низов (infima plebe della città). Когда главные раздоры утихли и улеглись, самые дерзкие из них стали бояться, что их постигнет кара за проступки, ими совершенные, и что они, как это часто бывает, будут покинуты теми, кто толкал их на злодеяния. К этому еще присоединялась ненависть, которую неимущие (popolo minuto) питали к богатым гражданам и заправилам цехов[1], ибо они находили, что заработная плата, которую они получают за свои труды, гораздо меньше, чем они по справедливости заслуживают... То граждане, которые раньше принадлежали к гвельфам[2] и из среды которых всегда выходили капитаны этой партии, покровительствовали членам старших цехов, а членов младших и их защитников[3] преследовали. Вот почему возникли против них те волнения, о которых мы рассказали. При распределении граждан по цехам многие из тех профессий, в которых заняты неимущие и люди из городских низов, не получили собственной цеховой организации и были подчинены различным цехам, к которым эти классы по своим профессиям подходили. Следствием этого являлось, что когда люди не были удовлетворены заработной платой или подвергались тем или

---

[1] Имеются в виду исключительно старшие цехи, широко пользующиеся в своих мануфактурах пролетарским трудом: Lana, Calimala, Seta.

[2] Правящая политическая группировка.

[3] Лидеров мелкой буржуазии: Медичи, Альберти, Дини, Скали и др.

иным притеснениям со стороны хозяев, им некуда было обратиться кроме как к начальству того цеха, которому они были подвластны. И казалось им, что с его стороны им не оказывается справедливость, на какую они считали себя в праве рассчитывать. Из всех цехов имел и имеет больше всего подвластных — цех суконщиков (Lana). Это самый могущественный и первый по влиянию между всеми. В его промышленных предприятиях находили и находят хлеб большая часть неимущих и людей из городских низов.

Таким образом, люди низших классов, подчиненные как цеху суконщиков, так и другим, по указанным причинам были полны недовольства. К этому присоединялся еще страх, порожденный поджогами и грабежами, ими учиненными. Поэтому они неоднократно собирались по ночам, обсуждали недавние происшествия и указывали друг другу на опасность, в какой они находятся. Один из наиболее смелых и бывалых, чтобы ободрить других, сказал следующее: „Если бы нам нужно было обсуждать вопрос, следует ли браться за оружие, жечь и грабить дома граждан, громить церкви [1], я примкнул бы к тем, кто полагал, что об этом нужно очень подумать, и, может быть, согласился бы, что спокойную бедность следует предпочесть опасной наживе. Но так как оружие пущено в ход и много дурного совершено, то мне кажется, нужно говорить о том, как сделать, чтобы не складывать оружие и не быть в ответе за содеянное. Думаю, что если никто не сумеет предложить выхода, ему укажет нам сама необхо-

[1] В церкви некоторые из богатых людей снесли свое имущество. Когда народ об этом узнал, церкви подверглись разгрому.

димость. Вы видите, что весь город полон против нас злобы и ненависти. Граждане сближаются между собою, и Синьория все время заодно с цеховыми властями. Будьте уверены, что нам расставлены ловушки и опасность угрожает нашим головам. Поэтому мы должны думать о двух вещах и поставить себе две цели: одна — это не быть в ответе за то, что мы совершили, другая — получить возможность жить более свободно и более обеспеченно, чем прежде. И нам следует, мне кажется, если мы хотим получить прощение за прежние грехи, натворить новых, удвоить зло, нами сделанное, умножить поджоги и грабежи и постараться во всем этом набрать как можно больше соучастников. Ибо, где грешат многие, никто не подвергается возмездию. Малые проступки влекут за собою наказание, большие — награду. Когда страдают многие, о мести думают единицы, ибо общие невзгоды переносятся с бо́льшим терпением, чем отдельные. Если мы умножим причиненное нами зло, мы легче добьемся прощения и найдем средства получить то, что мы хотим иметь для обеспечения нашей свободы. И мне кажется, что мы на пути к верному успеху, ибо те, которые могли бы нам помешать, разъединены и богаты. Их разъединенность даст нам победу, их богатства, когда станут нашими, помогут ее удержать. Не давайте затуманить себе голову разговорами, которыми они хотят нас унизить: что в их жилах течет древняя кровь. Все люди одного происхождения и, значит, совершенно одинаковой древности, и природа создала их по одному образцу. Разденьте всех догола, и вы увидите, что все похожи друг на друга. Облачите нас в их одежды, а их в наши,— разумеется, мы будем иметь вид знатных,

а они — худородных. Ибо только бедность и богатство создают неравенство между нами. Мне очень неприятно чувствовать, что многие из вас в глубине души раскаиваются в том, что они сделали, и не хотят принимать участия в таких же новых деяниях. И если это верно, то я скажу, что вы не те люди, которых я думал в вас найти. Вас не должны смущать ни совесть, ни бесчестие. Потому что победители, каким бы способом они ни победили, никогда не несут позора. И нечего обращать внимание на угрызения совести, ибо там, где приходится, как нам сейчас, бояться голода и тюрьмы, нет и не может быть места страху перед адом. А если вы вникните в поступки людей, вы увидите, что все, которые достигли больших богатств и большой власти, добились этого либо вероломством, либо насилием, и захваченное обманом или силою они, чтобы скрыть недостойные способы приобретения, лживо называют теперь заработанным. Те же, кто по малому разумению или по чрезмерной глупости избегают таких способов, все больше погружаются в порабощение и в нищету. Потому что верные рабы — всегда рабы, а хорошие люди — всегда бедны. От порабощения никогда не освобождается никто, кроме вероломных и дерзких, а от нищеты — никто, кроме воров и мошенников. Бог и природа поместили счастье людей у всех под руками, и оно легче достается грабежу чем трудовой жизни, легче дурным поступкам, чем хорошим. Из этого вытекает, что люди пожирают друг друга, и маленькому человеку живется все хуже и хуже. Вот почему нужно пускать в ход силу, когда к этому представляется возможность, и никогда судьба не даст нам к этому большей воз-

можности, чем сейчас, когда среди граждан царят раздоры, когда Синьория колеблется, а власти не знают, что делать. И пока они объединятся и соберутся с духом, ничего не стоит их раздавить. Тогда мы окажемся полными господами города и получим такую долю власти, что не только прежние проступки будут нам отпущены, но мы еще получим право и возможность грозить им новыми бедами. Я признаю, что этот путь — смелый и рискованный. Но там, где давит необходимость,— разумная дерзость есть благоразумие, и в великих делах мужественные люди никогда не считаются с опасностью. А те предприятия, которые начинаются с опасностей, кончаются торжеством, ибо никогда без опасности нельзя покончить с опасностью. Мне кажется к тому же, что в момент, когда готовятся тюрьмы, пытки и казни, страшнее ждать этих вещей, ничего не делая, чем пытаться их избежать. В первом случае беда придет наверняка, во втором — она сомнительна. Сколько раз приходилось мне слышать ваши жалобы на скупость ваших хозяев и на несправедливость цеховых властей. Теперь как раз настал момент не только освободиться от тех и от других, но и стать настолько выше их, что они будут бояться вас больше, чем вы их. Возможность для этого, которую нам предоставляет случай, улетает, и когда она исчезнет, вы тщетно будете стараться поймать ее снова. Вы видите приготовления ваших противников. Предупредим же их намерения. Кто первый возьмет оружие, несомненно победит: враг будет сокрушен, и торжество ваше будет полное. Многим достанется честь, всем — безопасность".

Нетрудно видеть, что в этом отрывке воспроизводятся в более зрелой и законченной форме замечания,

разбросанные в „Князе“ и в „Рассуждениях о Тите Ливии“. И сколько боевых лозунгов, гремевших на всех аренах классовой борьбы вплоть до наших дней, нашли на этих удивительных страницах свое первое выражение!

VIII

Культура Возрождения — культура итальянской коммуны. Мировоззрение Возрождения — мировоззрение, отвечающее нуждам коммуны. Оно эволюционировало, как эволюционировала коммуна. Оно становилось сложнее и разнообразнее, по мере того как разнообразнее и сложнее становились социальные группировки в коммуне.

Политическая мысль Возрождения — одна из граней его миросозерцания — отражает процесс усложнения социальных группировок в коммунах очень явственно. Коммуна — республика. Господствующая в ней группа — буржуазия, торговая и промышленная. Свобода хозяйственной деятельности — это то, чем буржуазия дорожит больше всего. Если чистая республиканская форма может обеспечить эту свободу, она сохраняется. Если не может, она уступает место тирании или, как гласила терминология, синьории, т. е. опирающейся на буржуазные группы единоличной власти. Синьория может придать себе аппарат, привычный для монархии, т. е. обзавестись титулом через императора или папу, двором, церемониалом, и может сохранить всю видимость республиканского строя, будучи в действительности властью вполне единоличной: смотря по тому, насколько тут или там сильны социальные пережитки феодализма. Но одно обще

всем синьориям: она обеспечивает буржуазным группам экономическую свободу. Политические идеи XV века, т. е. преимущественно идеи гуманистов, не вскрывают истинной картины политических отношений, и если судить по ним, то будет казаться, что республиканская форма стоит так же незыблемо, как в разгар борьбы гвельфов и гибеллинов. Это значит, что буржуазии неугодно было, чтобы подчеркивалась утрата ею политической свободы. Тем не менее даже в политических высказываниях гуманистов можно уловить различные оттенки. Треченто во Флоренции провозглашает резко республиканскую и резко тираноборческую точку зрения. Боккаччо говорит о том, что „нет жертвы более угодной богу, чем кровь тирана". Салутаты пишет целый тираноборческий трактат. В XV веке, особенно после того как во Флоренции установилась синьория Медичи, флорентинские гуманисты смягчают свои тираноборческие высказывания, но республиканская платформа остается у них незыблемой: первые Медичи очень любили, когда про их правление говорили, что оно республиканское. Поджо противопоставляет флорентинскую „свободу" тирании миланских Висконти и вступает в полемику с феррарским гуманистом Гуарино о сравнительных достоинствах Сципиона и Цезаря. Первого он защищает как последовательного республиканское. Поджо противопоставляет флорентийскую республики. Точка зрения Гуарино обратная. Он живет в Ферраре, а синьория д'Эсте одна из самых откровенных. Такие уклончивые, скользкие отражения политического бытия сделались невозможны, после того как во Флоренции отгремели классовые бои савонароловского четырехлетия и со всей определенностью

обозначались классовые группировки сначала пожизненного гонфалоньерата, потом медичейской реставрации. Теперь политическая доктрина, которая берется оценивать положение, должна отличаться четкостью классовой точки зрения; это — главное требование, к ней предъявляемое. Поэтому все, кто выдвигает ту или иную политическую доктрину, считают себя обязанными не скрывать своей классовой точки зрения: и Гвиччардини, и Веттори, и Джаноттн, и Нерли, и остальные.

Но лишь один Макиавелли сумел придать своим высказываниям такую глубину, при всей их яркой злободневности и классовой определенности, что его теория не только сделалась политической доктриной Возрождения, но и положила начало политике, как научной дисциплине.

Основные линии его теории даны в „Discorsi“ и в „Principe“, к которым примыкает „Arte delle guerra“, а злободневные ее моменты со всей силой непосредственности вырисовываются в письмах к Веттори и в „Рассуждении о конституционной реформе во Флоренции“.

Интересы буржуазии требуют, чтобы в городе, как Флоренция, благосостояние которого выросло на торговле и промышленности, была республика, а не монархия. Монархия (наследственная) — вообще форма „жалкая“ (trista; „Discorsi“, III, 8), и о ней Макиавелли не любит говорить. Но совершенно недостаточно сказать, что республика лучше монархии, ибо самое важное — организация республиканского управления, т. е. в конечном счете распределение государственной власти между социальными группами. Нет необходимости излагать то, что у Макиавелли гово-

рится о свободе и равенстве: это хорошо известно[1]. Также хорошо известно, какие усилия должен был делать Макиавелли, чтобы обосновать и оправдать республиканскую точку зрения в „Истории Флоренции", посвященной Клименту VII Медичи. Гораздо важнее то, как он себе представляет социальную базу республики в таком городе, как Флоренция. Мы видели, как он боится дворянства, т. е. феодальных классов, и как мало у него симпатии к народным массам. В республике, которая хочет благоденствовать, дворянство нужно искоренять, а массы взять в руки. Сделать это должна буржуазия, не тронутая феодализирующими процессами,— во Флоренции, следовательно, не рантьерская часть буржуазии, а торгово-промышленный класс. Он — настоящий хозяин политической сцены, ибо его активность поддерживает экономическое процветание государства. В записке о реформе конституции Никколо развивает эту точку зрения как программу сегодняшнего дня. Необходимо „открыть вновь залу Совета", т. е. восстановить Большой Совет, основной орган савонароловско-содерииьевской конституции[2], враждебный рантьерской буржуазии и очень ловко маневрировавший с массами. Так как реставрация Медичи в 1512 году была произведена рантьерскими группами, то откровенная защита интересов других групп перед папою Медичи с самого начала не могла рассчитывать на успех. Записке не

[1] На русском языке, кроме общих курсов по истории политических учений, можно указать хорошее изложение теории Макиавелли в статье *В. Максимовского,* Идея диктатуры у Макиавелли („Историк-марксист", т. 13, 1929).

[2] См. Opere (1819), т. VI, стр. 75.

было дано ходу, хотя династические интересы Медичи в ней довольно искусно — и не очень искренно — ограждались.

В 1512 году торгово-промышленная буржуазия во Флоренции была вытеснена со своей господствующей позиции и подверглась жесточайшему финансово-экономическому ущемлению. Этого мало. Не только во Флоренции, но и всюду в Италии, за исключением Венеции, феодализирующие процессы надвигались все ближе и давили на буржуазию, а в Венеции буржуазия страдала с каждым годом больше от неблагоприятной международно-хозяйственной конъюнктуры. Но и этого мало. Италию теснили враги, чужеземцы, отсталые экономически и поддержавшие в Италии феодальные и легко поддающиеся феодализации группы. Они сидели очень крепко на юге и почти не покидали севера.

Неаполь после Гарильяно (1503)[1] даже перестал быть ареною военных действий. Там уже хозяйничал испанский вице-король. Тем беспощаднее бушевала военная непогода на севере. После Камбрейской Лиги и Аньяделло (1509) война там не прекращалась надолго, до самого Sacco 1527 года. Менялись лишь ее плацдармы и участники. Французы, испанцы, швейцарцы, немецкие ландскнехты — все побывали там, и мелкие династы не знали, чей сапог им целовать. Последовательно, кусок за куском разорялась итальянская земля. Чем дальше, тем стано-

[1] О войнах между французами и испанцами из-за Италии на итальянской почве и о Камбрейской Лиге, организованной папою Юлием II против Венеции, см. ниже в тексте „Князя“ и особенно в комментариях к нему.

вилось хуже. Создавалась угроза самостоятельному политическому бытию Италии, а с ней хозяйственной самостоятельности и политической свободе торгово-промышленной буржуазии. Феодальные и наполовину феодализованные группы севера и юга приветствовали чужеземное завоевание, т. е. изменяли Италии. Только буржуазные, притом исключительно торгово-промышленные, группы, подчиняясь своей внутренней хозяйственной и классовой логике, не могли принять завоевание и изменить родине. Спасение родины совпадало с классовыми интересами буржуазии, т. е. с классовой позицией Макиавелли.

Италия не могла обороняться. Почему? Этот вопрос задал себе Никколо. Мы знаем его ответ: во-первых, потому, что в Италии нет политического единства, а во-вторых, потому, что в Италии нет своей, не наемной, национальной армии. Что же было делать? Ответ опять-таки был беспощадно ясен: создать единство и создать армию. Для этого нужно было указать практические способы. Думая над ними, Макиавелли положил основание политической науке, подобно тому как Колумб, отыскивая пути в Индию, нашел Америку.

Поездки во Францию и в Германию, вместе с опытом, полученным за время осады Пизы, проверенные на классиках и на истории итальянской коммуны в Средние века, дали Макиавелли отправные точки зрения. Их он изложил раньше всего в виде беглых набросков в двух коротеньких очерках о Франции и Германии. В дальнейших думах и в больших трудах эти точки зрения созревали все больше и больше и сообщали его доктрине ее основные линии.

Собственная, не наемная, а национальная армия. Это — заветная мысль Никколо. С первых своих шагов

в должности секретаря Десяти, когда он стал присматриваться к операциям по осаде Пизы, он пришел к заключению, что наемные войска никуда не годятся, и начал энергичную агитацию за создание милиции. По его настоянию Содерини провел соответствующий закон, была назначена так называемая Ordinanza, душой которой сделался он сам; он стал набирать солдат. В организации милиции было допущено много промахов, но Макиавелли смотрел на них как на „детские болезни", и его не разочаровывали даже такие факты, как падение Прато (1512), гарнизон которого — цвет его милиции — позорно разбежался при первом натиске испанцев. В „Discorsi", в книге III, несколько глав посвящено военным вопросам. Целиком трактует о них большой диалог „Военное искусство", „Arte della guerra". В „Истории Флоренции", начиная с IV книги, все описания походов превращаются в сплошную филиппику против наемных войск, и Никколо не щадит красок, чтобы представить — иной раз сознательно преувеличивая — в смешном виде битвы кондотьерских отрядов. Огромное большинство анекдотов, характеризующих стратегию и тактику кондотьеров, идут от „Discorsi" и „Истории Флоренции". Никколо был уверен, что если довести до конца дело реорганизации армии в Италии, изгнание „варваров" станет легким делом: слишком убедительны были доказательства, которые приносили в Италию французские, швейцарские и испанские войска, организованные именно так, как проповедывал в „Военном искусстве", слегка стилизуя по римским образцам современный опыт, кондотьер Фабрицио Колонна, выражавший собственную точку зрения Макиавелли.

Но армия должна быть в надлежащих руках. Каких? После собирательной деятельности Юлия II Папская область усилилась настолько, что ни одна комбинация итальянских государств не могла ее игнорировать. И осуществить более или менее прочное единение Италии в борьбе с папою было теперь вещью совершенно невозможной. Никколò отлично помнил, что Папская область всегда была элементом разъединения и слабости Италии, и чем она становилась сильнее, тем такое ее значение возрастало. Он прекрасно доказал это в „Discorsi“ [1]. Но было одно обстоятельство, в сущности совершенно случайное, которое давало надежду в данный момент воспользоваться именно тем, что всегда было элементом слабости Италии, и попытаться сделать это элементом силы. Начиная с 1513 года и до самой смèрти Никколò на папском престоле сидели сначала Лев X, а после годичного промежутка Климент VII, оба Медичи, т. е. государи Флоренции. Папская область и Флоренция

[1] I, 12: „Никакая страна никогда не может быть единой и счастливой, если она не составляет единую республику или не повинуется одному государю, как Франция или Испания, и причиною того, что Италия находится в ином положении, что она и не единая республика и не управляется единым государем,— исключительно церковь. Ибо, получив светскую власть и обладая ею, она не сделалась настолько мощной и не обнаружила таких достоинств, чтобы оказаться в силах овладеть остальной Италией и господствовать над нею. А с другой стороны, она не сделалась настолько слабою, чтобы, когда перед нею вставала опасность потерять светскую власть, она не смогла призвать могущественного покровителя для защиты против того, кто в Италии сделался чересчур сильным“.

оказывались уже объединенными. Формально это была, конечно, личная унпя, но фактически — и реальная. Задача, казалось, значительно облегчается. Как же нужно было вести объединение дальше? Для Макиавелли был ясен ответ и на этот вопрос: так, как Цезарь Борджа в 1502 году, не думая ни о чем, не останавливаясь ни перед чем, объявляя, если нужно, преступление подвигом и вероломство добродетелью, веря, что все будут приветствовать как „bellissimo inganno“ [1] маневры даже худшие, чем ловушка в Синигалии. В „Discorsi“ по этому поводу говорится (III, 41): „Когда речь идет о спасении родины, должны быть отброшены все соображения о том, что справедливо и что несправедливо, что милосердно (pietoso) и что жестоко, что похвально и что позорно. Нужно забыть обо всем и действовать лишь так, чтобы было спасено ее существование и осталась неприкосновенна ее свобода“. В „Principe“ этот афоризм развернут на несколько глав, одни заглавия которых кричат о том, что Макиавелли „забыл обо всем“ и помнит лишь о родине, которой грозит катастрофа. Критика именно этих глав „Principe“ чаще всего превращалась в вой исступленных проклятий. Из старых мыслителей Гегель был в числе немногих, кто понял диалектическую закономерность тех способов борьбы за итальянское единство, которое рекомендовал Макиавелли. „Эту книгу („Il Principe“),— говорит он,— часто отбрасывали с ужасом за то, что она полна максимами самой свирепой тирании. Но в высшем смысле необходимости государственных образований Макиавелли установил принципы, согласно которым

[1] „Прекраснейший обман“ — слова Паоло Джовио.

должны были в условиях того времени создаваться государства“ [1].

Когда писался „Principe“, для Макиавелли в анализе политики Цезаря Борджа был очень важен один момент. Цезарь был сыном папы: курия финансировала его завоевания и благословляла его аннексии. При Льве X и Клименте VII дело национального и политического обновления могло получить финансовую базу еще более солидную: соединенные средства курии и Флоренции. Поэтому „Principe“, книга, где и теория принципата, и руководящие указания для „principe nuovo“, спасителя Италии, и страстный призыв к изгнанию „варваров“, должна была быть посвящена Джулиано Медичи, меньшому брату папы Льва, а когда он умер, была перепосвящена Лоренцо Младшему, племяннику Льва и Климента. Обойти Медичи было невозможно, и выбирать нужно было из таких Медичи, которые — выбор был небогат — были ближе к папам. Не Макиавелли был виноват, что перед ним оказались только эти два бездарные отпрыска славного дома, что именно в них ему нужно было вдохнуть свою virtù и их двинуть на политический и патриотический подвиг. Но хотя их имена связались не только с посвящением „Князя“, а еще и с аллегориями Микельанджело в капелле Медичи, дело Италии от этого не выиграло. Лоренцо тоже вскоре умер, а когда в 1526 году понадобилось без всякой риторики обнажить меч и вести войска итальянские на врага, от старшей линии Медичи оставались только два малолетних бастарда. Макиавелли и тогда не бросил своей мысли. Он нашел еще одного

[1] „Philosophie der Geschichte“, 505; IV, 2, 3 (Reclam).

Медичи, правда, из младшей линии, но на этот раз зато такого, какой был нужен: „человека великих решений", pigliatore di gran partiti [1]—Джованни, кондотьера, начальника Черных отрядов. Но папа Медичи испугался кондотьера Медичи, и жезла командования Джованни не получил. А он был способен и бить врагов, не думая ни о чем, и забрать неограниченную власть для осуществления миссии единства, если бы папа не боялся оказать ему поддержку. Но Климент вовсе не хотел оказаться в положении Александра VI, которого Цезарь, родной сын, совершенно подчинил своей воле. Джованни был вылеплен из совершенно такого же теста. Как было вручить ему неограниченную власть?

Между тем для Макиавелли именно в неограниченной власти и было все дело. Создать новое государство, не располагая неограниченной властью, было невозможно. Почему?

Много раз было замечено, что Макиавелли в своих теоретических построениях и в их применении к жизни никогда не останавливается на полдороге, как бы суровы ни оказались те выгоды, к которым приводит его логика. Он идет до конца, сокрушая все, как бы подхватывая доносившийся с севера боевой клич: „Напролом!", „Perrumpendum est!" — лозунг Ульриха фон-Гуттена.

Гуттен, младший собрат по литературным боренпям, во многом похож на Никколо. Но была между ними и очень большая разница. Гуттен был рыцарь и бросался вперед очертя голову, едва завидев врага.

---

[1] Lett. fam., 204, к Гвиччардини. См. ниже.

Юлий II

Современный рисунок (Рим, Палаццо Киджи)

Лев X

Акварель (Вена)

Политик он был плохой, потому что с рыцарской идеологией трудно было делать политику в момент распада феодального общества. Макиавелли феодальный строй ненавидел, рыцарскую идеологию презирал, был политиком до мозга костей и ковал доктрину по требованиям века. В основе его политической теории лежали идеи, о которых Гуттен не подозревал: представления о классовых группировках и о классовой борьбе. И он знал то, чего не знал Гуттен: что классовая борьба — борьба более ожесточенная, чем та, которая ведется сомкнутым строем в открытом поле или вокруг укрепленных стен. Ибо эта борьба не знает мира. Поэтому лозунги Макиавелли по существу еще более беспощадны и суровы, чем гуттеновское „Perrumpendum est". Поэтому ему не страшны никакие выводы, хотя бы они тонули в потоках крови. Непримиримость проводится у него до конца.

Чтобы не была отнята только что завоеванная свобода, необходимо, чтобы были „убиты сыновья Брута". Другими словами, если люди самые близкие, самые дорогие властям нового порядка, самые даровитые во всех отношениях и самые нужные угрожают свободе, они должны быть убиты. „Пьеро Содерини думал, что с помощью терпения и доброты ему удастся преодолеть стремление сыновей Брута вернуться под власть другого правительства, и ошибся" [1]. Ибо, кто создает тиранию и „не убивает Брута" и кто создает свободное государство и „не убивает сыновей Брута", продержится недолго. Если свободное государство создается на феодальной почве,

[1] „Discorsi", III, 3.

необходимо истребить дворянство поголовно[1]. И вся свободная от моральных сдержек, безоглядная и твердая линия поведения, которая рекомендуется „новому государю“[2], в основе своей тант ту же предпосылку: сохранение государства.

Но если спасать родину от варваров должен государь с неограниченной властью, то как совместить с этим республиканские гимны, которыми полны „Discorsi“? На этом вопросе изощряли свое бессильное злорадство целые поколения лицемеров в разных рясах и в разных ливреях. Но противоречие между республиканскими идеями „Discorsi“ и программою „Principe“ призрачное. Нечего говорить, что его не существует в исходной точке зрения Макиавелли, между его флорентинским республиканизмом, республиканизмом его более тесной родины и сознанием невозможности сильной республиканской власти в Италии, в его более широкой родине. Но противоречия нет и в построении. Власть „principe nuovo“ — чрезвычайная и по существу временная. Макиавелли, конечно, не думал, что реальный „новый государь“ сложит свои полномочия по истечении срока или окончив задачу, на него возложенную: как диктатор в древнем мире. Кругом себя он не видел Цинцинатов в сколько-нибудь утешительном количестве

[1] Там же, I, 55: „non la puo fare, se prima non li *spegna tutti*“ („нельзя этого сделать, если предварительно не *истребить их всех*“).

[2] „Principe“, 18: „Новый государь не может придерживаться такого образа действий, который людям создает добрую славу, ибо для сохранения государства часто бывает необходимо действовать не так, как повелевают верность, милосердие, человечность, религия“.

и легко представлял себе, что бы стало с тем, кто предложил бы такую вещь, например, его великолепному знакомцу, Цезарю Борджа. У Макиавелли идея чрезвычайности и временности власти „нового государя" осуществляется в том, что он после смерти не передает своих полномочий никому[1]. Его диктатура — пожизненная. Основывается государство властью единоличной и неограниченной. Лишь в процессе организации выступает коллектив, и устанавливается республиканское управление. Так бывает и в спокойное время. А в момент, переживаемый Италией, в момент, когда она вступила в последний смертный бой за свое политическое бытие, коллективный образ действий при создании нового государства совершенно исключен. Создавать единство страны и в объединенной стране новую власть может только лицо единичное, „principe nuovo". Если он справится, после него народ может и в единой Италии заняться организацией свободного государства.

Великолепное видение, приводящее на память хорошо известную картину из героического эпоса. Лежит на земле богатырь, разрубленный злыми врагами на куски. Приходит волшебник с живой и мертвой водою. Поливает тело мертвой водой — оно срастается, поливает живою — богатырь поднимается, встряхнувшись, готовый на новые подвиги. То, что вставало в воображении Макиавелли, было той же картиной, но в политической стилизации. Прекрасное тело Италии разрублено на куски. Но к нему спешит он, новый Мерлин, с двумя кувшинами волшебной воды. Поливает сначала мертвой водою принципата — тело сра-

[1] „Discorsi", I, 6; „Discorso sopra il riformar..." etc.

стается. Италия становится едина. Поливает из другого кувшина живой водою свободы, и в ней загорается новая жизнь.

В других образах, но та же картина рождения из хаоса новой, единой, великой Италии была откровенною мечтою и носилась перед глазами Данте, Колы ди Риенцо, Петрарки. Планы Макиавелли остались такою же мечтой, хотя они были теоретически продуманы гораздо лучше и практически казались осуществимы. Макиавелли вполне верил, когда бросал к ногам „нового государя" осанну итальянской свободе и итальянскому единству [1], что его рассуждения безошибочны и его страстный призыв неотразим. Он ошибался, и мы увидим почему. Но то, во что он верил, то, что он делал, чтобы претворить свою веру в жизнь, то, что он перестрадал из-за этого, поставило его в ряду пророков единства на одно из первых мест. Люди Risorgimento [2], настоящие кузнецы объединения, сколачивавшие из кусков тело единой и свободной родины, этого ему не забыли. И помнит,

---

[1] „Principe", глава 26: „Мне трудно выразить, с какой любовью будет он (новый государь) принят во всех областях, которые натерпелись мук от этих чужеземных наводнений, с какой жаждою мести, с какой упорной верою, с каким благоговением, с какими слезами! Какие двери закроются перед ним? Какой народ откажет ему в повиновении? Какая зависть ему воспротивится? Какой итальянец откажет ему в почитании? Всем смердит это варварское господство".

[2] Risorgimento — политическое возрождение. Так принято называть эпоху активной борьбы против чужеземных династий, владевших на юге Неаполем, а на севере Ломбардией, Венецией и герцогствами, от первых вспышек карбонарства в 20-х годах до объединения в 1870 г.

и будет помнить новая Италия. Это она поет у Джозуэ Кардуччи: „Я — Италия, великая и единая. И воспитал меня Никколо Макиавелли".

...Io sono
Italia grande e una...
E m'ha educata
Niccolò Machiavello...

Почему же в XVI веке не удалось то, что удалось в XIX?

IX

В феврале 1525 года под Павией французы были разбиты войсками Карла V, и король Франциск попал в плен. Перед Италией встала грозная перспектива, что и север и юг ее окажутся в руках Испании. Стало ясно, что если такое положение удержится и будет санкционировано мирным договором, то все итальянские государства сделаются вассалами Карла. Было бы уже легче, если бы в Миланском герцогстве утвердились французы: оставалась бы надежда, что северные и южные „варвары" перегрызут друг другу горло. Но сейчас, после Павии, нужно было много усилий, чтобы побудить французов к действиям. Венеция, Флоренция, папа, особенно папа, были охвачены жгучей тревогою. Все понимали, что нужно сделать все, чтобы не дать сомкнуться на горле Италии железным клещам. Но все колебались, и папа больше всех. Ибо именно теперь, когда спасение было в величайшей решительности, Климент не находил его в себе и, слушая советников, склонялся то к одному, то к другому мнению. Даже вене-

цианские политики, всегда мудрые, как змий, мудрили чересчур и не действовали.

Только два человека оказались на высоте: Гвиччардини и Макиавелли.

Гвиччардини был в это время „президентом", т. е. генерал-губернатором, Романьи и деятельно занимался водворением порядка в этой дикой папской провинции. Макиавелли, как всегда без денег, после долгой переписки с римскими приятелями, решился ехать к папе, чтобы добиться увеличения гонорара за „Историю", которую он только что кончил. Это было в мае 1525 года. Но получив аудиенцию, Никколо находившийся, как и все, под впечатлением маневров испанских войск, стал говорить папе, кардиналам и вообще влиятельным лицам в курии о необходимости принять меры защиты. И выдвинул два проекта: один об укреплении Флоренции, другой о создании милиции в Тоскане и Папской области. Его доводы были так убедительны, что папа отправил его со специальным бреве к Гвиччардини, чтобы узнать его мнение о возможности набора солдат в Романье. Гвиччардини в принципе очень одобрял идею Макиавелли, но находил ее неприменимой именно в Романье, где это представлялось ему опасным по разным причинам. Кроме того, он боялся, что для тех непосредственных целей, какие имел в виду Макиавелли, нельзя было успеть вооружить и обучить милицию. Никколо не настаивал. Кандидата в „principe nuovo" он в этот момент не видел; а оба его проекта в его глазах полный свой смысл получили бы лишь в том случае, если бы их осуществление было поручено именно „новому государю". Он уехал во Флоренцию и занялся другими делами.

Гвиччардини, для которого, наоборот, была важна не программа, а возможность использовать благоприятную ситуацию, продолжал действовать на папу и его советников, добиваясь разрыва с Испанией. Все складывалось счастливо для проектируемого им союза между Римом, Венецией, Флоренцией, швейцарцами, Францией и Англией. Папа постепенно давал себя убедить. С самого начала 1526 года Гвиччардини перебрался из Болоньи в Рим и фактически сосредоточил в своих руках все сложные переговоры о новой лиге. Когда 26 мая договор о лиге был подписан в Коньяке, во Франции, Климент назначил его своим наместником во всей Церковной области и при войске (luogotenente)[1]. А 18 мая во Флоренции были назначены пять прокураторов по укреплениям, которые избрали канцлером и проведитором своей коллегии Макиавелли. Это был поворотный момент в его жизни.

„Principe nuovo" попрежнему не было видно, но опасность для Италии возрастала с каждым днем. Нужно было драться, не думая о программе, так, как когда-то Никколо писал в „Discorsi": забыв обо всем и думая только о спасении родины и ее свободы. Макиавелли не раздумывал. Политическая установка, вытекавшая из факта образования Коньякской Лиги, была его собственной установкой. К ней примкнул Гвиччардини, крупнейший идеолог рантьерской группы, потянувший за собою папу. Лига была направлена

---

[1] Булла подписана 6 июня. Деятельность Гвиччардини в период подготовки и действия Коньякской Лиги очень хорошо освещены в книге *A. Otetea*, Guichardin, sa vie publique et sa pensée politique (1926), стр. 137 и след. Текст буллы напечатан там же, стр. 3335.

против Испании, т. е. той политической силы, которая — мы знаем — особенно энергично насаждала в Италии феодальную реакцию и была особенно опасна для торгово-промышленных групп. Лига, следовательно, знаменовала собою разрыв — он, правда, оказался временным — между Медичи и рантьерскими группами, с одной стороны, и силами феодальной реакции — с другой. Гвиччардини сделался главным агентом этой политики. Никколо бросился в нее беззаветно, со всей силой своего темперамента. Начался самый кипучий период деятельности обоих друзей. Правда, положение их было разное. Гвиччардини представлял особу папы, Макиавелли имел должность, сравнительно скромную. Но настоящая virtù — деятельный энтузиазм, целеустремленная активность — была именно в нем. В нем словно воскресли лучшие представители римской доблести, Камиллы, Цинцинната, Сципионы, герои его „Discorsi". И то, что в чрезмерно рассудительном папском наместнике загорались иной раз столь не свойственные ему искры подъема и воодушевления, объясняется, быть может, тем, что Никколо заражал друга сжигавшим его самого внутренним пламенем; они ведь находились в постоянных сношениях, то письменных, то личных [1]. Для Никколо пришла пора

[1] Гвиччардини с легкой руки *Эдгара Кине* („Révolutions de l'Italie" II, 146 sq.), смешавшего его с грязью, и *Франческо де Санктиса* („Nouvi Saggi", 201 sq.; „Storia della letter. ital." II 88 sq.), нарисовавшего такой яркий и такой отталкивающий его образ, пользуется в общем малыми симпатиями у историков вплоть до Томмазини. При оценке его деятельности в войне 1526—1527 гг. отрицательный взгляд на него особенно несправедлив, и поправки к нему *A. Otetea* (указ. соч., стр. 212) заслуживают поэтому полного внимания.

вспомнить и о том, что он говорил когда-то в „Discorsi" (I, 26, 27): „Кто не хочет вступить на путь добра, должен пойти по пути зла. Но люди идут по каким-то средним дорожкам, самым вредным, потому что не умеют быть ни совсем хорошими, ни совсем дурными..." „Люди не умеют быть по-честному дурными или вполне (perfettamente) хорошими, и так как в дурном есть доля величия и в какой-то мере оно благородно,— они не умеют отдаться дурному". Эти смелые слова показывают, что, даже спокойно сидя в деревне, Макиавелли ставил общественные критерии выше личных, чуял боевую атмосферу и понимал законы борьбы. Когда речь идет о чем-то очень важном, прежде всего когда речь идет о родине, нужно иметь мужество пользоваться такими средствами, которые обыкновенно считаются дурными, если невозможно добиться цели путями, которые обыкновенно одобряются. И не ползти жалким ужом по безопасным средним тропинкам, на которых легче всего погубить великое дело. „Не бойся греха, если в грехе спасение" — таков смысл афоризмов Макиавелли. И недаром он сошелся в этом с другим бардом, суровым и непреклонным, который заклеймил навеки людей средних тропинок, неспособных к добру, бегущих зла, недостойных ни рая, ни ада: ведь это к ним относится приговор Данте Алигиери: „взгляни и пройди" — „guarda e passa" [1].

Теперь, когда Никколо был в центре такого дела, он готов был кинуть вызов всему с большим пылом,

---

[1] См. остроумные параллели между Макиавелли и Данте у *F. Ercole*, La politica di Machiavelli, 1926, стр. 344 — 351.

чем когда-нибудь, был готов с полной ответственностью итти „путем зла", лишь бы это принесло пользу родине. Но он переживал тяжелые муки, ибо не питал больших надежд на победу и задолго до подписания пакта о Лиге вкрапливал в свои письма к Гвиччардини пророчества о грядущих бедах. Он жил во Флоренции и видел, каково настроение. Люди торопились веселиться, карнавал проходил особенно шумно, и думать о войне не желал никто: это был один из видов оппозиции медичейскому режиму. Помимо прочего, все трусили. „Такого страху насмотрелся я в гражданах и так мало в них желания сопротивляться тому, кто готовится проглотить их живьем, что..." [1] Гвиччардини, который в это время гигантскими усилиями проводил свои планы, возмущали колебания папы. „Когда будет упущен удобный случай начать войну, мы все лучше узнаем, какие бедствия принесет нам мир",— писал он Макиавелли и признавался, что теряет ориентацию [2]. Но не терял ориентацию Никколо. Он знает, что друг его ведет в Риме борьбу за смелые решения, и шлет ему полные пригоршни аргументов, прокаленных на огне собственной страсти. Два исхода представлялись ему: или откупиться деньгами, или вооружиться. Первый не годится никуда, „потому что либо я совсем слепой, либо у нас возьмут сперва деньги, потом жизнь"... Что же делать? „Я думаю, что нужно вооружаться без малейшего промедления и не ждать, что решит Франция". В нем все кипит — от мыслей, от темпера-

---

[1] Lett. fam., 200, 15 декабря 1525, к Гвиччардини.

[2] „Ho perduto la bussola". Lett. fam., 201, 25 января 1526 (1525 флор. ст.).

мента, от нетерпения. „Я скажу вам вещь, которая покажется вам безумной, предложу план, который вы найдете либо рискованным, либо смешным. Но времена таковы, что требуют решений смелых, необычайных, страшных". И набрасывает схему действий: поставить Джованни Медичи, самого решительного кондотьера Италии, во главе войска, дать ему столько солдат, сколько нужно, показать врагам и союзникам, что Италия готова бороться. И тогда Испания с Францией подтянут свои хищные когти[1]. Перед ним опять — силуэт „principe nuovo". Что скажет папа? Гвиччардини и Филиппо Строцци, которому Никколо писал в том же духе, читали его письма Клименту. Папе план показался чересчур смелым. Но два месяца спустя, когда было упущено столько времени, и испанцы заняли часть миланской территории, Лига была образована, и Джованни Медичи поставлен во главе папской пехоты, на подчиненное место. Как нарочно, все делалось с опозданием и все наполовину.

Макиавелли занялся укреплением Флоренции. С ним был Пьетро Новарра, суровый воин и опытный инженер. Вдвоем они осмотрели все стены, все подступы к городу, и Новарра объявил, что берется сделать из Флоренции самую мощную крепость Италии. План был представлен папе с подробнейшими выкладками, финансовыми и техническими. Тем временем во Флоренцию пришла весть о бунте в войсках императора, и Никколо пишет Гвиччардини письмо,

---

[1] Lett. fam., 204, 15 марта 1526. Это письмо Томмазини называет (II, 8, 9) „лебединой песней Макиавелли".

полное вдруг вспыхнувшего, словно ждавшего только повода оптимизма: „Все стали понимать, как легко выбросить из нашей страны этих разбойников (ribaldi). Ради бога, не упускайте случая... Вы знаете, сколько было потеряно возможностей. Не теряйте эту. Не думайте, что все делается само собою, не полагайтесь на фортуну и на время". И дальше торжественно, апокалиптическим тоном, по-латыни: „Освободите от вечной тревоги Италию, истребите этих свирепых зверей, в которых нет ничего человеческого, кроме лица и голоса" [1].

Но Климент продолжал колебаться, а Макиавеллев план укрепления Флоренции объявил чересчур дорогим. Никколо вышел из себя. В один день, 2 июня, он отправил Гвиччардини целых три письма. Видно, что он с величайшим трудом подбирает мягкие слова для почтительных возражений папе и едва сдерживается, чтобы не назвать его так, как он заслуживал: скрягой и глупцом. Все было напрасно. Флоренция осталась без укреплений, ибо денег Климент так и не дал.

Разбитый неудачей, предвидя худшее впереди, Никколо, однако, не падает духом. Отечество в опасности, и он должен отдать ему себя всего без остатка. Дела много. Нужно пробивать упрямство, тупость, самоуверенность, недальновидность тех, у кого власть. Он снова возвращается к мысли об организации милиции. Под Сиеной большой флорентийский наемный отряд был обращен в бегство кучкою дисциплинированного городского ополчения. Никколо пользуется этим случаем, как аргументом. Но уже поздно. Враг

[1] Lett. fam., 107, 17 мая 1526.

приближается. Нужно думать, как спасти незащищенную Флоренцию. Ему приходит в голову смелый план. Быстро и во-время осуществленный, он обещал верную удачу: вторжение в неаполитанскую территорию [1], чтобы обезоружить вице-короля вместе с дружественными ему Колонна, беспрестанно угрожавшими тылу союзников. Климент отверг и это предложение, за что и поплатился: кардинал Помпео Колонна, его соперник на конклаве, с помощью испанцев ворвался в Рим; солдаты ограбили Ватикан, а папа едва спасся в Замке Св. Ангела. Это было небольшой репетицией разгрома следующего года.

На фронте дела тоже шли плохо, несмотря на все усилия Гвиччардини. Французская армия не появлялась. Английская диверсия в Испании была отложена. Швейцарские отряды были незначительны. Венецианские войска находились под командою Франческо Мария делла Ровере, герцога Урбинского, самого безнадежного и самого трусливого из итальянских кондотьеров. Папскими войсками командовал граф Рангоне, полное ничтожество. С Альфонсо д'Эсте папа, вопреки настояниям Гвиччардини, не сумел сговориться, а его тайная помощь спасла врагов. Когда ландскнехты Фрундсберга, двигаясь на соединение с Бурбоном, запутались в мантуанских болотах, без пищи, без артиллерии, без военных припасов и их можно было взять голыми руками, Альфонсо послал им хлеба, снаряжение и часть феррарской артиллерии, лучшей в Европе. А его племянник, маркиз мантуанский, Федерико Гонзага, предоставил

---

[1] Письмо к Филиппо Строцци, излагающее этот план, до нас не дошло. См. *Tommasini*, II, 859.

в распоряжение ландскнехтов необходимые перевозочные средства. Ему хотелось угодить Бурбону, который доводился ему кузеном. Ровере и Рангоне прозевали все, хотя Гвиччардини умолял их атаковать немцев. Джованни Медичи, прямодушный и импульсивный, приходил в ярость. Он таскал за бороды мантуанских сановников, грозился вешать мантуанских придворных, а самого маркиза поносил при всей его челяди так, что тот жаловался папе. В конце концов, выведенный из терпения, чувствуя, что кругом зреет измена, Джованни решил разорвать оковы, и в декабре 1526 года ударил на Фрундсберга один. Попытка кончилась его гибелью: он был смертельно ранен ядром феррарского фальконета под Говерноло. Макиавелли не раз ездил к Гвиччардини в лагерь союзников и по его поручению ходил уговаривать генералов. Но ничто не могло побороть их трусливого упрямства. Становилось ясно, что проволочки не случайны, а намеренны и скрывают прямое предательство. Герцог Урбинский на эти дела смолоду был мастер.

Макиавелли должен быть и во Флоренции, и на фронте. Он разъезжает беспрерывно, забыв годы, забыв болезни — у него камни,— забыв семью. Из лагеря он пишет во Флоренцию, в Рим к Веттори. Из Флоренции к Веттори и в лагерь к Гвиччардини. Слово его все едино. Оно, как звон набатного колокола, несется во все стороны. Бороться до конца и не думать о мире. Сокрушается он только об одном: что генералы не хотят драться и что папа против этого не протестует. Он знает, чего стоит имперская армия. Она хотя и многочисленна, но „если встретит неразбегающегося неприятеля, не бу-

дет в состоянии овладеть даже пачкой". И снова принев, суровый и мужественный. Даже когда императоры дойдут до Тосканы, „если вы не падете духом, вы можете спастись и, защищая Пизу, Пистойю, Прато и Флоренцию, добьетесь с ними соглашения, хотя и тяжелого, но во всяком случае не смертельного" [1].

„Не падай духом!" Папа именно пал духом и окончательно потерял голову. Во Флоренции паника. Генералы Лиги изобрели новую тактику. Они следуют за неприятелем сзади, на почтительном расстоянии. Гвиччардини, оставшись один, не в силах защищать Романью и Тоскану. Макиавелли уже в Форли, вместе с Гвиччардини. Бурбон смело идет вперед, зная, что враг далеко в тылу и не опасен. Он остановился на скрещении римской и флорентинской дорог. Макиавелли пишет в Рим, к Ветторп исступленное письмо, чтобы заставить папу выйти из апатии хотя бы в этот последний страшный момент. „Здесь решено, что если Бурбон двинется, нужно думать исключительно о войне и чтобы ни один волос не помышлял о мире. Если не двинется, думать о мире и бросить всякие мысли о войне". Он хочет определенности, а не виляний, которые погубили дело. „Хотя и надвигается буря, но кораблю нужно плыть, и, решившись на войну, нужно отрезать все разговоры о мире. Необходимо, чтобы союзники шли вперед, не думая ни о чем. Потому что теперь уже нельзя ковылять (claudicare), а нужно действовать по-сумасшедшему (farla all'impazzata). Ибо отчаяние часто находит лекарство, которого не умеет

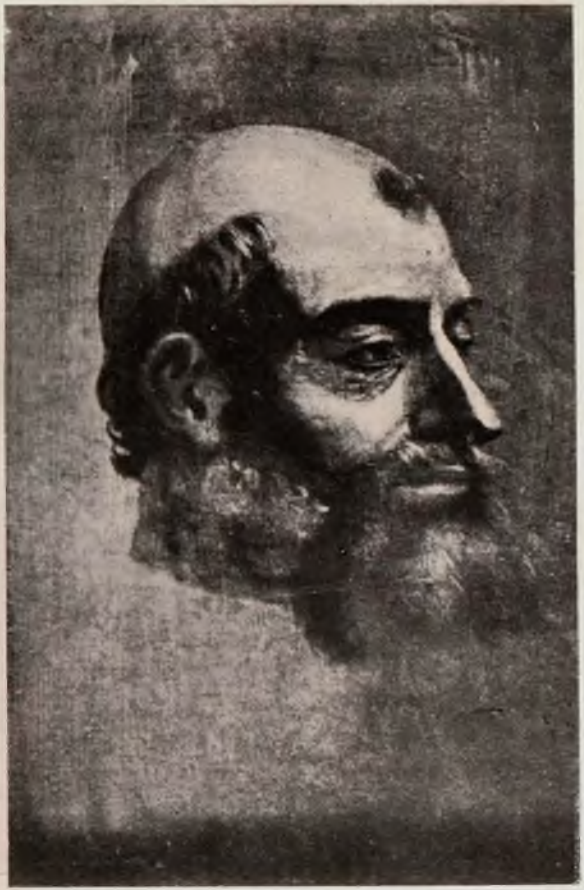
[1] Lett. fam., 223, 5 апреля 1527, к Ветторп.

отыскать свободный выбор". И дальше слова трогательные и мудрые, которых не стоили ни папа, ни бездарные хозяева Флоренции: „Я люблю мессера Франческо Гвиччардини, люблю свою родину больше, чем душу. И говорю вам то, что подсказывает мне опыт моих шестидесяти лет. Я думаю, что никогда не приходилось ломать голову над такой задачей, как сейчас, когда мир необходим, а с войною нельзя развязаться, да к тому же еще имея на руках государя, которого едва-едва может хватить только для мира или только для войны"[1]. Климента не хватало уже ни на что. Когда Никколо убедился, что ни у папы, ни у генералов не осталось ни искры мужества, он написал Веттори письмо, последнее из дошедших до нас, быть может самое трагическое, потому что оно — сплошной крик отчаяния. „Бога ради, так как соглашение невозможно — если оно действительно невозможно,— оборвите переговоры сейчас же, немедленно и сделайте письмами и доказательствами так, чтобы союзники нам помогли. Ибо если заключенное соглашение — верное для нас спасение то. одни переговоры не доведенные до успешного конца,— верная гибель. И то, что соглашение необходимо, будет видно, когда оно не будет достигнуто, а если граф Гвидо это отрицает, то это потому, что он просто cazzo... Кто живет войною, как эти солдаты, будет дураком, если станет хвалить мир..."[2]

Все было напрасно, ибо крепкое слово, которое Макиавелли навеки-вечные выжег на безмозглом спя-

---

[1] Lett. fam., 225, 16 апреля 1527.
[2] Lett. fam., 227, 18 апреля 1527.



Климент VII

С портрета Вазари

Карта событий 1502—1527 гг.

тельном лбу графа Гвидо Рангоне, было заслужено не им одним: оно столь же точно характеризовало и герцога Урбинского, и правителя Флоренции кардинала Пассерини, и больше всех его святейшество папу Климента VII.

Войска Лиги не торопясь шли сзади армии Бурбона, а папа, беззащитный, дрожал от страха, сидя в Ватикане. 7 мая 1527 года тактика Франческо Мариа и графа Рангоне увенчалась блестящим успехом. Рим был взят одним ударом, и начался многодневный, неторопливый его разгром. Полководцам Лиги оставалось любоваться красивым заревом пожара Вечного города. Климент заперся в Замке Св. Ангела, а Бенвенуто Челлини, ставший главным папским пушкарем, ядрами весело отгонял от стен крепости осмелевших пьяных ландскнехтов. Гвиччардини истощил все силы убеждения, доказывая всем, что атака на занятых грабежом ландскнехтов обещает верный успех: красноречие его пропало даром. Генералы не двинулись. Флоренция при вести о римской катастрофе восстала и прогнала Медичи еще раз.

Никколо, которого эти события застали на фронте, собрался домой. Делать было больше нечего. Сверхчеловеческое напряжение, в котором он находился столько времени, которое давало ему ощущение полной жизни и морального очищения, кончилось. Крылья были сломаны. Впереди не виделось ничего. Спутники слышали, как всю дорогу тяжело вздыхал он, погруженный в невеселые думы. Во Флоренции вместо признательности за то, что было настоящим героическим подвигом, его ожидал провал его кандидатуры на старое место секретаря Коллегии Десяти. Торгово-промышленные классы злились на него за то,

что он поступил на службу к Медичи, и не сумели понять, что, защищая Италию от испанцев, он защищал от феодальной реакции итальянскую и прежде всего флорентинскую буржуазию. Буржуазия, вернувшаяся к власти и восстановившая республику, отвергла величайшего своего идеолога. Это было последним ударом. Смерть пришла, как избавление, очень скоро.

Прошло три года, и сбылось все, что предвидел Макиавелли. Флорентинцам, которые не хотели драться в союзе с папой и Венецией против императора, пришлось драться одним против папы и императора. В 1527 году победа над Испанией могла быть сигналом к реформе в духе „Discorso sopra il riformar lo Stato“ и открыть для флорентинской буржуазии возможность хозяйственного подъема. В 1530 году поражение республики привело к усилению медичейского деспотизма, подчинило Флоренцию сначала разнузданному господству мулата Алесандро, потом методической тирании Козимо, великого герцога, сына Джованни, убитого в 1526 году. И Козимо, друг и союзник испанцев, активный насадитель феодальной реакции, действовал так, как говорится у Макиавелли в „Discorsi“: он выбирал из представителей прежней буржуазии „людей честолюбивых и беспокойных“, давал им поместья, сажал на землю, заставлял переключать капиталы из промышленности и торговли в сельское хозяйство. Ибо ему нужен был между ним и народом класс, при помощи которого он мог осуществлять свое господство: в точности так, как представлял себе дело Макиавелли в „Discorsi sopra il riformar lo Stato“ [1].

[1] См. Opere (1819), т. VI, стр. 70: „Во Флоренции для установления единоличной власти... было бы не-

Флорентинская буржуазия, как предсказывал Макиавелли, пала под ударами феодальной реакции, потому что итальянские государства, и сама Флоренция в том числе, в 1527 году не хотели „действовать посумасшедшему“, чтобы изгнать „варваров“ из Италии.

В 1530 году усилия Микельанджело, продолжавшего работу над укреплением Флоренции, там, где тупая скаредность Климента вырвала ее из рук Макиавелли, и героизм Франческо Ферручи, взявшегося за создание милиции, согласно указаниям Макиавелли, опоздали ровно на три года.

X

Если сопоставить огненные афоризмы, „Principe“, „Discorsi“ и писем с тем, как Макиавелли действовал в год войны, он сразу предстанет перед нами другим человеком.

Он бросился в водоворот событий, связанных с войною, можно сказать, прямо с карнавала, едва успев сбросить с себя маскарадную мишуру и наскоро ликвидировав какие-то темные дрязги, о которых флорентинские сплетники писали в Модену,

---

обходимо создать значительное количество дворян (assai nobili), с замками и поместьями, которые могли бы вместе с государем силою оружия и с помощью своего сторонничества (aderenze loro) держать в подчинении город и всю территорию. Ибо государь один, лишенный поддержки дворянства, не в состоянии нести тяжесть управления монархией: необходимо, чтобы между ним и народом (l'universale) был промежуточный слой, который помогал бы ему над ним господствовать“.

Филиппо Нерли, бывшему там губернатором[1]. Он сразу забыл обо всем: и о Барбере и о планах постановки своих комедий в одном из городов Романьи. Он весь отдался делу, которое было — это вдруг стало для него ясно — делом всей его жизни. В нем он искал своего катарсиса, как герои греческих трагедий. С тою только разницей, что трагедия была не вымышленная, а самая настоящая. Карающий рок в виде армии Бурбона с гулом и грохотом приближался к Флоренции и Риму, более страшный, чем все Зевсовы перуны. Когда Никколò ознакомился с актерами этой творимой трагедии, с папой Климентом, с герцогом Франческо Мария, с графом Рангоне, со всей папской челядью в красных и лиловых рясах, он увидел, что положиться можно только на двух людей: на Джованни Медичи и на Франческо Гвиччардини. А когда погиб начальник „Черного Отряда", он понял, что один Гвиччардини не может спасти положения. Если бы Макиавелли был прежним Никколò, он бы вернулся к Донато, к Барбере, к карнавалу, к хозяину остерии в Перкуссине, к замызганным лесным и полевым нимфам Альбергаччо: куда угодно. Но Макиавелли был уже другой. Под угрозою была родина, и он не мог, не мог физически, отстраниться от борьбы за нее, хотя знал, что она безнадежна. И кричал, что нужно действовать „по-сумасшедшему", и сам действовал по-сумасшедшему, убивая себя в бесплодных разъездах и бесполезных переговорах.

В истории редко можно встретить такую полную гармонию между словом и делом, какую являл в этот год Никколò. Он стал олицетворением virtù и навсегда

---

[1] Письмо Нерли напечатано *Villari*, III, 430.

остался для Италии — и не для одной Италии — учителем энергии, неумирающим примером того, как нужно и как можно действовать „по-сумасшедшему“ в трагические моменты кризисов в государстве и у народа. Ибо у всякого народа и во всяком государстве бывают кризисы, когда только сумасшедшая энергия становится настоящим делом.

Энергия Макиавелли Италии не спасла. И не пришлось ему вложить в руки „principe nuovo“ победный меч, повергающий в прах врагов итальянского единства. Теперь все кандидаты в principe были в лагере врагов единства, и само единство ушло в область несбыточной надолго мечты. Почему?

Потому ли только, что Климент был нерасчетливо скуп и по-глупому труслив, потому ли, что ему нехватало ни ума, ни энергии, чтобы справиться с положением? Потому ли только, что герцог Урбинский и Гвидо Рангоне почти явно изменяли, а во Флоренции кардинал Пассерини путался и не знал, что делать? Или были другие причины, более глубокие, которых ни Макиавелли, ни Гвиччардини, едва ли не самые острые умы во всей Италии, не видели?

Конечно, будь на месте Климента VII Юлий II, будь во главе венецианских войск не герцог Урбинский, а Бартоломео Альвиани, будь во главе папской армии не Рангоне, а Джованни Медичи, Рим, быть может, не был бы взят. Но общего хода событий изменить было нельзя. Италия была обречена. Ее самостоятельное политическое бытие должно было надолго кончиться. Разница могла быть лишь в том, что в Милане сидели бы не испанские губернаторы, а французские. И причины этой неизбежной обре-

чепности для Макиавелли и Гвиччардини были ясны лишь отчасти.

Макиавелли правильно указывал, что нужно для спасения Италии от „варваров". Единство и национальная армия. Единая Италия со своей армией, не зависящей от интересов отдельных тиранов, всяких д'Эсте, Гонзага, делла Ровере, подчиненной единой воле principe, была бы способна бороться с любой страной Европы, как равная с равной. Ни то, ни другое не оказалось возможно.

Во-первых, милиция. Когда Кине говорит[1] о роли Макиавелли в 1526—1527 годах, ему приходит на память французская революция: и Дантон, и Сен-Жюст, и Карно, и четырнадцать армий, и многое другое. Прекрасный повод для параллели. Почему французы могли выставить на фронт четырнадцать армий, а обширная Папская область и богатая Тоскана вместе не могли выставить даже одной? Гвиччардини, который знал свою Романью, совершенно определенно объявил, что вооружить население Романьи — значит снарядить вспомогательный отряд для императора, потому что половина населения провинции будет больше слушаться императора, чем папу, своего государя. Макиавелли с ним не спорил. Объявить то, что французская революция называла la levée en masse, в Тоскане было невозможно и по другой причине. Флоренция была полноправной госпожею, остальное население Тосканы было бесправно. Во Флоренции при Содерини всеми правами пользовались только около 3 000 человек, при Медичи — раз в десять меньше. Остальные города: Пиза, Ареццо, Прато, Пи-

[1] „Les révolutions d'Italie (1848)", т. II, гл. 4.

стойя, Эмполи, Ливорно, все другие, все сельское население прав не имели. Флорентийская буржуазия не желала делиться властью ни с кем, хотя знала очень хорошо, какое царит из-за этого недовольство в городах и в деревне. Пиза лишь недавно была покорена после четырнадцатилетней войны. Ареццо бунтовал и отпадал от Флоренции. В Пистойе и Прато происходили волнения. Деревня была неспокойна. Дать всему этому населению оружие — не значило ли тоже подготовить подкрепление для императора или для французского короля? Опыт Ordinanza при Содерини, так позорно закончившийся в Прато, не давал больших поводов для оптимизма.

Макиавелли нигде в своих сочинениях не ставит вопроса, из-за чего армия сражается: не в каждом отдельном случае, а вообще. В „Discorsi" нет главы, посвященной анализу экономической основы римской военной мощи. В „Arte della guerra", в конце четвертой книги[1], речь идет о том, что должен делать полководец, чтобы заставить солдат итти в бой в том или другом сражении, и приводятся в сущности примеры, как генералы обманывали солдат или действовали на их суеверие, чтобы поднять у них дух. Под конец, однако, указывается, что лучшее средство пробудить в бойцах упорство — показать им воочию, что они перед альтернативою: победить или погибнуть. И говорится: „Это упорство возрастает вследствие веры в полководца и любви к нему и любви к родине... Любовь к родине — чувство прирожденное (è causato dalla natura)". Любовь к родине, следовательно, учитывается, и было бы странно,

[1] Opere (1819), т. V стр. 308 — 309.

если бы она не учитывалась: древние историки ведь говорили о ней без конца. Но нет ни малейшей попытки ее проанализировать. Солдаты Французской революции шли на врага ведь тоже побуждаемые патриотизмом, l'amour sacré de la patrie, но мы знаем, что̀ такое патриотизм революционных солдат. Французская революция дала третьему сословию равноправие и избавила его от королевской опеки, освободила крестьян от крепостного права и дала им землю и волю. Там не думали, что патриотизм — чувство прирожденное, и патриотизм создавали. Солдаты революции дрались за то, чтобы у них не отняли даров революции. Даже в самой Флоренции XVI века в разные моменты граждане республики относились к войне по-разному. При Содерини они шли в милицию, но сражались плохо. В 1526—1527 годах они трусили и не пошевелились, а в 1530, в последней борьбе против папы и императора, бились героями: потому что в последней республике ожила частица демократической души Савонаролы, и к власти были приобщены более широкие круги, чем при Содерини.

Макиавелли, конечно, не мог знать ни про французскую революцию, ни при эпопею 1530 года. Но история итальянских коммун давала сколько угодно фактов, из которых при надлежащем анализе было нетрудно получить те же выводы. У Макиавелли их не оказалось, потому что его классовая пастроенность затемнила столь ясный обычно его анализ.

Макиавелли не додумался до того, что патриотизм представляет собою тоже классовое чувство, что у разных групп населения одного и того же государства патриотизмы могут быть различны. Его клас-

совая природа делала его патриотом флорентинским и общеитальянским, классовая природа романьольского крестьянина могла делать его патриотом и венецианским и даже имперским, а классовая природа пизанского жителя могла делать и делала его патриотом французским. Экономика Италии по причинам, которые уже указывались, не могла еще создать единого патриотизма, подобно тому как сделала это экономика Франции, разумно направленная монтаньярским Конвентом, в 1793 году.

Макиавелли вводила в заблуждение его классовая идеология, классовая идеология представителя торгово-промышленной буржуазии, и он был склонен своим настроениям придавать характер общий. Он не подумал, что сначала нужно устранить неравноправность во Флоренции и на ее территории и заинтересовать в победе над врагом все население. А если и подумал, то не решился этого сказать, потому что знал как это будет встречено его собственной группою. Точно так же Жиронда не хотела дать крестьянам, то, чего они требовали, и потому не могла по-настоящему организовать армию, пока была у власти.

И единству Италии мешала в конечном счете та же экономика. Если бы Венеция искренне, без страха пошла на союз с папою и Флоренцией в 1526 году, герцог Урбинский, ее кондотьер, не посмел бы держаться того образа действий, который привел Лигу к поражению. Но Венеция не могла не бояться Флоренции и особенно папы. То, что для Макиавелли, флорентинского буржуазного патриота, было спасением — вся программа „нового государя“,— то для венецианского буржуазного патриота было катастрофой, ибо объединение Италии в условиях того мо-

мента означало для Венеции потерю самостоятельности и превращение из царицы Адриатики в провинциальный порт: меч „нового государя“, разделавшись с мелкими, должен был обрушиться в первую голову на нее. Наконец, какими аргументами можно было заставить служить делу объединения этих мелких: Феррару, Мантую, Урбино, Сиену, Лукку и пр.? Ведь они должны были пасть первой его жертвой. Ведь недаром Альфонсо д'Эсте посылал пушки Фрундобергу, Франческо Мария, шадил ландскнехтов, а Федерико Гонзага старался их выручить. Если бы экономика Италии была благоприятна объединению, она бы сломила и местные сепаратизмы, и династические интересы тиранов, как сломила их в XIX веке. В XVI она для этого не созрела.

Вот почему в тот момент „из пламя и света рожденное слово“, последняя глава „Principe“, „марсельеза XVI века“, повисла в воздухе без отклика.

Цель, которую ставил себе Макиавелли, которой он добивался со всей страстью, стремясь к которой он раскрыл такие сокровища воли, темперамента и энергии, достигнута не была.

Ренессанс завещал задачу политического возрождения Италии Risorgimento, а писал его завещание Никколо Макиавелли.

А. Дживелегов

О СОСТАВЕ КНИГИ

Состав настоящего „Собрания сочинений“ Макиавелли прежде всего был предопределен размерами книги. Размеры эти с самого начала исключали большие вещи: „Рассуждения на первую декаду Тита Ливия“, „Историю Флоренции“ и „Военное искусство“. Невозможно было дробить произведения, такие целостные по своему построению.

Поэтому из больших трактатов был включен только „Князь“, в котором основные политические идеи Макиавелли изложены хотя и не очень пространно, но с исчерпывающей полнотою. Затем, просто решался вопрос о чисто художественных произведениях. Новелла „Бельфагор“ и комедия „Мандрагора“ не могли быть опущены, равно как и „Жизнь Каструччо Кастракани“, представляющая собою не историю, а вымысел. Все три вещи в литературном отношении принадлежат к лучшему, что вышло из-под пера Макиавелли. Пожертвовать второй его комедией, „Клиция“, было легко. Она представляет почти целиком мозаичный перевод из Плавта и Теренция и по литератур-

ным достоинствам далеко уступает „Мандрагоре“. Остальные драматические произведения, приписывавшиеся Макиавелли, ему не принадлежат.

Из политических рассуждений самое важное — „Рассуждение о реформе государственного устройства Флоренции“ — отпадало вследствие необходимости дать при нем очень громоздкий и обстоятельный комментарий, без которого технические подробности предлагаемой Макиавелли реформы были бы совершенно непонятны. Но казалось необходимым дать два ранних рассуждения: о восстании в Ареццо и о ловушке в Синигалии, устроенной Цезарем Борджа своим кондотьерам, ибо оба они чрезвычайно важны, как вехи, методологически приводящие к стройным конструкциям „Князя“.

„Рассуждение о языке“ отпадало по той простой причине, что оно по существу своему непереводимо. Нельзя сделать понятным для человека, незнакомого с языком, лингвистические и диалектологические тонкости, в которых весь его смысл.

Самым трудным был вопрос о письмах, частных и должностных. Те и другие написаны блестяще и могли бы быть представлены в значительных выдержках, если бы книга имела большой объем. Но частные письма очень нередко неудобны для перевода в одном отношении: в них много трудно передаваемых непристойностей. Достаточно сказать, что обычное (не „полное“) издание частных писем, сделанное Альвизи, заменяет текст многоточиями сплошь и рядом чуть ли не целыми страницами. А политические рассуждения как частных писем, так и легаций опять-таки требуют сугубых комментариев, для которых в книге нет места.

Поэтому было решено ограничиться серией писем из римской легации 1503 года, как одной из наиболее интересных и относящихся к событиям более известным и более легким для комментирования: к избранию папы Юлия II и к крушению карьеры Цезаря Борджа. Редко где необычайная наблюдательность Макиавелли и острота его непосредственных суждений проявляются более ярко, чем в этих донесениях. Кроме того, легация 1503 года служит как бы концовкою к характеристикам Цезаря в этюде о синигалийской ловушке и в „Князе", а Цезарь ведь занимает очень видное место в политических конструкциях Макиавелли.

Нужно думать, что многогранная литературная физиономия Макиавелли, равно как и основные контуры его политической теории, достаточно охарактеризованы тем материалом, который читатель найдет в книге.

В качестве естественного ее продолжения напрашиваются два новых тома, содержащие переводы „Рассуждений на первую декаду Тита Ливия" и „Истории Флоренции". Издание их намечено по плану *Academia*.

А. Д.

СОЧИНЕНИЯ
НИККОЛÒ МАКИАВЕЛЛИ

О том, как надлежит поступать с восставшими жителями Вальдикианы [1]

Когда Луций Фурий Камилл [2] вернулся в Рим после победы над жителями Лациума, много раз восставшими против римлян, он пришел в Сенат и сказал речь, в которой рассуждал, как поступить с землями и городами латинян. Вот как передает Ливий [3] его слова и решение Сената: „Отцы-сенаторы, то, что должно было свершить в Лациуме войной и мечом, милостью богов и доблестью воинов наших ныне окончено. Воинство врагов полегло у Педума [4] и Астуры [5], земли и города латинян и Анциум [6], город вольсков, взяты силой или сдались вам на известных условиях. Мы знаем, однако, что племена эти часто восстают, подвергая отечество опасности, и теперь нам остается подумать, как обеспечить себя на будущее время: воздать ли им жестокостью или великодушно их простить. Боги дали вам полную власть решить, должен ли Лациум остаться независимым, или вы подчините его на вечные времена. Итак, подумайте, хотите ли вы сурово проучить

тех, кто вам покорился, хотите ли вы разорить до тла весь Лациум и превратить в пустыню край, откуда не раз приводили вы в опасное время на помощь себе войска, или вы хотите, по примеру предков ваших, расширить республику римскую, переселив в Рим тех, кого еще они победили, и этим дается вам случай со славой расширить пределы города. Я же хочу сказать лишь следующее: то государство стоит несокрушимо, которое обладает подданными верными и привязанными к своему властителю; однако дело, которое надо решить, должно быть решено быстро, ибо перед вами множество людей, трепещущих между надеждой и страхом, которых надо вывести из этой неизвестности и обратить их умы к мыслям о каре или о награждении. Долгом моим было действовать так, чтобы и то и другое было в вашей власти; это исполнено. Вам же теперь предстоит принять решение на благо и пользу республики".

Сенаторы хвалили речь консула, но сказали, что дела в восставших городах и землях обстоят различно, так что они не могут говорить обо всех, а лишь о каждом отдельно, и когда консул доложил о делах каждой земли, сенаторы решили, что ланувийцы[7] должны быть гражданами римскими и получить обратно священные предметы, отнятые у них во время войны; точно так же дали они гражданство римское арицинам[8], номентанам[9] и педанам, сохранили преимущества тускуланцев[10], а вину за их восстание возложили на немногих, наиболее подозрительных. Зато велитерны[11] были

наказаны жестоко, потому что, будучи уже давно римскими гражданами, они много раз восставали; город их был разрушен, и всех его граждан переселили в Рим. В Анциум, дабы прочно укрепить его за собой, поселили новых жителей, отняли все корабли и запретили строить новые. Можно видеть по этому приговору, как решили римляне судьбу восставших земель; они думали, что надо или приобрести их верность благодеяниями, или поступить с ними так, чтобы впредь никогда не приходилось их бояться; всякий средний путь казался им вредным. Когда надо было решать, римляне прибегали то к одному, то к другому средству, милуя тех, с кем можно было надеяться на мир; с другими же, на кого надеяться не приходилось, они поступали так, что те уже никак и никогда не могли им повредить. Чтобы достигнуть этой последней цели, у римлян было два средства: одно — это разрушить город и переселить жителей в Рим, другое — изгнать из города его старых жителей и прислать сюда новых, или, оставив в городе старых жителей, поселить туда так много новых, чтобы старые уже никогда не могли злоумышлять и затеять что-либо против Сената. К этим двум средствам и прибегли римляне, когда разрушили Велитернум и заселили новыми жителями Анциум. Говорят, что история — наставница наших поступков, а более всего поступков князей, что мир всегда населен был людьми, подвластными одним и тем же страстям, что всегда были слуги и по-

велители, а среди слуг такие, кто служит поневоле и кто служит охотно, кто восстает на господина и терпит за это кару. Кто этому не верит, пусть посмотрит на Ареццо[12] и на всю Вальдикиану, где в прошлом году творились дела, очень схожие с историей латинских племен. Как там, так и здесь было восстание, впоследствии подавленное, и хотя в средствах восстания и подавления есть довольно заметная разница, но самое восстание и подавление его схожи. Поэтому, если верно, что история — наставница наших поступков, не мешает тем, кто будет карать и судить Вальдикиану, брать пример и подражать народу, который стал владыкой мира, особенно в деле, где вам точно показано, как надо управлять, ибо как римляне осудили различно, смотря по разности вины, так должны поступить и вы, усмотрев различие вины и среди ваших мятежников. Если вы скажете: мы это сделаем, я отвечу, что не сделано главное и лучшее. Я считаю хорошим решением, что вы оставили правящие органы в Кортоне[13], Кастильоне[14], Борго[15], Фойано[16], обошлись с ними ласково и сумели благодеяниями вернуть их приязнь, ибо нахожу в них сходство с ланувийцами, арицинами, номентанами и тускуланцами, на счет которых римляне решили почти так же. Но я не одобряю, что аретинцы, похожие на велитернов и анциан, не подверглись такой же участи, как и те. И если решение римлян заслуживает хвалы, то ваше в той же мере заслуживает осуждения. Римляне находили, что

надо либо облагодетельствовать восставшие народы, либо вовсе их истреблять, и что всякий иной путь грозит величайшими опасностями. Как мне кажется, вы не сделали с аретинцами ни того, ни другого: вы переселили их во Флоренцию, лишили их почестей, продали их имения, открыто их срамили, держали их солдат в плену — все это нельзя назвать благодеянием. Точно так же нельзя сказать, что вы себя обезопасили, ибо оставили в целости городские стены, позволили пяти шестым жителей остаться попрежнему в городе, не смешали их с новыми жителями, которые держали бы их в узде, и вообще не сумели так поставить дело, чтобы при новых затруднениях и войнах вам не пришлось тратить больше сил на Ареццо, чем на врага, который вздумает на нас напасть. Вспомните опыт 1498 года, когда еще не было ни восстания, ни жестокого усмирения этого города; все же, когда венецианцы подошли к Биббиене[17], вам пришлось, чтобы отстоять Ареццо, отдать его войскам герцога Миланского[18], и если бы не ваши колебания, то граф Рануччо[19] с своим отрядом мог бы воевать против врагов в Казентино, и не понадобилось бы отзывать из-под Пизы Паоло Вителли[20], чтобы послать его в Казентино. Однако ненадежность аретинцев заставила вас на это решиться, и вам пришлось встретиться с очень большими опасностями, помимо огромных расходов, которых вы бы избежали, если бы аретинцы остались верными. Сближая, таким образом, то, что было тогда, с тем, что мы

видели позже, и с условиями, в которых вы находитесь, можно заключить наверняка, что если на вас, упаси боже, кто-нибудь нападет, то Ареццо восстанет, или вам будет так трудно удержать его в повиновении, что расходы окажутся для города непосильными. Не хочу обойти молчанием и вопрос, можете ли вы подвергнуться нападению или нет, и есть ли человек, который рассчитывает на аретинцев.

Не будем говорить о том, насколько вам могут быть страшны иноземные государи, а побеседуем об опасности, гораздо более близкой. Кто наблюдал Цезаря Борджа, которого называют герцогом Валентино [21], тот знает, что, оберегая свои владения, он никогда не думал опираться на своих итальянских друзей, так как венецианцев он ценил низко, а вас еще ниже. Поэтому он, конечно, должен думать о том, чтобы создать себе в Италии такую власть, которая дала бы ему безопасность и заставила бы всякого другого правителя, желать его дружбы. Что таково его намерение, что он стремится захватить Тоскану, страну, близко лежащую и пригодную, чтобы образовать вместе с другими его владениями единое королевство,— это вытекает необходимо из причин, о которых сказано выше, из властолюбия герцога и даже из того, что он заставлял вас терять время на переговоры и никогда не хотел заключить с вами договор. Дело теперь только в том, удобное ли сейчас время для его замыслов. Я вспоминаю, как кардинал Содерини [22] говорил, что у папы [23] и у герцога, помимо других качеств,

за которые можно было назвать их великими людьми, было еще следующее: оба они большие мастера выбирать удобный случай и как никто умеют им пользоваться. Мнение это подтверждено опытом дел, проведенных ими с успехом. Если бы спор шел о том, настала ли сейчас удобная минута, чтобы вас прижать, я бы ответил, что нет, но знайте, что герцог не может выжидать, кто победит, ибо при краткости жизни папы времени у него останется мало; ему необходимо воспользоваться первым представившимся случаем и положиться во многом на счастье.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Рассуждение о событиях в Вальдикиане написано в августе 1502 года под впечатлением восстания в Ареццо 4 июня 1502 г., устроенного против Флоренции Цезарем Борджа через его кондотьера Вителлоццо Вителли и подавленного с помощью Франции. Это первый опыт политического философствования Макиавелли, от которого сохранился только небольшой отрывок, чрезвычайно интересный, потому что в нем даны все главные мысли, развитые позднее в его больших работах. Здесь и центральная для Макиавелли идея о вечной неизменности человеческой природы, и учение о повторяемости и учительном смысле истории, и культ римской государственности, и классический афоризм „Князя" о взаимоотношениях власти и подвластных, которых надо „или ласкать или истреблять". Здесь же несколькими быстрыми штрихами намечен образ человека, который так и остался вечным спутником творчества Макиавелли,— Цезаря Борджа.

[2] Луций Фурий Камилл — римский полководец, консул 337 года, завоеватель Лациума.

[3] Тит Ливий — римский историк (60 г. до н. э. — 16 г. н. э.). Его „Римская история" явилась исходной

точкой главной теоретической работы Макиавелли. „Размышления на первую декаду Тита Ливия". Покорение Лациума описано Ливием в 8-й книге его „Истории".

[4] Педум — город в древнем Лациуме к востоку от Рима.

[5] Астура — река в Лациуме.

[6] Анциум — древний город в Лациуме, отвоеванный римлянами у вольсков в 468 г. и вторично в 338 г.

[7] Ланувий — древний город в Лациуме к юго-востоку от Рима.

[8] Ариция — старинный город в Лациуме на Аппиевой дороге, в 16 милях к юго-востоку от Рима.

[9] Номентум — сабинский город в 14 милях к юго-востоку от Рима.

[10] Тускулум — город в Лациуме.

[11] Велитры — город вольсков в Лациуме.

[12] Ареццо — город в Тоскане в долине р. Кианы.

[13] Кортона — город в области Ареццо в Вальдикиане.

[14] Кастильоне Флорентино — городок в области Ареццо.

[15] Борго Сан Сеполькро — город в области Ареццо.

[16] Фойано делла Киана — город в области Ареццо на берегу Кианы.

[17] Биббиена — город в Тоскане к северо-востоку от Ареццо. Война между старинными врагами — Флоренцией и Пизой — вспыхнула вновь в 1498 г., и обстоятельства складывались для Флоренции неудачно. Положение еще больше осложнилось враждебной для Флоренции позицией Венеции, которая двинула войска в Кавентино, т. е. в долину по верхнему Арно, и

врасплох заняла Биббиену. Это заставило Флоренцию приостановить действия против Пизы.

[18] Лодовико Сфорца, называемый обычно Лодовико Моро, герцог Миланский, захвативший власть после смерти своего брата Галеаццо Марна Сфорца, убитого 26 декабря 1476 г., и насильственно устранивший от престола своего племянника, восьмилетнего Галеаццо. Борьба за трон, заполнившая все существование нового герцога, привела его к мысли о вмешательстве Франции в итальянские дела, и Лодовико Моро явился одним из инициаторов итальянской авантюры Карла VIII. Свергнутый преемником Карла VIII, Людовиком XII. Моро умер во французском плену в 1510 г. Во время борьбы Флоренции с Пизой герцог Миланский оказался на стороне своих старых врагов — флорентинцев. Макиавелли в своих исторических фрагментах объясняет эту тактику расчетом стравить Флоренцию с Венецией, стоявшей на стороне Пизы. Война этих двух республик могла бы выдвинуть Лодовико Моро как вершителя судеб Италии (Opere, 1819, III, 64).

[19] Гр. Рануччо да Марчано — „капитан" флорентинцев во время войны 1498 года с Пизой.

[20] Паоло Вителли — начальник флорентинских войск в войне с Пизой после поражения Рануччо да Марчано. Казнен флорентинцами 30 сентября 1499 г. по подозрению в измене в пользу Венеции и в отношениях с изгнанным из Флоренции Пьеро Медичи.

[21] Цезарь Борджа, герцог Валентино, см. далее.

[22] Франческо Содерини — епископ Вольтерры, брат гонфалоньера Флоренции Пьеро Содерини, кардинал с 1503 г.

[23] Папа — Александр VI, Борджа

Описание того, как избавился герцог Валентино от Вителлоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, сеньора Паоло и герцога Гравина Орсини, составленное Никколо Макиавелли [1]

Герцог Валентино[2] только что вернулся из Ломбардии, куда он ездил, чтобы оправдаться перед Людовиком, королем Франции[3], от клевет[4], взведенных на него флорентинцами из-за мятежа в Ареццо и в других местностях Вальдикианы; он находился в Имоле[5], оттуда намеревался выступить с своими отрядами против Джованни Бентивольо, тирана Болоньи, так как хотел подчинить себе этот город и сделать его столицей своего герцогства Романьи. Когда весть об этом дошла до Вителли[6], Орсини[7] и других их сторонников, они решили, что герцог становится слишком могуч, и теперь надо бояться за себя, ибо, завладев Болоньей, он, конечно, постарается их истребить, дабы вооруженным в Италии остался один только он. Они собрались в Маджоне[8] около Перуджии и пригласили туда кардинала[9], Паоло[10] и герцога Гравина Орсини[11], Вителлоццо Вителли[12], Оливеротто да Фермо[13], Джанпаоло Бальони[14], тирана Перуджии, и мессере Антонио да Ве-

нафро [15], посланного Пандольфо Петруччи, властителем Сиены; на собрании речь шла о мощи герцога, о его замыслах, о том, что его необходимо обуздать, иначе всем им грозит гибель. Кроме того, решили не покидать Бентивольо, постараться привлечь на свою сторону флорентинцев и в оба города послать своих людей, обещая помощь первому и убеждая второй объединиться против общего врага. Об этом съезде стало тотчас же известно во всей Италии, и у всех недовольных властью герцога, между прочим у жителей Урбино, появилась надежда на перемены. Умы волновались, и несколько жителей Урбино решили захватить дружественный герцогу замок Сан Лео. Владелец замка в это время его укреплял, и туда свозили лес для построек; заговорщики дождались, пока бревна, доставлявшиеся в замок были уже на мосту, и загромоздили его настолько, что защитники замка не могли на него взойти, вскочили на мост и оттуда ворвались в замок. Как только об этом захвате стало известно, взбунтовалось все государство и потребовало обратно своего старого герцога [16], понадеявшись не столько даже на захват крепости, сколько на съезд в Маджионе и на его поддержку. Участники съезда, узнав о бунте в Урбино, решили, что упускать этот случай нельзя, собрали своих людей и двинулись на завоевание всех земель, которые в этом государстве оставались еще в руках герцога, причем снова отправили во Флоренцию послов, поручив им убедить республику соединиться с ним, чтобы

потушить страшный для всех пожар, указывая, что враг разбит и другого такого случая уже не дождаться. Однако флорентинцы, ненавидевшие по разным причинам Вителли и Орсини, не только к ним не присоединились, но послали к герцогу своего секретаря, Никколо Макиавелли, предлагая ему убежище и помощь против его новых врагов; герцог же находился в Имоле в великом страхе, потому что солдаты его совсем для него неожиданно стали его врагами, война была близка, а он оказывался безоружным. Однако, получив предложения флорентинцев, он воспрянул духом и решил тянуть войну с небольшими отрядами, какие у него оставались, заключать с кем можно соглашения и искать помощи, которую готовил двояко: он просил помощи у короля Франции, а с своей стороны, нанимал где мог солдат и всяких конных людей, всем раздавая деньги. Враги его все же, продвигаясь вперед, подошли к Фоссомброне, где стояли некоторые отряды герцога, которые и были разбиты Вителли и Орсини. После этого герцог все свои помыслы сосредоточил на одном: попробовать, нельзя ли остановить беду, заключив с врагами сделку; будучи величайшим мастером в притворстве, он не упустил ничего, чтобы втолковать им, что они подняли оружие против человека, который хотел все свои приобретения отдать им, что с него довольно одного титула князя, а самое княжество он хотел им уступить. Герцог так их в этом убедил, что они отправили к нему синьора Паоло для пере-

говоров и прекратили войну. Герцог же своих приготовлений не прекратил и всячески старался набрать как можно больше всадников и пехотинцев, а чтобы приготовления его не обнаружились, он рассылал своих людей отдельными отрядами по всей Романье. Тем временем к нему прибыли пятьсот французских копейщиков, и хотя он был уже настолько силен, что мог отмстить врагам оружием, он все же решил, что вернее и полезнее их обмануть и не прекращать переговоров. Он так усердно вел дело, что заключил с ними мир, которым подтвердил свои прежние договоры с ними о командовании, подарил им четыре тысячи дукатов, обещал не притеснять Бентиволью, даже породнился с Джованни; все это было тем труднее, что он не мог заставить врагов лично к себе явиться. С другой стороны, Орсини и Вителли обязались вернуть ему герцогство Урбино и другие занятые владения, служить ему во всех его походах, без разрешения его ни с кем не вести войны и не заключать союза[17]. После этой сделки, Гвидо Убальдо, герцог Урбино, снова бежал в Венецию, разрушив сперва все крепости государства, ибо, доверяя народу и не веря, что он сможет эти крепости защитить, он не хотел отдать их врагу, который, владея замками, держал бы в руках его друзей. Сам герцог Валентино, заключив этот мир и разослав своих людей по всей Романье вместе с французскими солдатами, уехал в конце ноября из Имолы и направился в Чезену[18], где провел немало времени в переговорах с Вителли

и Орсини, находившимися с своими людьми в герцогстве Урбино, завоевание которого приходилось вести с начала; так как дело не двигалось, они послали к герцогу Оливеротто да Фермо, чтобы предложить ему свои услуги, если герцог захочет итти на Тоскану. В противном случае они двинутся на Синигалию. Герцог ответил, что не желает поднимать войну в Тоскане, так как флорентинцы — его друзья, но будет очень рад, если Орсини и Вителли отправятся в Синигалию. Вскоре пришло известие, что город им покорился, но замок сдаться не хочет, так как владелец, хотел передать его только самому герцогу и никому иному, а потому герцога просят прибыть скорее. Случай показался герцогу удобным и не возбуждающим подозрения, так как не он собирался ехать в Синигалию, а сами Орсини его туда вызвали. Чтобы вернее усыпить противников [19], герцог отпустил всех французских солдат [20], которые вернулись в Ломбардию, и оставил при себе только сто копейщиков под командой своего родственника монсиньора ди Кандалес; около половины декабря он выехал из Чезены и отправился в Фано; там он со всем коварством и ловкостью, на какую только был способен, убедил Вителли и Орсини подождать его в Синигалии, доказав им, что при такой грубости владельца замка мир их не может быть ни прочным, ни продолжительным, а он такой человек, который хочет опереться на оружие и совет своих друзей. Правда, Вителлоццо держался очень осторожно, так как смерть брата

научила его, что нельзя сперва оскорбить князя, а потом ему доверяться, но, поддавшись убеждениям Паоло Орсини, соблазненного подарками и обещаниями герцога, он согласился его подождать. Перед отъездом из Фано (это было 30 декабря 1502 года) герцог сообщил свои замыслы восьми самым верным своим приближенным, между прочим дону Микеле[21] и монсиньору д'Эуна[22], который впоследствии был кардиналом, и приказал им, как только они встретят Вителлоццо, Паоло Орсини, герцога Гравина и Оливеротто, сейчас же поставить около каждого из них двух своих, поручить каждого точно известным людям и двигаться в таком порядке до Синигалии, никого не отпуская, пока не доведут их до дома герцога и не схватят. Затем герцог распорядился, чтобы все его воины, конные и пешие (а их было больше двух тысяч всадников и десять тысяч пехотинцев), находились с раннего утра на берегу реки Метавра, в пяти милях от Фано, и там его дожидались. Когда все это войско в последний день декабря собралось на берегу Метавра, он выслал вперед около двухсот всадников, затем послал пехоту и наконец выступил сам с остальными солдатами. Фано и Синигалия — это два города в Анконской Марке, лежащие на берегу Адриатического моря и в пятнадцати милях друг от друга; если итти по направлению к Синигалии, то с правой стороны будут горы, подножие которых иногда так приближается к морю, что между горами и водой остается только очень узкое простран-

ство, и даже там, где горы расступаются, оно не достигает двух миль. Расстояние от подножия этих гор до Синигалии немного больше выстрела из лука, а от Синигалии до моря оно меньше мили. Недалеко протекает небольшая речка, омывающая часть стен, которые выходят на дорогу и обращены к городу Фано. Таким образом, если направляться в Синигалию из окрестностей, то большую часть пути надо итти вдоль гор; у самой реки, пересекающей Синигалию, дорога отклоняется влево, и, на расстоянии выстрела из лука, идет берегом, а затем поворачивает на мост, перекинутый через реку, и почти подходит к воротам Синигалии, но не прямо, а сбоку. Перед воротами лежит предместье из нескольких домов и площади, которая одной стороной выходит на речную плотину. Вителли и Орсини, приказав дожидаться герцога и желая сами торжественно его встретить, разместили своих людей в замке в шести милях от Синигалии и оставили в Синигалии только Оливеротто с его отрядом в тысячу пехотинцев и сто пятьдесят всадников, расположившихся в предместьи, о котором сказано выше.

Отдав, таким образом, необходимые распоряжения, герцог Валентино направился к Синигалии, и когда головной отряд всадников подъехал к мосту, он не перешел его, а остановился и затем повернул частью к реке, частью в поле, оставив в середине проход, через который, не останавливаясь, прошли пехотинцы. Навстречу герцогу выехали на мулах Вител-

лоццо, Паоло Орсини и герцог Гравина, сопровождаемые всего несколькими всадниками. Вителлоццо, безоружный, в зеленой шапочке, был в глубокой печали, точно сознавая свою близкую смерть (храбрость этого человека и его прошлое были хорошо известны), и на него смотрели с любопытством. Говорили, что, уезжая от своих солдат, чтобы отправиться навстречу герцогу в Синигалию, он прощался с ними как бы в последний раз. Дом и имущество он поручил начальникам отряда, а племянников своих увещевал помнить не о богатстве их дома, а о доблести отцов. Когда все трое подъехали к герцогу и сердечно его приветствовали, он их принял любезно, и они тотчас же были окружены людьми герцога, которым приказано было за ними следить. Увидав, что не хватает Оливеротто, который остался с своим отрядом в Синигалии и, дожидаясь у места своей стоянки, выше реки, держал своих людей в строю и обучал их, герцог показал глазами дону Микеле, которому поручен был Оливеротто, чтобы тот не допустил Оливеротто ускользнуть. Тогда дон Микеле поскакал вперед и, подъехав к Оливеротто, сказал ему, что нельзя уводить солдат из помещений, так как люди герцога их отнимут; поэтому он предложил ему их разместить и вместе ехать навстречу герцогу. Оливеротто исполнил это распоряжение, и в это время неожиданно подъехал герцог, который увидев Оливеротто, позвал его, а Оливеротто, поклонившись, присоединился к остальным. Они въехали в Синигалию, спешились у дома гер-

цога, и как только вошли с ним в потайную комнату, были схвачены людьми герцога, который сейчас же вскочил на копя и велел окружить солдат Оливеротто и Орсини. Люди Оливеротто были истреблены, так как были ближе, но отряды Орсини и Вителли, которые стояли дальше и почуяли гибель своих господ, успели соединиться, и, вспомнив доблесть и дисциплину Орсини и Вителли, пробились вместе и спаслись, несмотря на усилия местных жителей и врагов. Однако солдаты герцога, не довольствуясь тем, что ограбили людей Оливеротто, начали грабить Синигалию, и если бы герцог не обуздал их, приказав перебить многих, они разграбили бы весь город. Когда подошла ночь и кончилось волнение, герцог решил, что настало удобное время убить Вителлоццо и Оливеротто, приказал отвести их обоих в указанное место и велел их удавить. При этом не обратили никакого внимания на их слова, достойные их прежней жизни: Вителлоццо просил дозволить ему вымолить у папы полное отпущение грехов, а Оливеротто, с плачем, сваливал на Вителлоццо вину за все козни против герцога [23]. Паоло и герцог Гравина Орсини были оставлены в живых, пока герцог не узнал, что папа в Риме захватил кардинала Орсини, архиепископа Флорентийского [24], и мессере Джакомо ди Санта Кроче [25]. Когда известие об этом пришло, они были таким же образом удавлены в Кастель дель Пиэве восемнадцатого января 1502 года * [26].

---

* Началом года считалось 25 марта.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] „Описание“ расправы Цезаря Борджа с его бывшими кондотьерами составлено весной 1503 г., когда Макиавелли вернулся из дипломатической командировки к герцогу Валентино. Те же события под свежим впечатлением излагались Макиавелли в его донесениях флорентинскому Совету Десяти, составивших известную „Легацию к герцогу Валентино“ (Opere, 1819, VIII, 231—447). При сопоставлении обоих документов становится ясно, что в „Descrizione“ факты изложены уже с известной долей стилизации. Устранены естественные в жизни неожиданности и шероховатости, события развиваются с безукоризненной литературно-логической стройностью и образ реального Цезаря Борджа уже приближается к законченному типу макиавеллиевского „Князя“, который все знает и все предусматривает. См. дальнейшие примечания.

[2] Цезарь Борджа (1476—1507), второй сын папы Александра VI, семнадцати лет возведенный в кардиналы. В 1498 г. сложил с себя сан и в том же году

получил от французского короля Людовика XII титул герцога Валентинуа. Отсюда наименование, под которым Цезарь Борджа почти всегда выступает у Макиавелли. „Descrizione" и „Легация" относятся уже к концу политической карьеры Валентино, когда казалось, что он совсем близок к осуществлению заветной цели политики Борджа — утверждению своего единовластия в центральной Италии путем истребления верхов римской феодальной аристократии и уничтожения мелких тиранов, владевших отдельными городами Романьи. Как писал сам Макиавелли, Цезарю Борджа „необходимо создать себе в Италии государство настолько большое, чтобы оно само собою его обеспечивало". Для осуществления этого идеала недоставало захвата Болоньи и Тосканы, которому мешало категорическое veto Франции. Опыт создания этой своеобразной итальянской деспотии не удался. Неожиданная смерть папы Александра VI вызвала кризис, погубивший дело его сына, сохранившего историческое бессмертие главным образом как утончеиейший виртуоз злодеяний. Однако основной замысел его не совсем пропал и был по-своему подхвачен заклятым врагом Борджа, папой Юлием II, который постарался осуществить его уже в пользу Римской курии.

[3] Людовик XII (1498—1515).

[4] Здесь Макиавелли неточен. Никаких „клевет" по случаю восстания в Ареццо флорентинцы по адресу Цезаря не распространяли.

[5] Имола — город в Болонской области; захвачена Цезарем Борджа в декабре 1500 г.

[6] Вителли — итальянский дворянский род. Наиболее видные представители его в XVI веке — Никколо

Вителли и его сыновья, среди которых у Макиавелли часто упоминаются Паоло Вителли, казненный флорентинцами, и Вителлоццо, удавленный по приказу Цезаря Борджа.

[7] Орсини — римский княжеский род, игравший крупную роль уже с XII века. Глава партии гвельфов. Владельцы громадных поместий в Тусции, Сабинской области, Неаполитанском королевстве. Историческая вражда Орсини и Колонна особенно обострилась в начале XV столетия из-за земельных споров. Орсини были предметом специальной ненависти папы Александра VI, стремившегося отобрать у них земли для наделения ими своего старшего сына, герцога Гандийского. Эта вражда, принимавшая не раз формы прямой войны, не мешала отдельным членам рода служить у Цезаря Борджа кондотьерами. Открытый разрыв, описываемый Макиавелли, относится к осени 1502 г.

[8] Маджоне — загородная вилла семьи Бальони около Перуджии.

[9] Кардинал Джованни Батиста Орсини возведен в кардиналы Сикстом IV 15 ноября 1483 г., отравлен по приказу папы Александра VI в феврале 1503 г.

[10] Паоло Орсини — сын кардинала Латино Орсини.

[11] Франческо Орсини, герцог Гравина.

[12] Вителлоццо Вителли — известный кондотьер, тиран Читта ди Кастелло, ярый враг Флоренции, долго служивший Цезарю Борджа.

[13] Оливеротто — тиран Фермо. Карьера его подробно рассказана Макиавелли в VIII главе „Князя".

[14] Джованни Бальони — тиран Перуджии; казнен 11 июня 1520 г. папой Львом X.

[15] Антонио да Венафро — главный советник тирана Сиены Пандольфо Петруччи.

[16] Гвидобальдо Монтефельтро герцог Урбинский, сын Федериго Монтефельтро, одного из самых даровитых итальянских правителей XV века. Сражался первоначально на стороне папы Александра VI против Орсини. 21 июня 1502 г. герцогство Урбино было захвачено Цезарем Борджа, и Гвидобальдо едва спасся от плена и смерти. После неудачной попытки вернуть герцогство удалился в Венецию. Восстановлен в Урбино после падения Борджа. Умер в 1508 г.

[17] Мирный договор между Цезарем Борджа и Паоло Орсини подписан 28 октября 1502 г. В своих донесениях Совету Десяти Макиавелли приводит его текст (Opere, 1819, VIII, 328 и сл.). Стороны обещают друг другу пребывать в „вечном мире, согласии и единении, с полным забвением прежних вин и обид, нанесенных друг другу по сей день". Договор этот состоялся не без участия Франции, которая сильно помогла Борджа выпутаться из трудного положения, созданного для Цезаря коалицией мелких тиранов, объединившихся вокруг Орсини. Людовик XII по просьбе Валентино двинул войска на помощь Цезарю в Имолу, а республиканская Флоренция не желала вступать в войну с Борджа и поддерживать Вителли и Орсини, родственников Медичи.

[18] Чезена — город в области Форли.

[19] Во всех печатных изданиях стоит „e per più assicurarsi" — „чтобы лучше обеспечить себе успех", но лучший исследователь Макиавелли, Виллари („Niccolò Machiavelli e i suoi tempi", 1877, I, стр. 429, прим. 1), указывает, что в подлиннике, хранящемся в

Флорентинском архиве, стоит „e per più assicurargli"— „чтобы еще вернее усыпить противников".

[20] В „Descrizione" Макиавелли приписывает уход французских солдат инициативе самого Цезаря Борджа. В „Легации" к Цезарю Борджа события рассказаны совсем иначе и несомненно ближе к действительности. 20 декабря 1502 г. Макиавелли пишет Совету Десяти, что начальники французских солдат неожиданно явились к герцогу Валентино и после конфиденциального разговора с ним один из французских офицеров частным образом сообщил Макиавелли, что французские солдаты отозваны и немедленно возвращаются в Милан. „Известие это,— пишет дальше Макиавелли,— перевернуло здесь весь двор. Когда оно будет обнародовано, я смогу написать Вам подробнее о ходе дел, но не понимаю ни причины, ни основания того, что произошло, и не могу об этом деле судить". В письме 23 декабря 1503 г. Макиавелли повторяет свою первую версию и пишет, что уход французов был совершенно неожидан, „и каждый строит свои догадки". Макиавелли замечает в том же письме, что уход французов лишил герцога половины его сил и двух третей его авторитета (Opere, 1819, VIII, 402 и сл., 406, 408).

[21] Дон Микеле да Корелиа (Микелотто), родом испанец, ближайший сподвижник Цезаря Борджа и обычный исполнитель его расправ. Взятый в плен флорентинцами в 1503 г., он был выдан ими папе Юлию II, который держал его в тюрьме до 1506 г. Впоследствии перешел на службу Флоренции. Небезынтересно, что рекомендовал его сам Макиавелли (*Perrens*, Histoire de Florence depuis la domination des Médicis, 1889, II, 443).

[22] Франческо Лорис, епископ Перпиньяна, племянник Александра VI, его секретарь и генеральный казначей. Возведен в кардиналы 31 мая 1503 г., умер в Риме в 1506 г.

[23] В „Легации“ Макиавелли о предсмертных словах Оливеротто и Вителлоццо не упоминает совершенно.

[24] Ринальдо Орсини,— архиепископ Флорентийский.

[25] Якопо ди Санта Кроче, помогавший папе захватить Орсини, казнен по приказу Александра VI 8 июня 1503 г.

[26] Для понимания впечатления, произведенного избиением в Синигалии на современников, характерен отзыв биографа Цезаря Борджа, Джовио, который пишет: „Орсини были убиты посредством великолепнейшего обмана“. Людовик XII, восхищаясь совершенством выполнения этого предприятия, говорил, что это — деяние, достойное Римлянина (*Gregorovius*, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, VII, 483). Сам Макиавелли в донесении 1 января 1503 г., написанном на следующий день после синигалийской истории, сообщает, что герцог вызвал его к себе в два часа ночи и, встретив его „с самым ясным в мире выражением лица“, поделился с ним своей радостью по случаю удавшегося дела и говорил о своих чувствах к Флоренции в таких „мудрых“ и „дружественнейших“ выражениях, что флорентинский секретарь был „восхищен“. Цезарь убеждает флорентинского дипломата, что его правительство должно радоваться вместе с ним, Валентино, так как истреблены их самые лютые общие враги и вырваны „сорные травы“, грозившие испортить Италию“. В благодарность Цезарь требует союза с Флоренцией, посылки войск в Перуджию и ареста Гвидобальдо

Урбинского в случае его появления на тосканской территории. 8 января 1503 г. Макиавелли сообщает из Ассизи: „Все здесь начинают удивляться, что ваши светлости до сих пор ничего не написали и не поручили передать этому князю поздравление за дело, только что совершенное им на пользу вашу; герцог считает, что наш город ему обязан, и говорит, что ваши светлости должны были бы заплатить двести тысяч дукатов, чтобы уничтожить Вителлоццо и Орсини, да и тогда дело не удалось бы вам так чисто, как удалось его светлости" (Opere, 1819, VIII, 416—418, 429).

ЛЕГАЦИЯ К РИМСКОМУ ДВОРУ

(Отрывки[1]*)*

Великолепные синьоры.

Последнее письмо мое к вам написано 30 октября, отправлено через дель Бене; я сообщал в нем между прочим, что думают здесь о выборах папы и об открытии конклава[2]. Мнение, что должен быть выбран Сан Пьетро ин Винкула[3], так укрепилось, что, еще раньше чем кардиналы заперлись в конклаве, можно было поставить за него девяносто очков против ста, так как два врага, которые могли отнять у него голоса, теперь смирились. Этими врагами были кардинал д'Амбуаз, архиепископ Руанский, и испанские кардиналы — друзья герцога, которые теперь целиком перешли на сторону Сан Пьетро. Архиепископу Руанскому внушили подозрение против Асканио[5] и убедили его, что кроме Винкула не может быть папы, способного отнять у Асканио всякое значение, так

как они всегда были врагами. Что касается испанских кардиналов и герцога[6], легко угадать, почему они успокоились: герцогу надо вновь стать на ноги, а кардиналам надо разбогатеть[7]. Время яснее покажет, в чем здесь было дело, но Ровере, видно, лучше других сумел убедить герцога, кому надо быть папой, так как можно уже сказать наверное, что избран будет именно он. Сейчас, т. е. в восемь часов вечера на 1 ноября, ко мне на квартиру пришел из дворца слуга Винкула и сказал мне, что конклавист Сан Пьетро ин Винкула получил от него одну за другой пять записок, где тот сообщает ему, что кардиналы дружно проводят его в папы, хотя вначале против него были голоса семи кардиналов, которые во главе с Асканио стояли за Санта Прасседе[8]. Он сказал мне еще, что в последней записке ему предписывается дать знать в Савону[9] и Синигалию об избрании и о том, что новый папа принял имя Юлия II; сейчас гонцы уже разосланы. Все это дела настолько важные, что стоило бы послать к вам нарочного, но у меня нет на то вашего приказа, а решиться на такой расход без приказа я не могу. Здесь по ночам так неспокойно, что мне нельзя ни пойти самому, ни послать другого узнать, не отправляет ли еще кто-нибудь гонца во Флоренцию. Слугу, пришедшего ко мне из дворца, провожало двадцать человек с оружием. Подожду до утра и постараюсь отправить с кем-нибудь это письмо; к тому времени буду знать больше. В оправдание свое скажу заранее, что, как вы сами увидите, я буду писать вашим

светлостям каждый день по письму, но для отправки воспользуюсь чьим-либо гонцом. Bene valete.

Ваш слуга

Nicolaus Machiavellus Secr.

Рим, восемь часов в ночь* с последнего дня октября на первый день ноября 1503.

V

Великолепные синьоры.

Извещаю ваши светлости, что сегодня утром кардинал ди Сан Пьетро ин Винкула провозглашен новым верховным первосвященником. Дай ему боже быть пастырем, полезным для христианского мира.

Ваш слуга

Никколо Макиавелли.

1 ноября 1503 г., Рим.

VII

Великолепные синьоры.

Пишу вашим светлостям четвертое письмо о восшествии Сан Пьетро ин Винкула на престол верховного первосвященника под именем Юлия II; я не написал бы вам этого письма, если бы его высокопреосвященство кардинал Содерини [10], беседуя со мной сегодня по окон-

* 8 часов вечера по римскому времени XVI века — 2 часа утра.

чании обычных церемоний, не сказал мне, что этой ночью, после выборов папы, были распределены все крепости, подвластные св. престолу, и назначено по жребию, кто будет ими управлять. Сан Джорджо[11] досталась Читерна, кардиналу Содерини — несколько других крепостей, и кардинал считает, что если вы ничего не предпримете, вам Читерну[12] сохранить не удастся. Поэтому я советовал ему, если вы это одобрите, постараться произвести с Сан Джорджо обмен, т. е. сохранить Читерну за собой, а отдать Сан Джорджо какую-нибудь другую крепость. Думаю, что таким образом все понемногу может уладиться, и не придется снова к этому возвращаться. Кардинал настойчиво просил меня написать вам об этом деле и убедить вас ответить сейчас же.

Не могу сообщить вашим светлостям ничего нового о здешних делах, так как подробно писал вам сегодня утром о вступлении на престол нового папы; ему предстоит немало хлопот, если он захочет выполнить все, что он наобещал, потому что многие его обещания друг другу противоречат. Так или иначе, он теперь папа, и мы скоро увидим, какой дорогой он пойдет и кому он обещал по-настоящему. У него нашлось во всяком случае много хороших друзей, помогавших ему в коллегии; объясняют это тем, что сам он был всегда верным другом и потому в нужную минуту тоже нашел себе верных друзей. Наши соотечественники все рады его избранию, так как многие флорентинцы очень с ним близки, и

кардинал Содерини сказал мне сегодня, что уже много лет не было папы, на которого наш город мог бы так надеяться, как на этого; надо только уметь не спешить. Многие наши граждане просили меня написать вам, что когда вы прислали для приветствия папы Пия пять ораторов, все здесь решили, что наш город не очень доволен его избранием; поэтому они почтительно просят ваши светлости, по случаю теперешних выборов, исправить это впечатление и прислать шесть ораторов, как было при выборах Александра и Сикста [13].

VIII

Последние мои письма помечены 1 ноября, когда я написал вашим светлостям четыре письма и послал их через Мартелли, почему и полагаю, что они дойдут в целости; ничего важного с тех пор не произошло, но Карло Мартелли поспешно отправляется во Флоренцию, и я не хотел, чтобы он приехал без моего письма. После избрания нового папы, все в городе довольно спокойно, так как отряды Орсини отсюда удалились; неизвестно, однако, прошли ли они Монте Ритондо, где они стояли в прошлый раз; вообще отряды эти немногочисленны; точно так же ушел отсюда и Джампаоло [14], т. е. все, кто на деле грабил Рим.

Как я уже сообщал вашим светлостям в других письмах, новый папа избран при необычайном согласии; ему помогали все, кроме трех или четырех кардиналов, которые сами меч-

тали о папстве, а д'Амбуаз поддерживал его всеми средствами.

Я вам уже писал в прошлый раз, в чем причина этого расположения к нему: именно — он обещал все, что у него просили, и дело, понятно, в том, как он будет эти обещания соблюдать. Герцогу Валентино, на помощи которого он выиграл больше всего, папа, говорят, обещал возвратить всю Романью, уступил ему для безопасности его Остию, где герцог держит Моттино[15] с двумя снаряженными кораблями. Герцог живет во дворце, в так называемых новых комнатах, и при нем состоит около сорока самых преданных его слуг; неизвестно, собирается ли он уехать или остаться; одни говорят, что он отправится в Геную, где хранит большую часть своих денег, оттуда пойдет в Ломбардию, наберет там людей и снова вернется в Романью; повидимому, он может это сделать, так как у него осталось деньгами еще тысяч двести дукатов или даже больше, и почти все деньги находятся у генуэзских купцов.

Другие говорят, что герцог не думает уезжать из Рима и будет дожидаться коронования папы, надеясь, что папа сделает его, как он обещал, гонфалоньером св. церкви, и тогда, опираясь на силу этого сана, он сможет вернуть свое государство. Третьи, не лишенные благоразумия, считают, что раз папа при выборах нуждался в помощи герцога и надавал ему великих обещаний, ему поневоле приходится теперь с ним заигрывать, но думают, что герцог

легко может попасться, если он ни на что не решится, а будет только сидеть в Риме, так как ему известна та естественная ненависть, которую всегда питал к нему его святейшество, который не может так скоро забыть десять лет своего изгнания. Герцог увлечен самоуверенностью; он думает, что слово другого должно быть прочнее, чем было его собственное, и верит, что обещание брачного союза должно быть исполнено, так как, по слухам, подтверждается брак между Фабио Орсини [16] и сестрой Борджа [17], а кроме того говорят, что дочь герцога [18] выходит за префеттино [19]. Не могу больше ничего сказать о его делах или остановиться на каком-нибудь определенном мнении,— надо выждать, пока пройдет время, которое и есть отец истины.

Не буду рассказывать вам о прочих сделках и об обещаниях, данных баронам и кардиналам, ибо давались они всякому, кто просил. Так, Рамолино обещано управление высшим судом, кардинал Борджа назначается главным исповедником, но пока еще неизвестно, вступят ли они в должность. Как я уже говорил, папа сейчас еще вынужден охаживать каждого, но скоро ему придется заговорить, и тогда он покажет, кому он хочет и должен быть другом.

Ваш слуга

Nicolaus Machiavellus.

Рим, 4 ноября 1503.

IX

Великолепные синьоры.

Последнее письмо 4 ноября я послал вашим светлостям через Карло Мартелли и не писал обычным путем, считая, что Карло доставил письма в целости. Я уже сообщил о договоре Джанпаоло, а д'Амбуаз писал вам об уплате остальных денег; сейчас я об этом говорить не буду, так как нового ничего нет; надо подождать, пока со мной заговорят, а тогда я отвечу согласно указаниям ваших светлостей. Сообщаю теперь вашим светлостям, что вчера утром я предстал перед верховным первосвященником и от имени вашего приветствовал его с восшествием на папский престол; изложив причины нашей радости его избранию, я сказал, что республика предлагает поставить все свои силы на служение славе и процветанию его понтификата. Предложение это его святейшество принял, очень благодарил меня за все мои слова и сказал, что всегда твердо надеялся на нашу республику, а теперь, когда власть и могущество его возросли, он хочет при всяком случае показать свою любовь к ней, тем более, что он особенно обязан своим саном его высокопреосвященству кардиналу Содерини, который так много сделал для его возвеличения. После этих обычных торжественных слов я удалился. С тех пор пришли ваши письма от 2-го этого месяца, в которых вы пишете, что знаете об избрании нового папы, и удивляетесь, что от меня нет писем. Думаю, что вы уже

получили четыре письма, но не моя вина, что они запаздывают, так как дель Бене отправили ночью гонца и ничего мне об этом не сказали; я их все же не виню: они думали, как уверяли меня на другое утро, что в письмах, которые я им вручил раньше, уже сообщается об избрании папы. Как бы то ни было, надеюсь, что, когда мои письма до вас дойдут, вы будете ими довольны. Так как в ваших письмах от 2 ноября сообщалось о разорении Романьи, о замыслах венецианцев и вообще о том, как обстоят дела с этой стороны, то монсиньор Содерини и д'Амбуаз нашли, что я должен сейчас же итти с этими известиями к папе. Я отправился к его святейшеству и прочел ему письмо; папа сказал мне, что, по его мнению, Диониджо ди Наљдо[20] будет поддерживать герцога Валентино, а не венецианцев, герцог Урбинский[21] поступит по-своему, а не по указу венецианцев, что дела должны будут принять иной оборот, когда в Венеции узнают о его избрании, что до сих пор они шли плохо, так как о его избрании еще не знали, и что он будет говорить с д'Амбуазом. Откланявшись его святейшеству, я говорил с монсиньорами Асканио, Сан Джорджо и Сан Северино[22] и указал им, что дело идет не о свободе Тосканы, а о свободе церкви; венецианцы будут сильнее, чем сейчас, папа превратится в их капеллана, и дело кардиналов — позаботиться о защите престола, наследниками которого они могут быть; мы же с своей стороны напоминаем им об этом во-время и, по малым средствам нашим, предлагаем, что можем.

Кардиналы сказали мне, что они это понимают, и обещали все сделать. Затем я говорил с герцогом, которому нарочно сообщил эти известия, чтобы лучше узнать, как обстоят его собственные дела, в чем надо его бояться и на что можно надеяться; когда герцог услышал о восстании в Имоле и о нападении венецианцев на Фаэнцу [23], он заволновался свыше всякой меры и стал горько упрекать ваши светлости; он говорил, что вы всегда были его врагами, и ему надо жаловаться на вас, а не на венецианцев, ибо вам стоило послать сто солдат, чтобы спасти его владения, но вы этого не захотели, и теперь он постарается сделать все, чтобы вы первые в этом раскаялись; если Имола потеряна, он не намерен больше набирать людей, ни лишаться остатка своих владений, чтобы вернуть потерянное, не хочет быть больше вашим посмешищем, а хочет все, что у него осталось, сам передать венецианцам; он надеется скоро, на радость и веселье себе, видеть гибель вашего государства, потому что французы или сами пропадут в Неаполитанском королевстве, или у них будет там столько дела, что они не смогут вам помочь; все это было сказано словами, исполненными яда и страсти. У меня было что ему ответить, затрудняться в выборе слов мне бы тоже не пришлось, но я решил попытаться его смягчить, а затем, чувствуя, что теряю терпение, я постарался как можно проворнее ускользнуть и вернулся к монсиньору Содерини и д'Амбуазу, которых застал за столом; они ждали меня с ответом, и я им подробно

передал весь разговор. Д'Амбуаз возмутился словами герцога и сказал: „Бог еще никогда не допускал, чтобы грех оставался безнаказанным, и не допустит безнаказанности грехов этого человека". Я писал вашим светлостям в письме от 4 ноября, где находится сейчас этот герцог и что можно предполагать на его счет. С тех пор выяснилось, что он, где только может, набирает людей, и некоторые его приближенные, которых я знаю, говорили мне, что он во что бы то ни стало хочет с возможно большим войском вступить в Романью. Теперь он вне себя от потери крепости Имола, и я не знаю, не изменит ли он своих намерений. Ничего другого о нем сообщить вам не могу, а что касается Романьи, то монсиньор д'Амбуаз и другие кардиналы, ведающие дела Италии, склонны притти к какому-либо из двух решений: именно, что эту землю, Романью, надо передать или папе, или королю; не знаю, удастся ли это, но думаю, что для этого будет сделано все и испробованы все пути, так как других средств, мне кажется, никто не предлагает...

Ваш слуга
Никколо Макиавелли.

6 ноября 1503.

X

Великолепные синьоры.

Я писал вам вчера, а сегодня утром в Феррару уехал гонец, и мне ничего об этом не

сказали. Я снова напомню этим купцам, чтобы они делали свое дело, а я буду делать свое. Вчера, после разговора со мной, герцог, как я уже писал вашим светлостям, был жестоко взволнован и послал за кардиналом Содерини; сегодня он снова послал за ним, и во время этих двух бесед, особенно последней, он, помимо обычных жалоб, сказал, что, как ему пишут 4 ноября, начальник Имолы не убит, а взят в плен, крепость и город стоят за него и синьор Оттавиано [24], подошедший с большим отрядом, отбит. Герцог сказал еще, что Дониджи ди Нальдо его поддерживает, а у венецианцев слишком мало войск, чтоб их надо было бояться; вообще монсиньору кажется, что у герцога благодаря таким известиям вновь оживилась надежда отвоевать эти владения. Теперь он жалуется на французов, на всех людей вообще, надеется, что папа сделает его полководцем святого престола, и думает, что об этом будет объявлено завтра на заседании Конгрегации. Монсиньор уверил его, что отчаиваться бесполезно и что отчаяние обрушивается большей частью на того, кто ему предается. С другой стороны, он подал ему надежду и кое-что обещал ему от вашего имени. Теперь надо выждать, что сделает завтра Конгрегация и удастся ли герцогу получить этот жезл, а если не удастся, то надо посмотреть, что он замышляет и как поступит. Ваши светлости будете осведомлены обо всем, и я буду вам благодарен, если вы мне укажете, как мне при всех случаях надо вести себя с этим герцогом, продолжать ли разго-

воры с ним и в каком духе. Ничего нового в других делах нет.

Ваш слуга
Никколо̀ Макиавелли.

Рим, 7 ноября 1503.

XI

Великолепные синьоры.

Последние свои письма 6-го и 7-го я послал с курьером, которого отправляли болонцы; я послал их под видом писем Ручеллаи и писал о делах герцога и о том, как он надеялся, что в первом заседании Конгрегации его провозгласят полководцем св. престола. Вчера было заседание Конгрегации, и, как мне рассказали, там ничего о герцоге не говорили, а обсуждали только дела церковные и меры, какие обычно принимаются в начале нового понтификата. Говорили о войне между Францией и Испанией и о том, какая польза будет для христианского мира, если спор между ними уладится; повидимому, папа, насколько может, готов этому помочь. Итак, герцог попрежнему остается ни с чем, а люди умудренные думают, что дела его складываются дурно и как бы не кончить ему плохо, хотя папа и считался всегда человеком, слово которого верно. Герцог набирал себе конных солдат, и, как мне сказал один из его приближенных, он посылал кой-кого в Ломбардию навербовать пехотинцев, чтобы стать во главе этих войск, конных и пеших, и, опираясь на свою силу как гонфалоньера и полко-

водца св. престола, выступить в поход и отвоевать свои владения. Теперь, когда ему не удалось быть назначенным гонфалоньером в первом заседании Конгрегации, как он на то надеялся, я не знаю, изменит ли он свои намерения или будет упорствовать, в надежде добиться этого достоинства любыми средствами. Для меня было бы крайне важно получить указания ваших светлостей, как мне держать себя с этим герцогом, потому что здесь считают нужным его поддерживать и помочь ему добиться цели. Не знаю, будете ли вы такого же мнения.

Ваш слуга

Никколо Макиавелли.

10 ноября 1503.

XIII

Сегодня я два раза писал вашим светлостям, что герцог Романьи приводит в порядок свои отряды для выступления, что он получил письма к вашим светлостям от кардинала Содерини, от д'Амбуаза и от папы. Герцог настаивал, чтобы и я написал вам и сообщил, что он посылает во Флоренцию одного из своих приближенных для переговоров о выдаче ему свободного пропуска, по форме, о которой ваши светлости можете судить по прилагаемому образцу. Меня просили поддержать перед вашими светлостями его просьбу и просить вас решить это дело как можно скорее. Говоривший со мной убеждал меня, что герцог сейчас духом

бодр и надеется, если вы совсем не откажете ему в помощи, быстро отнять свои владения у венецианцев и помешать их намерениям, так как у него остались еще большие деньги.

Ваш слуга

Nicolaus Machiavellus Secr.

Bene valete.

Рим, 10 ноября 1503.

XIV

...Вы видите, какое впечатление произвели здесь ваши указания в письмах от 6-го и 8-го, повторенные в письме от 9-го, которое я получил сегодня. Чтобы вы могли лучше судить, насколько папа свободен в своих решениях и какой помощи можно ждать от него против замыслов в Венеции, я повторяю, вам то, что писал уже не раз. Если рассматривать римские дела, как они есть, то ясно, что здесь вершатся дела, в настоящее время самые важные. Первое и важнейшее — это борьба Франции и Испании, потом дела Романьи, затем идут партии баронов и герцог Валентино. Папа находится в гуще борьбы этих страстей, и хотя он избран всеобщим желанием и благодаря высокому имени, но он вступил на престол очень недавно, у него еще нет ни людей, ни денег, и так как своим избранием он обязан всем и каждому и всем надавал обещаний, то он и не может ничего предпринять, и ему невольно прихо-

дится со всеми заигрывать, пока времена и дела не изменятся настолько, что он должен будет высказаться прямо, или пока он так не укрепится на престоле, что сможет заключать союзы по своей воле и поступать, как хочет. Что все это верно, видно на деле, ибо, если начать с главного, его святейшество по природной склонности слывет французом, но обращается с Испанией так, что жаловаться она ни на что не может; при этом он не увлекается настолько, чтобы Франции пришлось насторожиться, а времена таковы, что обе стороны ему прощают. В делах Романьи папу, с одной стороны, теснят венецианцы, а с другой — заявляете свои требования вы, и это, понятно, раздражает его святейшество, так как он человек смелый и хочет, чтобы могущество церкви под его правлением росло, а не умалялось. Ваши светлости понимаете теперь, как поступает папа, который, с одной стороны, принимает извинения венецианцев, делая вид, что верит, будто они действуют так из ненависти к герцогу, а не из желания итти против церкви; с другой стороны, папа обнаруживает перед вами свое неудовольствие венецианцами и делает все, что в настоящее время возможно. Что касается баронов, то главных заправил здесь нет, и папе не трудно с ними управляться, потому что со стороны Орсини здесь только архиепископ Флорентийский [25] и синьор Джулио, а со стороны Колонна нет никого кроме кардинала и нескольких маленьких людей, которые ничего не значат. Остается герцог Ва-

лентино, которому папа, понятно, никакого добра не желает. Однако он медлит с ним по двум причинам: во-первых, он хочет сдержать слово, верность которого все считают нерушимой, а кроме того папа ему обязан и папство свое получил почти целиком от него; во-вторых, так как сил у его святейшества нет, то он считает, что герцог больше сможет противиться венецианцам, чем кто-нибудь другой; по этой причине папа торопит его отъездом, дал ему грамоту к вашим светлостям насчет свободного пропуска и оказывает ему другие знаки внимания. Обо всем этом я писал уже раньше; если я считал необходимым особенно подробно сказать об этом в настоящем письме, то потому, что это сильнее оттеняет замыслы папы; вы можете теперь сами судить, чего папа хочет, что он может, чего он хотел бы от вас, и, не питая никаких особых надежд, надо подумать о других мерах,— следует ли поддерживать герцога, или решиться на что-либо иное. Можно быть уверенным, что папа должен быть удовлетворен всяким решением, касающимся Романьи, лишь бы она не ушла из рук церкви или ее викариев.

Сегодня прислал за мной герцог, и я нашел его совсем иначе настроенным, чем в прошлый раз, о чем я писал вам в письмах моих 6 и 7 ноября. Он сказал мне многое, и речи его можно свести к одному, а именно: над прошлым надо поставить крест и думать не о нем, а только о благе общем, о том, чтобы не дать венецианцам сделаться хозяевами Романьи; гер-

цог говорил о том, что папа готов ему в этом помочь, о папских грамотах, о том, как нужно ему, чтобы ваши светлости показали ему свое расположение, и о том, что вы всегда можете на него рассчитывать. Я отвечал ему в общих словах и указал, что он может довериться вам вполне. Сегодня я долго говорил с монсиньором Алессандро из Франции, который сказал мне, что они, вероятно, отправят ночью во Флоренцию гонца с папской грамотой и другими письмами вашим светлостям, написанными по их просьбе кардиналом и мной относительно свободного пропуска, и что они не сомневаются в вашем согласии; он сказал мне, что герцог еще не решил, как ему поступить: итти ли ему сухим путем с отрядом, примерно, в четыреста конных и столько же пеших солдат или отправить людей сушей, а самому морем доехать до Ливорно, а затем догнать свой отряд уже на вашей земле, где он мог бы начать переговоры с каким-нибудь нашим гражданином и обо всем с вами условиться; герцогу хотелось бы не медлить, и он хочет, чтобы все условия были подготовлены заранее, а ему оставалось бы только их подписать. Я ответил, что напишу вам об этом, и вообще его обнадежил. Вы можете теперь все обдумать, решить и подготовиться к мерам, какие захотите по отношению к нему принять. Мессер Алессандро сказал мне, что герцог охотно послал бы кого-нибудь во Флоренцию, чтобы заранее все обстряпать и подготовить соглашение с вами, но он не хотел бы посылать человека маловлиятельного, а по-

слать большого человека он пока еще не может, но пошлет его, как только дела ему это позволят. Valete.

Ваш слуга

Nicolaus Machiavellus.

11 ноября 1503.

XVI

Великолепные синьоры.

Вчера я отправил вашим светлостям через Пандольфини письмо от 11 ноября, в котором я ответил на ваше письмо от 8-го, доставленное тем же △ (23), и вы осведомлены теперь о решениях папы касательно Романьи и обо всем, что можно сказать сейчас насчет его святейшества; вы знаете точно так же и о замыслах герцога, который, однако, все время старается набрать людей, пеших и конных, чтобы итти на Романью, но мне думается, что он с нетерпением ждет, как вы решите, мы же не можем ни вести с ним переговоры, ни вообще что-либо делать, не зная намерений и воли ваших светлостей; хотя я не раз просил вас сообщить ваше мнение, но так как ответа еще нет, то все дело висит в воздухе. Как я уже писал вам в другом письме, папу сдерживают обещания, данные герцогу, и желание не допустить, чтобы эти земли попали в руки венецианцев; видимо, его святейшество готов на все, лишь бы не дать венецианцам проглотить этот кусок, и, как кажется, он сегодня созовет восемь или десять кардиналов, счита-

ющихся лучшей опорой церкви, чтобы посовещаться с ними об отправке в Венецию посла. Его святейшество, видимо, не сомневается в том, что получит земли, уже захваченные венецианцами, и верит, что ему в этом всячески будут угождать: советники папы настраивают его так, что он должен всеми средствами завладеть землями, а затем уже распоряжаться ими, как велит честность и т. п...

Ваш слуга

Nicolaus Machiavellus.

Рим, 13 ноября 1503.

XVII

Великолепные синьоры.

Последнее письмо мое было написано вчера, отправлено сегодня утром через дель Бене. Я сообщал в нем все, что до сих пор происходило. Остается сказать, что вчера вечером и сегодня утром папа совещался об отъезде герцога с д'Амбуазом, с герцогом, кардиналом Содерини, испанскими кардиналами и кардиналом Феррары; решено, что герцог через два или три дня уедет морем в Порто Венере или в Специю [26] и оттуда через Гарфаньяно в Феррару, а отряд его, в котором, по слухам, насчитывается триста человек легкой конницы, сто человек латников и четыреста пеших, сухим путем направится в Романью через Тоскану и пойдет к Имоле, которая, по словам герцога, стоит за него; сам же он пойдет туда же из Феррары

и оттуда уже начнет отвоевывать свои владения своими силами и при поддержке, которую он рассчитывает получить от вас, от д'Амбуаза, от герцога Феррарского [27] и от папы, причем кардинал Содерини сказал мне, что по части помощи папа даст герцогу грамот и патентов сколько угодно, но кроме этого — ничего. Д'Амбуаз обещал герцогу, что к услугам его будет Монтесон и по меньшей мере еще пятьдесят копейщиков; неизвестно только, из тех ли, которые служили ему раньше. Эсте высказал уверенность, что его отец герцога, конечно, не оставит. Содерини говорит, что ему было бы очень важно знать намерения и волю ваших светлостей в этом деле, и он удивляется, что вы ни разу не написали, как же надо вести себя с герцогом; так как ему пришлось хоть что-нибудь сказать от вашего имени, он высказал, что ваши светлости, конечно, сделаете все, чтобы эти города не попали в руки венецианцев, и раз вы решите, что для этого надо поддерживать герцога, то, конечно, всячески ему поможете, но что раньше чем говорить об этих подробностях, надо знать какими силами располагает герцог, кто его поддерживает, и тогда уже решить, можно ли добиться желанного успеха, присоединив ваши силы к силам герцога, а для переговоров и выяснения всех этих дел герцогу следовало бы отправить кого-нибудь во Флоренцию. Помимо того, что он не знает, каково ваше мнение о делах герцога, кардинала Содерини смущает одно: он сам не может решить, выгодно ли иметь герцога своим

соседом и властителем трех или четырех городов; если бы можно было верить в дружбу этого человека и не бояться, что он всегда может изменить, то водворение его обратно в этих государствах было бы самым выгодным делом, но зная его опасную природу, Содерини очень боится, что вам не удастся его там удержать, и тогда может наступить как раз самое скверное, именно: что городами этими завладеют венецианцы. Кроме того кардинал считает, что обстоятельства уже связали вас перед теми, кто занял эти города, что жители с герцогом в открытой вражде, и как бы не случилось, что ваше покровительство герцогу поможет венецианцам еще скорее осуществить их желания. Вот что смущает Содерини, и мне показалось правильным доложить об этом вашим светлостям, дабы вы могли в мудрости вашей разрешить самую суть дела.

На совещании не было никого от Болоньи, но герцог сказал, что с этой стороны ему обещана всяческая помощь; все разошлись, условившись что герцог поедет указанным путем, Эсте отправится в Феррару убеждать своего отца, д'Амбуаз напишет Монтесону и пошлет ему приказ, о котором я говорил, а Содерини напишет вам и поставит вас в известность обо всем. Раз дела обстоят так, герцогу следовало бы по этому условию выехать немедля, но Содерини уже сейчас не знает, как он поступит. Герцог кажется ему изменившимся, колеблющимся, подозрительным и неспособным ни на какое твердое решение, потому ли, что такова

его природа, или его сразили удары судьбы, к которым он не привык.

Третьего дня мне случилось быть в доме, где живет герцог Валентино, и я видел, как туда вошли послы из Болоньи, между ними протонотарий Бентивольо; все они прошли к герцогу и оставались у него больше часа; я подумал, что они могли на чем-нибудь сговориться, и отправился сегодня к протонотарию Бентивольо, под предлогом, что пришел его навестить; заговорив о делах герцога, он сказал мне, что они были у герцога по его приглашению, и он дал им понять, что готов снять с них обязательства, которые они приняли на себя в прошлом году, но когда они уже сговорились и послали за нотариусом, чтобы заключить договор, то герцог в обмен на такое уничтожение их обязательств стал просить особой поддержки, для своих предприятий в Романье, и так как, не имея полномочий, они не хотели на это соглашаться, то и герцог не пожелал уничтожить названные обязательства, и все дело повисло в воздухе. Протонотарий прибавил, что герцог попробовал схитрить, так как ему необходимо было показать щедрость и перестать жадничать, чтобы покончить дело об уничтожении обязательств, по которым ему никогда не заплатят ни гроша. Он сказал мне дальше, что у него был разговор об этом деле с кардиналом Эрина[28], и кардинал сказал ему, что герцог точно с ума сошел и, как будто, сам не знает, чего хочет, настолько он запутался и потерял свою решительность.

Я спросил его, собираются ли они хотя бы несколько помочь герцогу, а он на это ответил, что вступление венецианцев в Романью — вещь настолько важная, что и отец его и другие власти Болоньи, наверное, будут готовы всячески поддержать герцога, если только сочтут, что это может остановить Венецию. Ничего другого я из него не вытянул, но считаю не лишним передать вам этот разговор...

Подписал ваш слуга

Nicolaus Machiavellus.

Рим, 14 ноября.

XVIII

Великолепные синьоры.

...О герцоге Валентино не могу сказать вам ничего, кроме того, что отряд его еще здесь, и сам он не уехал; дело обстоит так же, как два дня тому назад; говорят, как и тогда говорили, что он уедет дня через два или три, а кроме того везде в Риме рассказывают, что герцог едет во Флоренцию и будет вашим капитаном; подобные слухи распускают о нем каждый день.

Ваш слуга

Nicolaus Machiavellus Secr.

16 ноября 1503.

XIX

Великолепные синьоры.

...Вчера утром получены от вас письма от 13-го и 14-го, а часа за четыре до этого пришли ваши письма от 11-го и 12-го. На последние два письма отвечать сейчас не приходится, так как у вас есть мой ответ на письмо от 8-го, а насчет двух других писем можно сказать лишь очень немного, потому что вы получили мое письмо от 12-го и подробно узнали из него, как обстоят здешние дела и на что вы можете надеяться. Ссылаюсь на это письмо. Монсиньор кардинал Содерини находил, однако, что мне нужно снова посетить папу, прочесть ему, что вы пишете, посмотреть, что скажет его святейшество, сообщит ему ваше мнение о делах герцога и нащупать его намерения. Кардинал постарался устроить мне прием, но я мог поклониться папе только вчера вечером, около трех часов; я прочел ему те части вашего письма, которые считал полезным сообщить его святейшеству; когда я дошел до места, где вы говорите, что мессер Оттавиано да Кампо Фрегозо выступил в поход с отрядом конных и пеших солдат, присланных ему герцогом Урбино, его святейшество изменился в лице и сказал: „Герцог этот через два дня будет уже здесь, и я засажу его в Замок Св. Ангела"; далее он слушал с большим вниманием и, выслушав все до конца, сказал, как он обязан вашим светлостям за все, что вы делали и советовали ему во славу церкви; сам же он, как

известно кардиналу Содерини, делал и готов делать все возможное; он уже послал человека в Венецию, чтобы тот растолковал там его намерения, и пошлет другого посла высокого положения в Романью, дабы ободрить знатных и народ и привести к покорности ему тех, кто мог от него отдалиться. Я прибавил, что это кажется мне своевременным, но больше ничего из него не вытянул, и очевидно, что папа, как я уже говорил, делает, что может. Затем я повел речь о делах герцога и сказал, почему вы не дали ему свободного пропуска. Папа поднял голову и сказал, что это хорошо, и он с вами согласен. Мне стало ясно теперь то, в чем раньше сомневались, именно: что папа только того и ждет, как бы ему избавиться от герцога; он хочет все же, чтобы герцог уехал в достаточной мере довольным и не мог бы жаловаться на несоблюдение слова, а кроме того, на случай, если герцог еще сможет пригодиться ему в Романье, папа не хочет совсем отрезать себе этот путь. То, что сделаете с герцогом вы или кто-нибудь еще, папу не тревожит. Если перебрать все поступки папы, как я уже писал вам раньше, то намерения его ясны, именно: он хочет забрать в свои руки эти владения и непрочь был бы сделать это даже через венецианцев, к которым он за этим отправлял своего посла; если же ему не удастся, папа попытается сделать то же самое через кого-нибудь другого. Может быть, он верит, что герцог согласится отдать ему оставшиеся у него владения в Романье, когда

увидит, что вы его покинули; а получив хоть какие-нибудь города в этом государстве, папа думает, что остальное достанется ему уже легко. Таковы, мне кажется, его замыслы и поступки; поэтому сопротивление, которое ваши светлости оказываете венецианцам, должно бесконечно его радовать.

Вы узнаете из письма от 14-го обо всем, что было условлено между герцогом, папой и кардиналами; как оказалось потом, все это было условлено и решено, чтоб полакомить герцога и убедить его уехать, чего папа явно желает. Когда герцог узнал по письмам из Флоренции, что вы ему не дали свободного пропуска, он послал за мной, и, выйдя после приема у папы, я отправился к нему. Герцог жаловался, что ему отказано в пропуске, когда он уже отправил свою конницу, в полной уверенности, что ее примут в ваших владениях, и собирался уже ехать сам, надеясь, что пропуск ему во всяком случае дадут; такого ответа он не ожидал и вообще не знает, что и думать, ибо вы, с одной стороны, боитесь захвата этих владений венецианцами, а с другой — не пускаете к себе подмогу; он, герцог, может еще решиться на дело, которое принесет вам много неприятностей; он знает, что ему опасно итти на соглашение с венецианцами, но если нужда его заставит, он готов принять выгодные условия венецианцев и пуститься на нечто такое, что поразит вас в самое сердце. Я ответил, что отказа в пропуске ему не было, но ему дано понять, что

вы хотите знать, как вам ужиться с его светлостью, и желаете сперва закончить расчеты, а затем вести дружбу, как подобает делать, когда два человека хотят поступать друг с другом открыто и друг друга уважать; я прибавил, что вы ни в каких делах не привыкли горячиться или шуметь и не хотите начинать теперь; поэтому было бы полезно герцогу послать во Флоренцию человека опытного, осведомленного о его замыслах, и можно быть уверенным, что ваши светлости не преминут поступить на пользу себе и на благо своим друзьям. Герцог ответил, что он был готов к отъезду, уже отправил своих людей и собирался отплыть сам, но хотел бы до отъезда ясно знать, на что ему можно надеяться с вашей стороны. Я отвечал, что сегодня же утром спешно вам напишу и извещу вас, что люди его светлости уже отправлены, что к вам поехал его посланец, и что я буду просить вас принять герцогский отряд,— тем временем приедет посланный герцога, переговорит с вашими светлостями, и я не сомневаюсь, что дело кончится хорошо, а посланец герцога сможет известить его об этом, где бы герцог ни находился. Он, как будто, остался доволен и возразил, что если ваши светлости будете с ним хитрить, это станет для него ясно через четыре или пять дней, когда приедет его посланный и ему напишет; тогда он сговорится с венецианцами, с самим дьяволом, отправится в Пизу и употребит последние силы, связи и деньги, лишь бы только вам навредить. Послать к вам он решил своего

воспитанника, некоего мессера Ванни, который должен был выехать сегодня утром, но сейчас восемь часов вечера, а я об отъезде его еще не слышал и не знаю, не изменил ли герцог своих намерений. Судя по тому, что герцог провел вчерашний вечер с д'Амбуазом, он должен был выехать сегодня утром в направлении Специи, как было первоначально условлено, и хотел взять с собой на корабль пятьсот человек, своих дворян и пеших солдат, но до сих пор об отъезде его не слышно. Может быть, он хочет спера несколько обеспечить себя с вашей стороны. Я отвечал герцогу в этом духе только для того, чтобы дать ему некоторую надежду, иначе он мог бы здесь задержаться, а папе пришлось бы из-за этого настаивать на пропуске. Когда приедет посланный герцога, ваши светлости можете с ним не стесняться и поступать, как вам покажется нужным — прекратить с ним разговор или заключить какое-нибудь условие. Конница двигается под начальством Карло Бальони и состоит из ста латников и двухсот пятидесяти легковооруженных. Прикажите, синьоры, узнать, где они находятся, и если ваши светлости сочтете, что их надо обезоружить, это можно сделать, когда покажется вам своевременным, а как только будет известно ваше решение насчет герцога, с ним будет поступлено по вашим указаниям, и ваши светлости, конечно, напишете, если что-либо изменится.

Ваш слуга

Nicolaus Machiavellus Secr.

Рим, 18 ноября 1503.

XX

Великолепные синьоры.

Я писал вам вчера и послал письмо с нарочным вместе с письмами от 14-го и 16-го ноября. Вы узнаете из них все о делах герцога, который наконец выехал сегодня ночью и направился в Остию, чтобы сесть там на корабль, если только погода будет этому благоприятствовать...

Ваш слуга

Nicolaus Machiavellus Secr.

19 ноября 1503.

XXI

Великолепные синьоры.

Пишу вам кратко, так как уже отправил вам письмо 18 ноября, и намерен в следующий раз писать подробнее. Я хочу, чтобы по случаю прибытия мессера Эннио[29], посланца герцога, который привезет это письмо, вы были бы точнее осведомлены о здешних делах. Герцог уехал отсюда вчера утром и отправился в Остию, где сядет на корабль с отрядом в четыреста или пятьсот человек, направляясь, как я уже писал вам, в Специю, и если только погода будет подходяща, он отплывет из Остии сегодня ночью, а другой свой отряд, примерно в семьсот всадников, он уже три дня как послал в Тоскану. Так как сам он отплыл и отправил своих людей сухим путем, не имея никакого разрешения ваших светлостей, мы решили по

причинам, о которых я уже писал вам 18 ноября, послать к вам мессера Эннио, подателя настоящего письма; у него есть письма к вам от кардинала Содерини, которые даны ему, чтобы его успокоить, а не для других целей, ибо как папа, так и д'Амбуаз, судя по их разговорам и намекам, обиделись бы разве на то, что герцог получит от вас свободный пропуск; если ваши светлости сочтете полезным исполнить желание названных лиц, вы можете это сделать нисколько не стесняясь, а если времена заставили бы вас изменить решение, то приезд этого человека будет для вас как нельзя более полезен, и вы со свойственной вам мудростью сумеете извлечь из этого все, что будет нужно.

Ваш слуга

Nicolaus Machiavellus.

Рим, 20 ноября 1503.

XXII

Великолепные синьоры.

...Мессер Агапито и мессер Рамолино [30], люди прежде всего близкие к герцогу, но оставшиеся здесь, чтобы не делить с ним его несчастную судьбу, говорили мне, что, уезжая из Рима в Остию, герцог приказал своему приближенному, мессеру Эннио, епископу Вероли, отправиться во Флоренцию, чтобы договориться с вами и заключить выгодное условие, согласно его последним беседам со мной; они хотели получить для безопасности этого мессера Эннио

письмо от меня и грамоту от кардинала Содерини, но вчера не могли меня застать и просили поэтому быть у кардинала и приготовить эти письма, чтобы мессер Энниo мог сейчас же выехать во Флоренцию. Я был у кардинала, и так как, по причинам, о которых я писал 18 ноября, приезд мессера Энниo казался нам очень кстати, то кардинал дал ему письмо к вашим светлостям и пропускной лист, обращенный ко всем вашим союзникам и подчиненным, а я написал вашим светлостям письмо, в котором кратко изложил сказанное мною в прошлом и настоящем моем донесении, дабы, говоря с мессером Энниo, который приедет во Флоренцию раньше, чем эти письма до вас дойдут, ваши светлости, уже знали, как обстоят здешние дела, и могли бы решать, имея в виду все, что я сообщал вам в прошлом письме и в донесении 18 ноября. Все знаки внимания, оказанные герцогу папой и д'Амбуазом, нужны были только, чтобы благополучно его выпроводить, и чем скорее, тем лучше. Поэтому вы совершенно свободны и можете поступать ни с кем не считаясь; я снова повторяю, что если ваши светлости сочтете полезным на всякий случай поддержать герцога, то можете и это сделать, хотя папе будет гораздо приятнее, если герцогу не посчастливится.

Сам герцог находится в Остии и выжидает благоприятной погоды, чтобы отплыть в Специю на пяти судах с отрядом в пятьсот человек; выехал ли он уже сейчас, пока неизвестно, но если нет, то возможно, что он выедет сего-

дня ночью, глядя по погоде. Латников своих он отправил сухим путем по направлению к Тоскане, а от сиенцев и Джанпаоло он получил такие же обещания, как от ваших светлостей, так что все здесь над его делами смеются; посмотрим теперь, куда занесут его ветры, что станется с его людьми и что вы решите.

XXIII

Великолепные синьоры.

...Сегодня папа около пяти часов дня снова послал за кардиналом Содерини и сказал ему, что он всю ночь не мог заснуть из-за положения дел в Фаэнце и Романье, и у него явилась мысль, что хорошо бы нащупать почву у герцога Валентино, не согласится ли он передать его святейшеству замок Форли и другие оставшиеся у него крепости Романьи, причем папа обещает их ему вернуть, считая, что пусть лучше они принадлежат герцогу, чем венецианцам; поэтому он просит монсиньора Содерини взять на себя труд поехать в Остию, переговорить с герцогом и заключить с ним эту сделку. Кардинал Содерини согласился сделать все, что будет приятно его святейшеству, а папа сказал, что сообщит свое решение, и поручил ему поговорить с д'Амбуазом, чтобы узнать, как тот на это дело посмотрит. Мысль о том, чтобы герцог Валентино передал папе названные владения, с обязательством вернуть их ему, возникла уже несколько дней тому назад, и герцог на это соглашался, но тогда ни за

что не хотел согласиться папа, говоривший, что не может нарушить слово, данное кому бы то ни было; сейчас папа сам ухватился за эту мысль, но не потому, что он уже думает иначе, а потому, что его вынуждает необходимость, и он считает теперь, что нашел самое верное и самое извинительное средство против венецианцев, так как открыто объявить себя их врагом папе кажется еще несвоевременным. Кардинал Содерини был снова вызван к его святейшеству, который пригласил его к обеду, и он оставался у папы до 24 часов*. Кардинал сказал мне, что папа отправил в Остию гонца, которому поручено узнать, уехал ли герцог Валентино, и если герцог не уехал, приказано его задержать, с тем что монсиньор Содерини отправится к нему завтра утром,— и по возвращении его мы узнаем, состоялась ли сделка; если же герцог уехал, эту мысль придется бросить...

Ваш слуга

Nicolaus Machiavellus.

Рим, 21 ноября 1503.

XXVI

Великолепные синьоры.

...Сейчас почти 24 часа, а монсиньор кардинал Содерини все еще не вернулся, и мне думается, он отложит свое возвращение до завтра. Хочу сообщить вашим светлостям, что го-

---

* До 6 часов вечера.

ворят в городе, и пишу потому, что слышал этот рассказ от человека серьезного, который легко может знать правду: именно, сегодня утром к папе приехал гонец от кардиналов Содерини и Рамолино и сообщил, что герцог отказывается передать папе крепость. Его святейшество так разгневался, что послал приказ арестовать герцога и держать его, как папского пленника; кроме того папа сейчас же послал в Перуджу и Сиену приказ разоружить отряды герцога, вышедшие в этих направлениях. Не знаю, насколько все это верно; дело разъяснится, когда приедет кардинал Содерини, и вы будете извещены сейчас же.

Ваш слуга

Nicolaus Machiavellus.

23 ноября 1503.

XXVII

Великолепные синьоры.

...Намерения папы должны быть теперь ясны для ваших светлостей; как я говорил уже раньше, папа хочет подчинить своей власти все крепости Романьи и посылал кардиналов в Остию для переговоров, но так как герцог не хотел согласиться на их передачу, то папа, как я сообщил в прошлом письме, велел его арестовать. Папа, видимо, хочет завладеть этими городами, и, кажется, намерен крепко держать и самого герцога, каковой герцог сейчас в полной власти папы и находится на королевской галере, которой командует Моттино; надо думать, что папа сейчас ничего плохого с герцо-

гом не сделает; неизвестно также, приказал ли он обезоружить отряды, отправленные сухим путем, но это, вероятно, случится само собой, так как отряды шли без всякого пропуска.

Папа коронуется в следующее воскресение; ваши светлости можете поэтому распорядиться о приезде ораторов, и монсиньор кардинал Содерини напоминает, что чем скорее вы это сделаете, тем лучше, так как он знает характер папы и говорит, что его святейшество явно этого желает. Папе будет не неприятно, если ваши ораторы приедут раньше генуэзских, и кардинал пошлет их первыми, если они приедут раньше других. Монсиньор Содерини поручил мне просить об этом ваши светлости, так как вас это не обременит, а признательность папы будет велика...

Ваш слуга

Никколо Макиавелли.

Рим, 24 ноября 1503.

XXIX

Великолепные синьоры.

Я послал вам вчера с гонцом Джованни Пандольфини три письма, от 23, 24 и 25 ноября, в которых сообщал, что творилось здесь в эти три дня и что слышно о положении дел в настоящую минуту; я писал вам, что с герцогом уже все кончено и он находится в полной власти папы, который во что бы то ни стало хочет получить крепости, пока еще верные герцогу, и крепко держать его самого.

Здесь сейчас еще как следует не знают, находится ли герцог на галере в Остии или его привезли сюда. Сегодня говорили об этом по-разному; один человек мне рассказывал, что вчера, в два часа ночи, когда он был в покоях папы, туда вошли двое неизвестных, приехавших из Остии; всех сейчас же удалили из покоев, но из другой комнаты можно было слышать, как они докладывали, что герцога по приказу папы бросили в Тибр; я ничего не подтверждаю и не отрицаю, но вполне уверен, что если этого и не было, то будет потом. Видимо, этот папа начинает довольно честно платить свои долги и погашает их ваткой от своего чернильного прибора. Тем не менее все его благословляют, и чем дальше он пойдет, тем этих благословений будет больше, а о герцоге, раз он взят живым или мертвым, можно уже больше не думать, но все же я извещу ваши светлости, если узнаю что-нибудь более достоверное.

Ваш слуга

Никколо Макиавелли.

Рим, 26 ноября 1503.

XXX

Великолепные синьоры.

Писал вчера обо всем, что случилось за этот день. Остается сообщить вашим светлостям, что ваши письма от 24 ноября переданы папе через Кастель дель Рио, и в общем можно сказать только, что здесь твердо решено пре-

доставить делу итти своим порядком и рассчитывают выхватить у герцога его крепости; о самом же герцоге я знаю достоверно только одно: что он находится в Остии в папских покоях. Мне говорили, что вчера вечером вернулись мессер Габриелло из Фано и мессер Рамолино из Остии; с герцогом покончили на том, что он добровольно передает крепости папе, а папа за это даст ему какое-нибудь вознаграждение; говорили еще; что Рамолино бросился к ногам его святейшества, плакал и просил за герцога; что будет дальше, станет известно днем. Папа во всяком случае считает, что, владея этими крепостями, он уже может смелее держать себя с венецианцами, и уверен, что жители Романьи гораздо скорее к нему примкнут, когда увидят развевающийся над крепостями стяг св. престола.

Ваш слуга

Никколо Макиавелли.

29 ноября 1503.

XXXI

Великолепные синьоры.

Писал вам вчера и третьего дня через Джованни Пандольфини. Остается сообщить вашим светлостям, что вся гвардия папы выступила сегодня ночью в Остию; одни говорят, что она должна доставить сюда герцога Валентино, а некоторые другие думают, что ей приказано не только его доставить, но и покрепче его стеречь, так как вчера вечером до

папы дошел слух, будто герцог с своим отрядом засел на нескольких судах, и если не послать на место достаточные силы, он может уйти; тогда папа спешно велел отправить гвардию. Кастель дель Рио выехал сегодня рано утром, но сейчас уже 24 часа*, а они еще не вернулись. Сегодня днем в Риме говорили, что герцог убежал, а вечером уже говорят, что его поймали. Завтра будем знать больше, но и сейчас видно, что этот папа ведет свое дело чисто. Как бы не подтвердилось целиком то, что я писал вашим светлостям 26 ноября; явно, что грехи герцога мало-по-малу привели его к наказанию, и да будет все к лучшему по воле божией... [31].

Ваш слуга

Никколо Макиавелли.

Рим, 28 ноября 1503.

---

* 6 часов вечера.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Дать всю „Римскую Легацию“ (ноябрь — декабрь 1503 г.) было, к сожалению, невозможно как по техническим, так и по общим соображениям. Поэтому она приводится в отрывках, объединенных вокруг яркого драматического эпизода, на котором сосредоточивалось общее внимание,— падение Цезаря Борджа. В области внутренней борьбы Борджа могли считать себя к этому времени победителями. Враги были сломлены, захвачены или истреблены; все земельные владения крупнейших дворянских родов — Орсини, Савелли, Колонна — должны были быть конфискованы и отойти к папе; готовилось торжественное постановление коллегии кардиналов о присоединении Анконской Марки к владениям Цезаря в Романье. В области внешней политики, определявшейся борьбой Франции и Испании за Неаполь, положение было более смутное. Неудачи французов, разбитых испанцами в Неаполе, естественно должны были изменить

и направление папской политики, ориентировавшейся до тех пор на Францию, в сторону Испании. Папа готов был вступить на этот путь, но приходилось соблюдать осторожность, так как Франция реагировала на свое поражение посылкой новой армии в неаполитанские пределы, и эта армия должна была пройти через Италию подкрепленная отрядами итальянских союзников Франции — Флоренции, Сиены, Мантуи, Болоньи, Феррары. Отсюда бесконечный торг между папой и Францией о компенсациях за пропуск французских войск. Папа, с одной стороны, домогался от Франции уступки Неаполитанского королевства для своего сына, а с другой — вел одновременно переговоры и с Венецией о союзе против Франции и Испании, и с германским императором Максимилианом — о предоставлении Цезарю инвеституры на Пизу, Сиену и Лукку, грозя в противном случае перейти на сторону Франции. В этот момент наступает неожиданная катастрофа. 18 августа 1503 г. папа, прохворав всего несколько дней, умирает от малярии, а по городским слухам — от отравы. Одновременно с папой свалился и Цезарь, говоривший впоследствии Макиавелли, что на случай смерти отца он приготовлялся ко всему и предусмотрел все, кроме одного обстоятельства: что к моменту смерти отца он окажется при смерти сам („Князь", гл. VII). Смерть эта явилась сигналом общего кризиса эфемерного, несмотря на свою эффективную внешность, могущества Борджа. Растерявшийся, больной Цезарь, который казался хозяином Рима, успевает только вызвать солдат и переправить свое имущество в замок Св. Ангела, папскую Бастилию. Его верный Микеле да Корелла с кинжалом в руке вырывает у кар-

дипала Казановы ключи от папской казны, Цезарь запирается в Ватикане, а его враги Орсини и Колонна врываются в Рим, по которому разливается солдатский погром. Первый момент анархии завершается сделкой Цезаря с Колонна, благодаря чему ему удалось в критическую минуту разъединить врагов, но затем последовал крайне невыгодный для него договор с Францией и соглашение с коллегией кардиналов, по которому он обязывался покинуть Рим. 16 сентября 1503 г. открывается конклав, на котором политика Франции, выдвигавшей кандидатуру кардинала д'Амбуаза, терпит неудачу и в папы голосами итальянцев и испанцев избирается кардинал Сиены Франческо Тодескини Пикколомини под именем папы Пия III. Пий III прошел на папском престоле лишь мимолетней старческой тенью, и его двадцатишестидневный понтификат открывает второй момент разыгравшейся в Риме анархии. Французская армия сейчас же после выборов возобновила движение на Рим, куда возвращается и Цезарь. Туда же устремились Орсини, вновь соединившиеся с Колонна и уже предвкушающие месть за синигалийскую бойню и за договор Цезаря с Францией. Орсини напали на ватиканский квартал Борго, подожгли ворота Торрионе, чтобы прорваться в Ватикан. Цезаря искали на всех перекрестках, и он едва успел спастись с помощью испанских кардиналов, которые провели его по коридору в замок Св. Ангела, где недавний кандидат в короли центральной Италии очутился уже в положении полузаключенного. 18 октября 1503 г. Пий III умирает, и открывается перспектива нового конклава, в центре которого сразу стала яркая фигура Джулиано Роверe, будущего папы Юлия II.

23 октября 1503 г. Макиавелли отправляется в Рим в распоряжение кардинала Содерини, и его внимание сразу сосредоточивается на двух важнейших для Флоренции вопросах — о венецианской политике папы и о том, что же будет с Валентино, которого все боятся, как тигра, готового ежеминутно вырваться из клетки, и которому сам Юлий II в благодарность за содействие при выборах обещал золотые горы.

[2] Конклав открылся 31 октября 1503 г.

[3] Джулиано Ровере, племянник папы Сикста IV, с 1471 г. кардинал Сан Пьетро ин Винкула, папа Юлий II (1503—1513). К моменту избрания ему было 64 года. Злейший враг Борджа, он провел десять лет в изгнании, спасаясь от преследований Александра VI, что нисколько не помешало его соглашению с Цезарем при выборах.

[4] Жорж д'Амбуаз — первый министр Людовика XII, архиепископ Руанский, французский кандидат в папы. В Италии его называли обычно кардинал ди Роано, и у Макиавелли он всегда выступает под этим именем.

[5] Кардинал Асканио Сфорца — брат герцога Миланского, Лодовико Моро.

[6] Герцог — Цезарь Борджа.

[7] Испанские кардиналы, по слухам, получили за свое голосование 150 000 дукатов (*Gregorovius*, Geschichte der Stadt Rom, VIII, 19, пр. 1).

[8] Антонио Паллавичини, кардинал Санта Прасседе.

[9] Савона — на берегу Генуэзского залива; родина Юлия II.

[10] Кардинал Франческо Содерини, епископ Вольтерры, возглавлял в Риме флорентинскую дипломатию.

[11] Сан Джорджо — Рафаэле Риарио из Савоны, внучатный племянник Сикста IV, возведенный в кардиналы семнадцати лет, 10 декабря 1477 г.

[12] Читерна перешла к Флоренции после смерти Александра VI. Флоренция вернула ее Пию III, рассчитывая на то, что венецианцы возвратят Фаэнцу и другие занятые ими крепости.

[13] Папа Сикст IV.

[14] Джампаоло Бальони — кондотьер, приглашенный к тому времени на службу Флоренции, за которой стояла Франция.

[15] Моттино—капитан галеры Александра VI в Остии.

[16] Фабио Орсини — сын удавленного Цезарем Борджа Паоло Орсини.

[17] Джиролама Борджа — сестра кардинала Джованни Борджа. Помолвка ее с Фабио Орсини состоялась еще в 1498 г. по желанию самого Паоло Орсини, главного посредника Орсини при мирных переговорах с Валентино.

[19] Франческо Мария Ровере — племянник Юлия II, сын Джованни Ровере и Джованны Монтефельтро, племянник Гвидобальдо, герцога Урбинского. Унаследовал после его смерти Урбино. Умер 20 октября 1538 г. на службе Венеции.

[20] Диониджи Нальдо — один из подручных кондотьеров Цезаря. Выдвинулся на службу у миланских Сфорца, потом служил Катарине Сфорца и защищал Форли от Цезаря. После капитуляции крепости перешел на службу к Цезарю. Командовал крепостями в Романье.

[21] Герцог Урбинский — Гвидобальдо Монтефельтро.

[22] Федериго Сан Северино — сын тиранна Римини Роберто Малатеста, кардинал с 1492 г.

[24] Оттавиано Фрегозо — генуэзский патриций; изгнанный из родного города, жил при урбинском дворе. В 1512 г. сделался дожем Генуи. В 1522 г. при взятии города имперцами попал в плен к Пескаре и в том же году умер в неволе.

[25] Ринальдо Орсини — архиепископ Флорентийский.

[26] Порто Венере и Специя — города на восточном берегу Генуэзского залива.

[27] Эрколе д'Эсте — герцог Феррарский.

[28] Франческо Лорис, епископ Эрицы; он встречается также под именами д'Эуна, д'Эльна, д'Эрина.

[29] Эннио Филонардо — епископ Бероли с 4 августа 1503 г.

[30] Кардинал Франческо Рамолино.

[31] 29 января 1504 г. Цезарь Борджа подписал договор о передаче, по которому обязывался передать папе Юлию II в сорокадневный срок крепости Бертинора, Чезену и Форли. До исполнения договора он должен был оставаться под охраной в Остии, а затем ему предоставлялось выехать куда угодно.

Дальнейшие общеизвестные факты его жизни — его пребывание в испанском плену и гибель в 1507 г. — принадлежат уже к области его личной биографии.

КНЯЗЬ

Сочинение Никколо Макиавелли[1]

Никколо Макиавелли — Лоренцо Медичи Великолепному, сыну Пиеро Медичи[2]

Люди, желающие снискать благосклонность Князя[3], обычно приносят ему вещи наиболее для них дорогие или приходят к нему с дарами, которые, очевидно, всего больше его радуют; поэтому часто можно видеть, что князьям дарят коней, оружие, парчу, драгоценные камни и другие подобные украшения, достойные княжеского величия. Желая точно так же представить вашей светлости некоторое свидетельство моей преданности, я не нашел во всем своем имуществе вещи, которая была бы для меня дороже или ценилась так высоко, как знание дел великих людей, приобретенное мной долгим опытом дел нашего времени и постоянным чтением древних. Я с большой тщательностью продумал свои знания, долго проверял их и теперь подвел им итог в маленькой книжке, которую преподношу вашей светлости. И хотя я считаю этот труд недо-

стойным предстать перед вами, но все же я твердо верю, что вы по доброте своей удостоите принять его, так как знаете, что с моей стороны нельзя сделать вам больший дар, чем предоставить возможность в самое короткое время узнать то, что я постиг за столько лет, с такими лишениями и опасностями.

Я не прикрасил этот труд и не наполнил его ни пространными рассуждениями, ни широковещательными и пышными словами, ни другими приманками и украшениями, которыми многие обычно расцвечивают и украшают свои сочинения, так как я хотел, чтобы вся работа или прошла незаметно, или привлекла внимание единственно многообразием содержимого и важностью предмета. Я просил бы не считать за самомнение, что человек такого низкого и незаметного состояния позволяет себе рассуждать о правлении князей и устанавливать для них правила, ибо, как люди, рисующие какой-нибудь вид, спускаются в долину, чтобы видеть очертания гор и возвышенностей, и высоко поднимаются на горы, чтобы видеть долины, так и для того, чтобы хорошо познать сущность народа, надо быть Князем, а чтобы правильно постичь природу Князя, нужно быть из народа. Пусть же ваша светлость примет этот малый дар с теми же мыслями, с какими я его ей посвящаю; если вы внимательно его прочтете и обдумаете, то увидите в нем выражение самого большого моего желания: чтобы ваша светлость достигли того величия, которое обещает вам судьба и другие ваши качества. И если ваша

светлость с вершин своей высоты обратит когда-нибудь взор на эти низины, она поймет, как незаслуженно переношу я тяжкую и непрестанную враждебность судьбы.

ГЛАВА I

Сколько существует видов княжеств и каким образом они приобретаются

Все государства [4], все власти, которые господствовали и господствуют над людьми, были и суть или республики [5], или княжества. Княжества бывают или наследственные, где много лет правил род их государя, или новые. Новые княжества или создаются совсем заново, как Милан под властью Франческо Сфорца [6], или они, как отдельные части, присоединяются к наследственному государству Князя, который их приобретает, как королевство Неаполитанское под властью короля Испании [7]. Эти покоренные таким образом земли, привыкли или жить под властью Князя, или издавна быть свободными; приобретаются они чужим или своим оружием, милостью судьбы или собственной силой [8].

ГЛАВА II

О княжествах наследственных

Я не буду здесь рассматривать республики, так как много говорил о них в другом месте. Я обращаюсь только к княжествам, и, при-

держиваясь описанного выше порядка, буду обсуждать, как можно этими княжествами управлять и как их удерживать. Итак, я скажу, что значительно менее трудно сохранить за собой государства наследственные и привыкшие к роду своего Князя, чем новые; достаточно Князю не нарушать строй, установленный его предками, и затем править сообразуясь с обстоятельствами; такой Князь, даже при среднем искусстве, всегда удержится в своем государстве, если только какая-нибудь необычайная и особенная сила не лишит его владений; однако, даже лишенный государства, Князь при первой неудаче захватчика вернет его вновь.

Мы видим в Италии пример герцога Феррарского, который выдержал все нападения венецианцев в 1484 году[9] и папы Юлия в 1510[10] единственно потому, что издавна управлял этим владением: дело в том, что у исконного государя меньше оснований, и он реже бывает поставлен в необходимость угнетать; поэтому его должны больше любить, и если особенные пороки не сделают его ненавистным, то вполне в порядке вещей, что подданные естественно будут желать ему добра.

За давностью и непрерывностью господства исчезает даже воспоминание о бывших когда-то переворотах и об их причинах; всякая же перемена, раз происшедшая, всегда и неизбежно влечет за собой другую.

ГЛАВА III

О княжествах смешанных

Трудности начинаются именно в новом княжестве. Прежде всего, если оно не создано заново, а является частью наследственного, так что княжество в целом может быть названо как бы смешанным[11], то перевороты в нем вызываются прежде всего одной естественной трудностью, встречающейся во всех новых княжествах: люди охотно меняют господина, веря, что им будет лучше, и эта уверенность заставляет их браться за оружие против правителя; они обманывают себя, так как потом видят на опыте, что им стало хуже. Ухудшение же связано с другой неизбежностью, столь же естественной и повседневной,— именно: Князю приходится беспрестанно угнетать новых своих подвластных военными постоями и бесконечными другими насилиями, неотделимыми от новых приобретений. Таким образом, твоими врагами становятся все, кого ты обидел, при овладении этим княжеством, но ты также не можешь сохранить дружбу тех, кто тебя призвал, потому что удовлетворить их в меру их ожиданий нельзя, а пользоваться против них сильно действующими средствами невозможно, так как ты им обязан; поэтому если кто-нибудь располагает даже самыми могучими войсками, то все же для вступления в какую-нибудь страну ему всегда необходимо сочувствие ее жителей.

По этим причинам Людовик XII, король Франции, быстро занял Милан и быстро поте-

рял его. Чтобы в первый раз отнять у него город, оказалось достаточно собственных сил Лодовико Сфорца[12], так как тот же народ, который открыл королю ворота, убедившись, что он обманулся в своих ожиданиях и надеждах на хорошее будущее, не мог выдержать гнета нового Князя.

Несомненно, что если вторично завоевать взбунтовавшуюся страну, то потерять ее уже труднее, так как господин под предлогом восстания меньше стесняется в средствах укрепления своей власти, карая виновных, выслеживая подозрительных и укрепляя более слабые местности. Таким образом, чтобы отобрать у Франции Милан в первый раз, достаточно было герцогу Лодовико поднять шум на границах своего герцогства; чтобы вырвать его у Франции второй раз, пришлось двинуть против нее всех, уничтожить ее войска и выгнать их из Италии. Случилось это по причинам, указанным выше. Тем не менее Милан был отнят у Франции и в первый, и во второй раз[13]. Об общих причинах первого поражения уже говорилось, остается теперь объяснить вторую неудачу и рассмотреть, какие средства были у короля, и что, при таких же обстоятельствах, мог бы сделать всякий, дабы оказаться в состоянии лучше удержать свое завоевание, чем это сделал король Франции.

Итак, я скажу следующее: государства, которые при завоевании присоединяются к исконному государству покорителя, либо принадлежат к одной с ним стране и языку, либо нет.

Если принадлежат, то удерживать их очень легко, особенно если они не привыкли жить свободными; чтобы уверенно владеть ими, достаточно истребить род правившего Князя; если во всем прочем оставить им старые порядки, то, при отсутствии различий в правах, люди живут спокойно, как это видно на примере Бретани [14], Бургундии [15], Гаскони [16] и Нормандии [17], которые так давно объединены с Францией; несмотря на известную разницу в языке, обычаи все же схожи и легко могут уживаться друг с другом; завоеватель таких государств, если хочет их удержать, должен позаботиться о двух вещах: первая — это истребить род прежнего правителя, вторая — не трогать ни их законов, ни налогов их; этим путем завоеванное княжество в самое короткое время сливается в одно целое со старым.

Наоборот, при завоевании государств в земле, чужой по языку, обычаям и порядкам, возникают трудности, и для сохранения приобретений надо иметь большое счастье и показать большое умение. Одним из самых действительных и верных средств было бы водворение там на жительство самого завоевателя. Это сделало бы его господство крепче и прочнее. Так поступил турецкий султан с Грецией, и никакими другими мерами не удалось бы ему удержать это государство, если бы он сам там не поселился. Живя на месте, видишь, как зарождаются волнения, и можно действовать быстро. Если же не быть на месте, то о них узнаешь только, когда они разрослись

и помочь больше нельзя. Кроме того, страна не будет разграблена твоими чиновниками, а подданные будут довольны возможностью обращаться прямо к Князю. Поэтому они имеют больше причин любить его, если хотят быть ему верными, и бояться его, если замышляют иное. Тому, кто извне захотел бы напасть на это государство, придется быть осторожнее, так что если жить в стране, то лишиться ее необычайно трудно.

Другое очень хорошее средство — это основать в одном или двух местах военные колонии, которые являются как бы ключом той страны; необходимо или поступить так, или держать там много конных людей и пехоты. Колонии обходятся Князю недорого; он основывает и содержит их без всяких расходов или с очень небольшими и угнетает этим только тех, у кого отнимает поля и дома, чтобы отдать их новым поселенцам, то есть ничтожную часть жителей этого государства; к тому же пострадавшие разрознены и бедны, вредить Князю они никак не могут. Все остальные, с одной стороны, не тронуты и поэтому легко успокоятся, а с другой — они боятся провиниться, опасаясь, как бы с ними не случилось того же, что и с ограбленными. Итак, повторяю, что эти колонии денег не стоят, они надежнее, обид от них меньше, а потерпевшие не могут вредить, потому что, как сказано, они бедны и разбросаны.

Вообще надо усвоить, что людей следует или ласкать, или истреблять, так как они мстят

за легкие обиды, а за тяжелые мстить не могут; поэтому оскорбление, которое наносится человеку, должно быть таково, чтобы уже не бояться его мести.

Если же вместо военных колоний держать в стране войска, то это обходится гораздо дороже, так как охрана поглощает все доходы этого государства; таким образом, приобретенное идет Князю в ущерб и угнетает гораздо больше, потому что все государство страдает от передвижений и постоев княжеского войска; эту тяготу каждый чувствует на себе, и каждый становится врагом Князя, а это враги, которые могут верить, потому что они хоть и повержены, но остаются у себя дома.

Итак, эта охрана во всяком случае настолько же бесполезна, насколько полезно основание колоний.

Тот, кто властвует в чуждой стране, должен, как уже говорилось, стать главой и защитником маленьких соседних князей, всячески постараться ослабить в ней сильных людей и остерегаться, чтобы иод каким-нибудь предлогом в страну не вступил иноземный государь, столь же сильный, как он сам; такого чужеземца всегда призовут недовольные из-за непомерного честолюбия или из страха. Так, известно, что этолийцы призвали римлян в Грецию. Вообще какую бы страну римляне ни занимали, они делали это по призыву туземцев.

Обычный ход вещей таков, что не успеет могущественный иноземец вступить в страну,

как все наименее в ней сильные присоединяются к нему из зависти к тем, кто раньше был сильнее их.

Что касается этих слабейших, то привлечь их на свою сторону не стоит никакого труда, так как все они вместе сейчас же спешат слиться с государством завоевателя. Ему надо только следить, чтобы они не захватили слишком много силы и значения. С их помощью он собственными средствами легко может унизить сильных и остаться полным хозяином страны. Кто не устроит это дело как следует, быстро лишится приобретенных владений, а пока они еще в его руках, ему предстоят бесконечные внутренние трудности и заботы.

Римляне в захваченных ими странах хорошо соблюдали эти правила, основывали военные колонии, покровительствовали менее сильным, не расширяя их власти, унижали сильных и не допускали влияния иноземных государей. Я хочу ограничиться только примером одной страны — Греции. Римляне поддерживали ахейцев и этолийцев, унизили македонское царство[18], выгнали Антиоха[19]. Никогда, однако, заслуги ахейцев или этолийцев не побудили римлян допустить какое бы то ни было расширение этих государств, точно так же никакие уговоры Филиппа не склонили их войти с ним в дружбу, не умаляя его значения, а могущество Антиоха не могло заставить римлян согласиться на то, чтобы он получил в этой стране какое-нибудь владение. Римляне в этих случаях действовали, как должны действовать

все умные правители,— которые обязаны считаться не только с волнениями, уже происходящими, но и с возможными в будущем, предупреждая их самым тщательным образом: ведь легко помочь, когда видишь издалека, но если выжидать, пока события подойдут близко, то давать лекарства будет уже поздно, так как недуг стал неизлечим. Здесь происходит то же, что, по словам врачей, бывает при чахотке, которую вначале легко излечить, но трудно распознать; с течением же времени, если ее сразу не раскрыли и не лечили, болезнь становится легко распознаваемой, но трудно исцелимой. То же бывает и в делах государства: различая издали наступающие беды, что дано, конечно, только мудрому, можно быстро помочь, но если не поняв их во-время, позволить злу разрастись до того, что его узнает всякий, тогда средств больше нет. Поэтому римляне, умевшие предвидеть осложнения заранее, всегда с ними справлялись и никогда не давали им накопляться, лишь бы избежать войны. Они знали, что война не устраняется, а только откладывается к выгоде противника; но той же причине они хотели вести с Филиппом и Антиохом войну в Греции, чтобы не пришлось воевать с ними в Италии; они могли тогда уклониться от той и от другой войны, но не пожелали. Им никогда не нравились слова, которые не сходят с уст мудрецов наших дней,— *„пользоваться благом выигранного времени“*; наоборот, они ожидали этого блага только от своей доблести и предусмотрительности: время

гонит все перед собой и может принести добро, как и зло, зло, как и добро.

Однако вернемся к Франции и посмотрим, приняла ли она хоть одну какую-нибудь меру из всех указанных выше. Я буду говорить о Людовике, а не о Карле [20], потому что он дольше удерживал свои владения в Италии и ход его действий поэтому яснее: вы увидите, как он делал обратное тому, что надо было делать, для удержания чуждого ему государства.

Король Людовик был призван в Италию честолюбием венецианцев, которые хотели благодаря его вторжению захватить половину Ломбардии [21]. Я не собираюсь осуждать это решение короля; раз он стремился утвердиться в Италии, а друзей в этой стране у него не было, и, наоборот, все двери были для него закрыты из-за поведения короля Карла,— Людовик был вынужден брать себе союзников где только мог, и, наверно, задуманное предприятие удалось бы, не наделай король ошибок в других своих мероприятиях. Заняв Ломбардию, король сразу вернул себе значение, потерянное Францией из-за Карла. Генуя сдалась; флорентинцы стали его союзниками, маркиз Мантуанский [22], герцог Феррарский [23], дом Бонтиволио, графиня Форли [24], правители Фаэнцы [25], Пезаро [26], Римини [27], Камерино [28], Пьомбино [29], города Лукка, Пиза, Сиена — все наперерыв предлагали ему свою дружбу. Теперь венецианцы могли наконец увидеть безрассудство принятого ими решения: желая захватить две местности в

Ломбардии, они сделали короля властелином двух третей Италии. Посмотрите же, как легко было королю сохранить свое значение в Италии, если бы он соблюдал установленные выше правила, именно: обеспечил бы защиту и безопасность всем своим союзникам, многочисленным, но слабым; они трепетали — кто перед папой, кто перед венецианцами, и поэтому вынуждены были всегда итти с ним; с такой помощью король легко мог обезопасить себя ото всех, кто еще оставался в силе. Но не успел король вступить в Милан, как он сделал прямо обратное, и помог папе Александру занять Романью. Решаясь на это, он не сообразил, что таким путем ослаблял себя, отталкивая друзей и тех, кто искал у него убежища, и еще больше укреплял церковь, присоединяя к власти духовной, дающей ей столько влияния, еще и такую большую светскую власть. Сделав первую ошибку, король был уже вынужден итти в том же направлении дальше, и в конце концов ему пришлось лично явиться в Италию, чтобы положить предел властолюбию Александра и помешать ему сделаться повелителем Тосканы. Мало того, что король возвысил церковь и сам лишил себя друзей, но, желая приобрести королевство Неаполитанское, он поделил его с королем Испании [30]. До того он был вершителем судеб Италии, а теперь ввел туда соперника, к которому могли обратиться все честолюбцы и недовольные в этой стране; наконец, он мог оставить в Неаполе короля, как своего данника, но он его удалил, чтобы посадить

такого, который был в силах прогнать самого Людовика.

Стремление к завоеваниям — вещь, конечно, очень естественная и обыкновенная; когда люди делают для этого все, что могут, их всегда будут хвалить, а не осуждать; но когда у них нет на это сил, а они хотят завоевывать во что бы то ни стало, то это уже ошибка, которую надо осудить. Поэтому, если Франция с имевшимися у нее силами могла напасть на Неаполь, она должна была это сделать; если она этого не могла, не надо было его делить. И если дележ Ломбардии с венецианцами еще можно извинить, потому что Франция благодаря этому утвердилась в Италии, то раздел Неаполя заслуживает осуждения, так как он не оправдывался такой же необходимостью. Итак, Людовик сделал следующие пять ошибок: он уничтожил малых правителей, увеличил в Италии мощь того, кто был могуч, ввел в нее сильнейшего иностранного государя, не поселился в ней, не основал там военных колоний.

Пока он был жив, даже эти ошибки, быть может, не повредили бы ему, если бы он не сделал шестой — не начал отнимать государство у венецианцев. Дело в том, что было вполне разумно и необходимо их ослабить, если бы он не создал могущества церкви и не призвал в Италию испанцев, но раз он уже сделал то и другое, ему ни в каком случае не следовало допускать развала Венеции. Ведь пока венецианцы были сильны, они всегда удержали бы других от захвата Ломбардии, потому

что согласиться на это они могли бы только сделавшись господами захвативших; никто другой с своей стороны не захотел бы отнимать Ломбардию у Франции, чтобы отдать ее венецианцам, а итти на столкновение с ними двумя ни у кого бы не хватило смелости. И если бы кто-нибудь сказал: король Людовик уступил Романью Александру и Неаполь Испании, чтобы избежать войны, то я, опираясь на уже сказанное выше, отвечу: никогда не следует допускать развиться беспорядку из желания избегнуть войны: она не устраняется и только во вред тебе же откладывается. И если кто-нибудь еще стал бы ссылаться на обещание, данное папе, устроить ему это дело в благодарность за расторжение брака короля и за кардинальскую шапку, пожалованную архиепископу Руанскому, ответом моим будет сказанное дальше о том, что такое слово Князя и как его надо держать. Итак, король Людовик лишился Ломбардии, потому что не считался ни с одним правилом, которым следовали другие люди, покорявшие страны и хотевшие их удержать. В этом нет ничего удивительного,— напротив, все совершенно понятно и обыкновенно.

Об этом предмете я говорил в Нанте с архиепископом Руанским, когда Валентино, как называли в просторечии Цезаря Борджа, сына папы Александра, занимал Романью. Когда кардинал сказал мне, что итальянцы ничего не понимают в военном искусстве, я ответил, что французы ничего не смыслят в государственном деле, потому что если б они в этом раз-

бирались, то никогда бы не допустили такого усиления церкви. Опыт показал, что могущество папы и испанцев в Италии было создано Францией, а сокрушение в Италии французов устроено ими. Отсюда вытекает общее правило, которое никогда или редко оказывается ошибочным: кто помогает могуществу другого, тот погибает, ибо могущество это создано им искусством или силой, а то и другое вызывает подозрительность того, кто могущество приобрел.

ГЛАВА IV

Почему царство Дария[31]*, завоеванное Александром, не восстало против наследников Александра после его смерти*

Если обдумать, как трудно удержать вновь приобретенное государство, можно было бы удивиться тому, что случилось после смерти Александра Великого, ставшего в несколько лет властелином Азии и скончавшегося почти сейчас же после ее завоевания; казалось естественным, что все это государство восстанет; тем не менее преемники Александра удержались там, не встретив при этом иных трудностей, кроме тех, которые из-за собственного их властолюбия создались в их же среде. Я отвечу, что все княжества, память о которых сохранилась, управлялись двояко: или одним Князем, и тогда все остальные только рабы, которые помогают ему управлять государством, как слуги, единственно по его милости и поручению, или Князем и баронами, получающими

это достоинство не по милости господина, а по древности рода. У таких баронов есть собственные владения и подданные, которые признают их господами и питают к ним естественную привязанность. В государствах, управляемых Князем и слугами, власть Князя больше, так как люди во всей стране никого, кроме него, над собой не признают, и если повинуются кому-нибудь еще, то только как слуге Князя, или чиновнику, не чувствуя к нему никакого особого расположения. В наше время примерами этих двух образов правления являются турецкий султан и король Франции[32]. Вся монархия турецкого султана управляется одним владыкой, остальные его рабы; разделив свое царство на санджаки, он посылает туда различных правителей, меняет и смещает их, как ему угодно. Наоборот, король Франции окружен многочисленной родовой знатью, признанной и любимой своими подданными, у нее есть особые права, и король без опасности для себя отнять их не может. Кто поэтому изучит то и другое государство, найдет, что очень трудно покорить царство турецкого султана, но раз оно побеждено, то удерживать его совсем легко. Причины трудности завоевания турецкого царства состоят в том, что нападающий не может призван высокопоставленными в этом царстве людьми, ни рассчитывать облегчить себе дело бунтом приближенных султана. Выше уже было сказано, почему это так. Раз все рабы и обязаны ему, то подкупить их труднее, а если бы это даже и удалось, толку

можно ожидать мало, потому что по указанным причинам такие люди не могут увлечь за собой народ. Значит, нападающему на султана надо приготовиться встретить единую силу, и ему следует больше надеяться на собственные средства, чем на смуты у противника. Но когда тот уже побежден, разбит в бою и не может вновь собрать войска, то опасаться можно разве только рода прежнего властителя; когда он будет уничтожен, некого больше бояться, так как народ другим не доверяет. Если до своего торжества победитель не мог надеяться на подданных султана, то после победы ему совершенно не приходится их страшиться. Обратное происходит в государствах, управляемых, как Франция, потому что ты легко можешь туда вступить, заручившись помощью кого-нибудь из баронов королевства; ведь среди них всегда найдутся люди недовольные и охотники до перемен. Они, по причинам, уже указанным, могут открыть тебе дорогу в эту страну и облегчить победу; но если ты потом захочешь ее закрепить, то пойдут нескончаемые затруднения как с теми, кто тебе помогал, так и с теми, кого ты обидел. Недостаточно будет тебе истребить род Князя: ведь уцелеет та родовая знать, которая будет во главе новых переворотов, и, не имея возможности ни удовлетворить ее, ни уничтожить, ты потеряешь это государство, как только представится случай. Теперь, если вы посмотрите, какова была природа правления в государстве Дария, то найдете, что оно похоже на царство турецкого султана; поэтому Александру необходимо было прежде

всего ударить по всем его силам, окончательно вывести их из строя; но после победы и гибели Дария это государство по причинам, уже рассмотренным выше, спокойно осталось под властью Александра. И преемники его, будь они только в согласии, могли бы наслаждаться властью совершенно беззаботно. В царстве этом не бывало никаких волнений, кроме тех, которые они возбуждали сами. По государствами, устроенными, как Франция, невозможно владеть с такой же беспечностью. Потому и поднимались частые восстания против римлян в Испании, Галлии и Греции, что в этих странах было много княжеств, и пока память о них сохранялась, римляне никогда не были уверены в крепости своего господства; лишь когда воспоминание о них исчезло и установилось могущество и прочность римского владычества, тогда только римляне стали безусловными властителями этих земель. А позднее, когда римляне воевали друг с другом, каждая сторона могла уже опираться на эти провинции, смотря по тому, где она приобрела влияние; в провинциях же вследствие исчезновения рода исконного господина не признавали никого, кроме римлян. Вдумайтесь теперь в эти обстоятельства, и никто не станет удивляться ни той легкости, с которой Александр удерживал власть в Азии, ни тому, как трудно было иным, например Пирру и многим другим, сохранять приобретенное. Произошло это не от большей или меньшей мощи победителя, а от разницы условий в подвластных государствах.

ГЛАВА V

Как надо управлять городами и княжествами, которые до завоевания жили по своим законам

Когда города, приобретенные описанным выше путем, привыкли жить по своим законам и в свободе, то есть три способа их удержать. Первый — это их разрушить, второй — переехать туда и лично в них поселиться, третий — предоставить им попрежнему жить по собственным законам, собирая с них дань и установив правление немногих, которые сохранили бы их за тобой. Дело в том, что раз правительство создано завоевателем, оно знает, что не может существовать без его дружбы и мощи, и должно сделать все, чтобы он удержался. Если хотеть оставить в целости город, привыкший жить свободно, то удержать его легче при помощи его собственных граждан, чем каким-нибудь другим путем. Примером являются спартанцы и римляне. Спартанцы властвовали в Афинах и Фивах, учредив там правление немногих, и тем не менее снова потеряли оба города. Римляне, чтобы удержать Капую [33], Карфаген и Нуманцию [34], разрушили их, и не потеряли. Они хотели владеть Грецией, более или менее по примеру спартанцев, предоставляя ей свободу и собственные законы. Это им не удалось, так что для удержания страны они были вынуждены разрушить в ней много городов, потому что действительно не было другого верного средства владеть этими городами, кроме разрушения. Вообще, кто становится властителем города,

привыкшего жить свободно, и не уничтожает его, должен ждать, что его самого уничтожат, потому что восстание всегда будет оправдано во имя свободы и старых учреждений, которых никогда не забываются ни от течения времени, ни от благодеяний Князя. Поэтому, что бы ни делать и ни предусматривать, если только не разъединить и не рассеять жителей, они не забудут ни имени свободы, ни своих учреждений, но внезапно, при первом удобном случае, вернут их, как сделала Пиза после ста лет рабства у флорентинцев. Напротив, когда города или страны привыкли жить под властью Князя и род его прекратится, то, с одной стороны, все привыкли к повиновению, с другой, не имея исконного государя, не могут сойтись на выборе нового из своей среды, а жить свободными не умеют; поэтому они не торопятся браться за оружие, и какому-нибудь Князю легче склонить их и заручиться их поддержкой. Но в республиках больше жизни, больше ненависти, острее жажда мщения; память о древней свободе не позволяет и не может позволить им успокоиться; так что самое верное средство — это уничтожить их вовсе или самому там поселиться.

ГЛАВА VI

О новых княжествах, приобретаемых своим оружием и собственной доблестью

Пусть не удивляются, если я, собираясь говорить о княжествах совсем новых, о Князе и государстве, буду приводить самые великие

примеры; дело в том, что люди почти всегда ходят по путям, уже проложенным другими, и совершают свои поступки из подражания. Однако, не имея возможности итти во всем по следам другого, ни сравняться в доблести с своими образцами, человек мудрый должен всегда выбирать дороги, испытанные великими людьми, и подражать самым замечательным, так что если он и не достигнет их величия, то воспримет хоть некоторый его отблеск; надо поступать, как опытные стрелки: если цель, в которую они хотят попасть, кажется слишком отдаленной, то, зная предельную силу своего лука, они берут прицел еще гораздо выше намеченной точки, не для того, чтобы пустить свою стрелу на такую высоту, но чтобы именно благодаря высокому прицелу попасть верно. Итак, я скажу, что в совершенно новых княжествах, где является новый Князь, трудность удержаться бывает больше или меньше, смотря по тому, насколько мужествен сам завоеватель. Ведь такое событие, как возвышение простого человека в князья, предполагает или доблесть, или счастье; и то, и другое как будто во многом облегчает борьбу с трудностями. Однако крепче держался тот, кто меньше полагался на счастье. Дело еще облегчается, если Князь, не имея других владений, вынужден сам поселиться в новом государстве. Обращаясь теперь к людям, ставшим властителями силою своей доблести, а не игрой счастья, я скажу, что самые замечательные — это Моисей, Кир, Ромул, Тезей и им подобные. Хоть и не подобает

рассуждать о Моисее, который был только исполнителем дел, порученных ему богом, все же должно поклоняться, хотя бы ради той благодати, которая делала его достойным говорить с господом. Но глядя на Кира и других, кто завоевывал или основывал царства, вы найдете, что всем им надо удивляться; и если рассмотреть их дела и учреждения, то окажется, что они не отличаются от дел Моисея, имевшего столь великого наставника. Изучая их жизнь и деяния, видишь, что они не обязаны судьбе ничем другим, кроме представившегося случая. Он дал материал, которому они могли сообщить форму, какую нашли годной. Без этого случая их духовная мощь пропала бы даром, а не будь этой мощи, случай представился бы напрасно. Необходимо было Моисею найти народ израильский в Египте рабом и угнетенным египтянами, чтобы ради избавления от неволи люди решились за ним следовать. Надо было Ромулу не найти себе места в Альбе и быть брошенным при рождении, чтобы стать царем Рима и основателем этого государства. Неизбежно было Киру застать персов озлобленными властью мидян, а самих мидян ослабевшими и изнеженными от долгого мира. Не мог бы Тезей проявить свою доблесть, если бы афиняне не были рассеяны. Итак, случай привел этих людей к успеху, а высокая доблесть позволила им постигнуть все значение этого случая. Так прославилось и достигло величайшего процветания их отечество. Люди, подобные названным, которые становятся князьями собственной си-

лой, добиваются власти с трудом, но удерживают ее легко. Самые трудности, с какими они добиваются власти, происходят отчасти из-за новых учреждений и порядков, которые они вынуждены вводить, чтобы основать свое государство и обеспечить себе безопасность. При этом надо иметь в виду, что нет дела более трудного по замыслу, более сомнительного по успеху, более опасного при осуществлении, чем вводить новые учреждения. Ведь при этом врагами преобразователя будут все, кому выгоден прежний порядок, и он найдет лишь прохладных защитников во всех, кому могло бы стать хорошо при новом строе. Вялость эта происходит частью от страха перед врагами, имеющими на своей стороне закон, частью же — от свойственного людям неверия, так как они не верят в новое дело, пока не увидят, что образовался уже прочный опыт. Отсюда получается, что каждый раз, когда противникам нового строя представляется случай выступить, они делают это со всей страстностью вражеской партии, а другие защищаются слабо, так что Князю с ними становится опасно. Все же, если хотите правильно рассуждать об этом предмете, необходимо различать, могут ли такие преобразователи держаться собственной силой или они зависят от других, то есть надо ли им для исполнения своей задачи просить или же они могут принуждать. В первом случае им всегда приходится плохо, и ничего из их дела не выходит, но если они зависят только от себя и могут заставлять других, то редко попадают

в очень опасное положение. Вот почему все вооруженные пророки победили, а безоружные погибли. Ко всему сказанному надо прибавить, что народ по природе своей непостоянен, легко убедить его в чем-нибудь, но трудно утвердить в этом убеждении. Поэтому нужно поставить дело так, что, когда люди больше не верят, можно было бы заставить их верить силой. Моисей, Кир, Тезей и Ромул не были бы в состоянии надолго обеспечить повиновение установленному ими строю, будь они безоружны, как это случилось в наше время с братом Джироламо Савонарола [35], который погиб с своими новыми учреждениями, как только толпа начала терять веру в него, а у него не было средств удержать веривших в него раньше, ни заставить уверовать неверующих. Итак, людям этого рода вообще приходится бороться с огромными трудностями, на пути им грозят всевозможные опасности, и надо пробиться силой своей воли, но раз они уже победили и начинают делаться предметом поклонения, то, избавившись от высокопоставленных людей, которые им завидовали, они остаются в обладании власти, уверенные, почитаемые и счастливые. К этим высоким примерам я хочу прибавить пример менее значительный, но все же до известной степени им соответствующий, которым я и полагаю ограничиться для всех подобных случаев. Это — пример Гиерона Сиракузского [36]. Он из частного человека стал властителем Сиракуз, причем и ему счастье только указало подходящий случай. Дело в том,

что теснимые сиракузцы избрали его своим полководцем, а по заслугам своим он был затем возведен ими в правители. Еще в частной жизни он выделился такой доблестью, что, по словам писавшего о нем, только царства недоставало ему, чтобы стать царем. Он истребил старое войско и образовал новое, уничтожил прежние союзы и заключил новые, а затем, располагая собственными союзниками и войсками, он мог на этой основе строить любое здание; таким образом, приобретение власти стоило ему очень больших усилий, а удержал он ее легко.

ГЛАВА VII

О новых княжествах, приобретаемых чужим оружием и милостью судьбы

Люди, которые из частной жизни, единственно по милости судьбы, становятся князьями, возвышаются легко, но держатся у власти лишь с большими усилиями. В пути для них нет трудностей, они точно летят, но все препятствия появляются, когда они уже дошли до цели. Таковы те, кому государство досталось за деньги или по воле уступивших. Это случилось со многими в Греции, в городах Ионии и на берегах Геллеспонта, где Дарий насажал князей с тем, чтобы они правили для его безопасности и славы; так же было с теми императорами, которые из простых граждан попали на престол и добились власти подкупом солдат. Такие люди существуют единственно произволом и счастьем других, давших им

власть, а это две самые колеблющиеся и непрочные опоры; сами они удержать свое положение не умеют и не могут. Не умеют потому, что если не быть великим человеком по уму и по воле, непостижимо, как они могут повелевать, когда всегда жили частной жизнью; не могут потому, что у них нет войск, которые были бы им преданы и верны. Кроме того, государства, образующиеся внезапно, как все другие создания природы, которые сразу появляются и развиваются, не могут иметь таких корней и опор, чтобы их не унесла первая буря, разве только, как уже сказано, люди, неожиданно ставшие властителями, настолько искусны, что умеют сейчас же приготовиться сохранить дарованное им судьбой и позже заложить те основы, которые другие заложили, еще не сделавшись князьями. Я хочу по поводу того и другого способа стать властителем, т. е. собственной силой или милостью судьбы, привести два примера, живые в нашей памяти: это — Франческо Сфорца и Цезарь Борджа. Франческо достойными средствами и благодаря высокому мужеству стал из простого гражданина герцогом Миланским, и то, что он приобрел ценою бесконечных трудов, он сохранил без особых усилий. С другой стороны, Цезарь Борджа, обычно называемый герцогом Валентино, получил государство благодаря счастью своего отца и потерял его, как только этому счастью пришел конец, несмотря на то, что он пользовался всеми средствами и сделал все, что должен был сделать разумный и сильный человек, чтобы

пустить корни в государствах, доставшихся ему благодаря чужому оружию и счастью других. Ведь, как я уже говорил выше, кто не закладывает основы власти с самого начала, тот, при большом искусстве, мог бы сделать это потом, хотя для зодчего это уже затруднительно, а для здания опасно. Итак, если рассматривать все действия герцога, то окажется, что он заложил глубокие основы своего будущего могущества, и я считаю нелишним говорить об этом, так как не мог бы предложить новому Князю лучшее поучение, чем пример его дел. Если мероприятия герцога не помогли ему, это не его вина, а последствие необычайной и крайней враждебности судьбы.

Александр VI хотел возвысить герцога, своего сына, но встретил в этом отношении большое препятствие как сразу, так и в дальнейшем. Во-первых, он не видел способа поставить его во главе какого бы то ни было государства, не принадлежащего церкви; желая взять такое государство в церковных владениях, он знал, что герцог Миланский и венецианцы на это не согласятся, так как Фаэнца и Римини уже находились под покровительством венецианцев. Кроме того, он видел, что вооруженные силы Италии, и особенно те, какими он мог бы воспользоваться, находятся в руках людей, которые должны были опасаться возвышения папы; следовательно, он не мог на них положиться, раз все они были во власти Орсини, Колонна и их сторонников. Поэтому необходимо было расшатать весь этот порядок и вызвать смуты

в итальянских государствах, чтобы получить возможность безопасно захватить часть их. Это удалось ему легко, так как оказалось, что венецианцы по другим причинам уже решили снова вызвать французов в Италию. Папа не только не противоречил, но еще облегчил им это расторжением первого брака короля Людовика. Таким образом, король вступил в Италию с помощью венецианцев и с согласия Александра; не успел он войти в Милан, как папа получил от него людей для похода в Романью, которая и была уступлена папе из-за высокого имени короля. Овладев Романьей и разгромив сторонников Колонна, герцог хотел утвердить ее за собой и продвинуться дальше, но встретил два препятствия. Одно заключалось в его собственных войсках, казавшихся ненадежными, другим была воля Франции; герцог боялся, что войска Орсини, которыми он воспользовался, могут изменить и не только помешать дальнейшим завоеваниям, но отнять уже взятое, и боялся, что король с своей стороны поступит с ним так же. С Орсини у герцога уже был опыт, когда после взятия Фаэнцы он двинулся на Болонью и убедился, что они идут в бой довольно холодно. Намерения короля он узнал, когда после захвата герцогства Урбино напал на Тоскану, и король заставил его от этого предприятия отказаться. Поэтому герцог решил не ставить себя больше в зависимость от чужого оружия и счастья. Прежде всего он ослабил партию Орсини и Колонна в Риме, переманив к себе всех их сторонников-дворян, принимая их в

свою свиту, жалуя им большие денежные подарки, раздавая, смотря по способностям, места в войске и управлении, так что в несколько месяцев у них исчезла привязанность к прежней партии и все повернулось к герцогу. Затем герцог стал выжидать случая истребить главных представителей рода Орсини, как он уже рассеял главарей рода Колонна; подходящий случай представился, а воспользовался он им еще удачнее. Дело в том, что когда Орсини несколько поздно догадались, что возвышение герцога и церкви означает их гибель, они собрали съезд в Маджоне, в Перуджии. Отсюда произошло восстание в Урбино, волнения в Романье и бесконечный ряд опасностей для герцога, преодоленных им с помощью французов. Восстановив свое значение, не доверяя ни Франции, ни другой внешней силе и не желая подвергаться новым испытаниям, он пошел на обман и сумел настолько скрыть свои намерения, что Орсини примирились с ним через посредство синьора Паоло, которого герцог не преминул привлечь к себе всяческими любезностями, даря ему одежды, деньги и лошадей. Так они, по своей простоте, и попались в Синигалии в руки герцога. Истребив вождей и превратив их сторонников в своих друзей, герцог подготовил для своего могущества очень крепкие основы, владея всей Романьей вместе с герцогством Урбино: казалось, что к нему особенно привязана Романья и что он приобрел расположение всех ее жителей, которые впервые почувствовали некоторое благополучие. Так как

эта сторона дела достойна упоминания и подражания со стороны других, то я не хочу ее обойти. Когда герцог занял Романью, он нашел страну в руках ничтожных правителей, которые больше грабили своих подданных, чем заботились о них, и скорее давали им поводы к раздорам, чем к единению, так что весь этот край изнемогал от грабежей, разбоев и всяких других насилий. Герцог признал, что если хотеть умиротворить страну и сделать ее послушной герцогской власти, необходимо дать ей хорошее управление. Поэтому он поставил во главе области мессера Рамиро д'Орко [37], человека жестокого и решительного, дав ему полнейшую власть. Тот в короткое время водворил мир и согласие, что дало ему широкую известность. Тогда герцог решил, что эта чрезвычайная власть больше не нужна, так как боялся, что она может стать ненавистной. Он учредил в центре провинции гражданский суд, с превосходным председателем, и каждый город имел в этом суде своего защитника. Далее: так как герцог сознавал, что прежнее крутое управление вызвало известную ненависть, то он, чтобы успокоить чувства народа и вполне привлечь его к себе, захотел показать, что если и были какие-нибудь жестокости, то они исходили не от него, а от беспощадности наместника. Воспользовавшись для этого подходящим случаем, герцог велел однажды утром выставить на площади Чезены тело Рамиро, разрубленное пополам около плахи с окровавленным ножом. Ужас этого зрелища одновременно и удовле-

творил народ и привел его в оцепенение. Вернемся, однако, к тому, с чего мы начали. Я говорю, что, когда герцог стал очень могущественным, он отчасти оградил себя с помощью собственного войска от ближайших опасностей и в значительной мере уничтожил войска соседей, которые могли ему навредить. В дальнейших завоеваниях ему приходилось считаться только еще с королем Франции. Ибо он знал, что король, поздно заметивший свою ошибку, не станет его терпеть. Поэтому герцог стал искать новых союзников и осторожно отдаляться от Франции во время похода французов на королевство Неаполитанское против испанцев, осаждавших Гаэту [38]. Он намеревался обеспечить себе помощь последних, и это очень скоро бы ему удалось, если бы Александр был жив. Так поступал он в условиях настоящего хода дел. Что касается будущего, он прежде всего мог предвидеть, что новый глава церкви окажется ему враждебен и постарается отнять у него все полученное от Александра. Герцог думал действовать четырьмя способами. Во-первых, истребить весь род свергнутых им властителей, чтобы отнять у папы этот повод к вмешательству. Во-вторых, привлечь на свою сторону, как уже говорилось, всех дворян в Риме, чтобы с их помощью держать папу в узде. В-третьих, насколько возможно, расположить к себе коллегию кардиналов. В-четвертых, приобрести еще до смерти папы такую власть, чтобы быть в состоянии собственными силами устоять против первого натиска. Из этих четырех целей он ко

времени смерти Александра достиг трех и почти дошел до четвертой. В самом деле, из свергнутых им князей он уничтожил всех, до кого только мог добраться; спаслась лишь ничтожная их часть. Дворян в Риме он переманил. В коллегии кардиналов очень многие были за него. Что же касается новых приобретений, то герцог намеревался стать хозяином Тосканы, уже владел Перуджей и Пьомбино, принял под свое покровительство Пизу. И так как ему совсем уже не надо было считаться с Францией (он и не имел больше нужды в этом, потому что французы были выгнаны из Неаполитанского королевства испанцами, и каждой стороне приходилось искать его дружбы), то он и собирался броситься на Пизу. При успехе Лукка и Сиена немедленно сдавались, отчасти из ненависти к флорентинцам, отчасти из страха, а флорентинцы становились беспомощными. Если бы ему все это удалось (а оно уже удавалось в самый год смерти Александра), то герцог приобретал такую силу и такой вес, что мог бы держаться собственными средствами, не зависел больше от судьбы и сил кого-нибудь другого, а единственно от собственного могущества и мужества. Но когда Александр умер, прошло только пять лет, как герцог впервые обнажил шпагу. Папа оставил герцога с одним только прочно устроенным государством — Романьей, с колеблющейся властью во всех других, между двух сильнейших вражеских войск и смертельно больного. Однако в герцоге было столько отваги и воли, он так хорошо понимал,

как надо привлекать или губить людей, основы его власти, заложенные в столь краткий срок, были так крепки, что, не сиди у него на шее эти войска или будь он здоров, он одолел бы все трудности. Что основы его власти были тверды, видно из того, что Романья ждала его больше месяца; в Риме он, полуживой, был все же в безопасности, и хотя туда приехали Бальони, Вителли и Орсини, никто за ними против герцога не пошел. Он мог если не провести в папы кого хотел, то, по крайней мере, помешать сделаться папой тому, кого он не хотел. Если бы смерть Александра застала герцога здоровым, все было бы ему легко. Еще в дни избрания Юлия II герцог говорил мне, что он обдумал все, что могло произойти при кончине отца, ото всего нашел средство, не подумал лишь об одном: что когда отец будет умирать, он окажется при смерти сам. Подводя итог всем делам герцога, я не мог бы упрекнуть его ни в чем; наоборот, мне кажется, что его можно — как я это сделал — поставить в пример всем, кто достиг власти милостью судьбы с помощью чужого оружия. С его гордой душой и высокими замыслами, он не мог управлять иначе, и осуществлению его намерений помешала только краткость жизни Александра и его собственная болезнь. Поэтому, кто в своем новом княжестве считает необходимым оградить себя от врагов, заручиться друзьями, побеждать силой и обманом, внушить народу любовь и страх, солдатам преданность и почтение, истребить тех, кто может или должен тебе вредить,

перестраивать по-новому старые учреждения, быть суровым и милостивым, великодушным и щедрым, уничтожить ненадежное войско, создать новое, поддерживать дружбу к себе королей и князей, так чтобы им приходилось с удовольствием делать тебе добро и бояться тебя задеть,— тот не сможет найти более живой образец, чем дела этого человека. Единственное, в чем можно его упрекнуть,— это в избрании папой Юлия II, когда он сделал плохой выбор; ведь если герцог, как сказано, и не мог провести в папы кого-нибудь своего, то он мог всякому помешать стать папой, и он ни за что не должен был соглашаться на избрание кардинала, которого он оскорбил, или того, кто, сделавшись папой, имел бы основания его бояться. Люди ведь оскорбляют из страха или из ненависти. Среди оскорбленных герцогом кардиналов были между прочим Сан Пьетро ин Винкула, Колонна, Сан Джорджо, Асканио. Все другие, взойдя на папский престол, должны были его бояться, кроме кардинала Руанского и испанских кардиналов. Последним помогали родственные связи и взаимные обязательства, а первому его могущество, так как за ним стояло Французское королевство. Следовательно, герцог, скорее всего, должен был сделать папой испанца, а если это было возможно, то согласиться на архиепископа Руанского, но не на Сан Пьетро ин Винкула. Тот заблуждается, кто думает, что сильные мира ради недавних услуг забудут старые обиды. Итак, герцог сделал на этом выборе ошибку, которая в конце концов привела его к гибели [39].

ГЛАВА VIII

О тех, кто добывает княжества злодеянием

Однако есть еще два средства, при помощи которых простой гражданин может сделаться Князем; их нельзя целиком приписать ни счастью, ни собственной силе, и мне кажется, что не надо о них умалчивать, хотя одно из этих средств лучше обсуждать подробнее, когда говорится о республиках. Они состоят или в том, что княжество приобретается путями преступными и беззаконными, или в том, что простой человек, благодаря расположению к нему других его сограждан, становится Князем своего государства. Говоря о первом средстве, я приведу два примера: один древний, другой современный, не вдаваясь в обсуждение, насколько достойно так поступать, ибо достаточно, как мне кажется, подражать им, если это будет для кого-нибудь необходимо. Сицилианец Агафокл[40] сделался царем Сиракуз, выйдя не только из людей, но из самого низкого и презренного состояния. Он был сын горшечника и на всех ступенях своего жизненного пути вел себя злодеем. Тем не менее он соединял с своими преступлениями такую силу души и тела, что, поступив в войско и пройдя все служебные степени, он сделался претором Сиракуз. Получив эту должность, он задумал стать Князем и, не обязываясь перед другими, удерживать одним насилием власть, уже данную ему с общего согласия. Сговорившись для этого с Гамилькаром[41] карфагенским, который воевал с своим войском

в Сицилии, Агафокл однажды утром собрал народ и сенат Сиракуз, как будто имея в виду обсудить некоторые касающиеся республики дела, и по данному знаку велел своим солдатам перебить всех сенаторов и самых богатых людей из народа; когда их, таким образом, не стало, он захватил и удержал господство над этим городом без всякого сопротивления граждан. Хотя он был два раза разбит карфагенянами и в конце концов осажден, однако смог не только защитить свой город, но, оставив часть своих людей для обороны, бросился с другой частью на Африку, в короткое время освободил Сиракузы от осады и довел карфагенян до последней крайности, так что они были вынуждены пойти с ним на договор, удовлетвориться обладанием Африкой и оставить Агафоклу Сицилию. Кто станет разбирать жизнь и заслуги Агафокла, не найдет ничего или очень мало, что можно приписать счастью, ибо, как сказано, не чьей-либо милостью, а повышениями на военной службе, добытыми с бесконечными трудностями и опасностями, достиг Агафокл власти и затем удержал ее, принимая такие смелые и отчаянные решения. Нельзя также объявлять заслугой убийство своих сограждан, измену друзьям, отсутствие верности, жалости, религии; таким путем можно добиться власти, а не славы. Но если посмотреть, с какой отвагой Агафокл встречал и побеждал опасности, с какой силою духа он выносил и преодолевал неудачи, то непонятно, почему его надо считать ниже любого самого блестящего полководца.

Однако его ужасающая жестокость и бесчеловечность не позволяют славить его как одного из замечательных людей. Итак, нельзя приписать счастью или добродетели то, что Агафокл достиг, не имея ни того, ни другого.

В наше время, в правление Александра VI, Оливеротто да Фермо, оставшийся много лет тому назад малолетним сиротой, был воспитан дядей со стороны матери, Джованни Фолиани, и в ранней юности отдан в военную службу под начальство Паоло Вителли, чтобы, в совершенстве изучив это искусство, он мог дойти до каких-нибудь больших военных степеней. Затем, после смерти Паоло, он служил под начальством его брата Вителлоццо и в самое короткое время, благодаря своей одаренности, телесной силе и храбрости, стал у себя в отряде первым человеком. Но служить другим казалось ему унизительным, и он задумал овладеть Фермо при поддержке Вителлоццо и с помощью некоторых граждан города, которым рабство отечества было милее его свободы. Тогда он написал Джованни Фолиани, что после многих лет, прожитых вне дома, он хочет приехать повидаться, посмотреть свой родной город и поглядеть на отцовское наследие. Так как он трудился только ради чести, то, желая показать своим согражданам, что время у него зря не пропало, он хочет явиться торжественно, в сопровождении ста всадников — своих друзей и слуг; поэтому он просит дядю сделать ему удовольствие и устроить, чтобы жители Фермо приняли его с почетом, что будет честью не

только для него, но и для самого Джованни, его воспитателя. Джованни не упустил ни одной услуги, чтобы отдать племяннику должное, устроил ему торжественный прием населением Фермо и поселил его в своем доме; Оливеротто, через несколько дней, когда все необходимое для предстоящего злодейства было готово, задал роскошный пир, на который пригласил Джованни и всех первых людей в Фермо. По окончании пира и обычных в таких случаях увеселений, Оливеротто нарочно начал серьезную беседу, говоря о папе Александре и сыне его Цезаре, об их величии и предприятиях. Когда Джованни и другие стали отвечать на его рассуждения, Оливеротто вдруг встал, говоря, что о таких вещах надо беседовать в более укрытом месте; он вышел в другую комнату, куда за ним последовали Джованни и остальные гости. Но едва они собрались сесть, как из засады выскочили спрятанные солдаты и тут же уложили Джованни и всех остальных. После этой бойни Оливеротто сел на лошадь, проехал весь город и осадил высшие власти во дворце; они от страха были принуждены ему подчиниться и образовать правительство, главою которого он стал. Все, кто был недоволен и мог вредить ему, были убиты, и он поэтому настолько укрепился, вводя новые военные и гражданские учреждения, что в течение одного года своего правления не только был в безопасности в городе Фермо, но стал угрозой для всех своих соседей; взять его было бы так же трудно, как и Агафокла, если бы он не дал Цезарю

Борджа обмануть себя, когда тот в Синигалии, как уже сказано, схватил Орсини и Вителли; тогда же — через год после совершенного им отцеубийства — был взят и Оливеротто и удавлен вместе с Вителлоццо, своим учителем в военном искусстве и злодеяниях. Можно спросить себя, как случилось, что Агафокл или другой подобный ему, после своих бесчисленных предательств и жестокостей, мог долго и спокойно жить у себя на родине, защищаться от внешних врагов, и никогда против него согражданами не устраивалось заговоров; в то же время многие другие, при всей их свирепости, никогда не могли удержать власти даже в мирное время, не говоря уже о смутной поре войны. Думаю, что это зависит от того, как применена жестокость — дурно или хорошо. Хорошо примененными жестокостями (если только позволено сказать о дурном, что оно хорошо) можно назвать такие, которые совершаются только один раз из-за необходимости себя обезопасить, после чего в них не упорствуют, но извлекают из них всю возможную пользу для подданных. Они применены дурно, если вначале редки, а с течением времени все разрастаются, вместо того, чтобы кончиться[42]. Кто идет первым путем, тот с помощью бога и людей может еще найти средство спасти свое положение, как это было с Агафоклом. Другим же удержаться немыслимо. Поэтому надо хорошо помнить, что, овладевая государством, захватчик должен обдумать все неизбежные жестокости и совершить их сразу, чтобы не пришлось ка-

ждый день повторять их и можно было, не прибегая к ним вновь, успокоить людей и привлечь к себе благодеяниями. Кто поступает иначе по робости или под влиянием дурного совета, тот вынужден постоянно держать в руке нож; никогда не может он положиться на своих подданных, они же из-за постоянных и все новых притеснений никогда не могут чувствовать себя в безопасности. Дело в том, что обиды следует наносить разом, потому что тогда меньше чувствуешь их в отдельности, и поэтому они меньше озлобляют; напротив, благодеяния надо делать понемногу, чтобы они лучше запечатлелись. Но властитель — и это самое важное — должен уметь жить со своими подданными так, чтобы никакие случайные обстоятельства — несчастные или счастливые — не заставляли его меняться. Ведь если такая необходимость настанет в дни неудач, то зло уже будет не ко времени, а добро твое окажется бесполезным, потому что его сочтут сделанным поневоле, и не будет тебе за него никакой благодарности.

ГЛАВА IX

О княжестве гражданском

Перейду теперь ко второму случаю, когда видный гражданин становится Князем своего государства не злодейством или иным нестерпимым насилием, а благодаря расположению к нему других его сограждан; это можно назвать гражданским княжеством. Приобретается оно не

одной только собственной силой и не одной милостью судьбы, но для этого скорее нужна удавшаяся хитрость; я нахожу, что эту власть приобретают благодаря расположению народа или знати. Народ и знать есть в каждом городе, и чувства их всегда различны, а происходит это оттого, что народ не хочет, чтобы знатные им распоряжались и угнетали его, а знатные хотят распоряжаться и угнетать народ; эти два разных стремления приводят в городе к одному из трех последствий: к единовластью, свободе или произволу одной какой-нибудь партии.

Единовластие учреждается народом или знатью, смотря по тому, какая сторона найдет для этого случай; если знатные видят, что не могут противиться народу, они начинают окружать всевозможным почетом кого-нибудь из своих и делают его Князем, чтобы под сенью его власти можно было дать волю своим вожделениям. Так же и народ, убедившись, что не в силах бороться со знатью, возвышает кого-нибудь одного и делает его Князем, чтобы найти в нем себе защиту. Князю, получившему власть с помощью знати, труднее держаться, чем тому, кто добился ее с помощью народа, так как он является властителем, окруженным многими, считающими себя равными ему, и поэтому не может ни приказывать, ни действовать по-своему. Тот же, кто приходит к власти благодаря расположению народа, оказывается один, и около него нет никого или лишь очень мало людей, не желающих повиноваться. Кроме того, нельзя добросовестно удовлетворить знатных, не

обижая других, а народ можно,— потому что цели у народа более правые, чем у знати. Она хочет угнетать, а народ — не быть угнетенным. Далее — Князь никогда не может обезопасить себя от враждебного народа: его слишком много, но оградить себя от знати он может, так как ее мало. Худшее, чего Князь может ждать от враждебного ему народа,— это быть им покинутым; имея врагами знатных, ему надо опасаться не только, что они его бросят, но что они выступят против него; так как они дальновиднее и хитрее, то всегда находят возможность вовремя спастись и стараются заручиться благосклонностью ожидаемого победителя. Наконец, Князю приходится жить всегда с тем же народом, но он может прекрасно обойтись без одних и тех же знатных, потому что волен каждый день жаловать и лишать знатности, возвышать или низводить их как ему угодно. Чтобы лучше это объяснить, я скажу, что знатных надо судить главным образом по двум признакам: или они показывают на деле, что всецело связывают себя с твоей судьбой, или нет. Тех, кто вверяется тебе безусловно, если только они не грабители, следует почитать и любить; что касается тех, кто к тебе не примыкает, то здесь надо различать два случая: или они поступают так по трусости и природному малодушию,— тогда пользуйся ими, особенно теми, кто годится в советники, потому что в счастии они принесут тебе честь, а в несчастии тебе нечего их бояться. Но если тебя сторонятся намеренно, из честолюбия,— это знак, что люди думают больше о

себе, чем о тебе; таких людей Князь должен беречься и бояться их не меньше, чем открытых врагов, потому что при неудаче они всегда помогут его сгубить. Таким образом, Князь, возвысившийся благодаря расположению народа, должен сохранить его приязнь; это будет ему легко, так как народ просит только об одном,— чтобы его не угнетали. Но если кто стал Князем вопреки народу и по милости знати, он должен прежде всего постараться привлечь народ на свою сторону, что легко удастся, если он возьмет народ под свою защиту. Ведь, когда люди видят добро от человека, от которого ждали только зла, они тем более признательны своему благодетелю; поэтому и народ сейчас же привязывается к такому Князю больше, чем если б он был вознесен к власти народным распоряжением. Князь может привлечь народ разными путями, но так как они меняются в зависимости от обстоятельств, то здесь нельзя дать твердых правил, и поэтому я говорить о них не буду. В заключение скажу только, что Князю необходимо жить с народом в дружбе, иначе у него в несчастии нет спасения. Набид, спартанский царь, выдержал натиск всей Греции и победоносного римского войска, защитил против них свою родину и государство: когда опасность подошла близко, ему пришлось схватить только очень немногих. Будь народ ему врагом, этого оказалось бы мало. Пусть никто не опровергает это мое мнение заезженной поговоркой: „Кто народу верит, на болоте строит“. Это верно о частном человеке, который понадеется

на такую поддержку и вообразит себе, что народ освободит его от преследования врагов или властей. В этом случае ему пришлось бы разочароваться, как Гракхам в Риме и мессеру Джорджо Скали[13] во Флоренции. Но если на эту силу опирается Князь, который может повелевать, если он человек мужественный, не пугающийся неудач, если он не упустит других мер защиты а воодушевит всех своей храбростью и распоряжениями, то народ его никогда не обманет, и ему станет ясно, что основа власти заложена им крепко. Те правительства обыкновенно попадают в опасное положение, которые хотят сразу перейти от гражданского строя к неограниченной власти; эти князья ведь распоряжаются либо сами, либо через городские власти. В последнем случае их положение слабее и опаснее, так как они во всем зависят от воли граждан, поставленных на высшие должности; те же, особенно в трудные времена, могут легко отнять у Князя власть, действуя против него или просто не повинуясь ему. Самому же Князю в минуту опасности не время захватывать неограниченное господство, потому что граждане и подданные, привыкшие получать распоряжения от высших городских властей, не станут в такую тяжкую пору слушаться его приказания, и во времена смутные он всегда будет чувствовать недостаток в людях, на которых может положиться. Дело в том, что такому Князю нельзя основываться на том, что он видит во времена мирные, когда граждане нуждаются в государстве; тогда каждый суетится,

обещает и хочет за него умереть, пока смерть далека; но в минуту неудачи, когда государство нуждается в гражданах, на помощь ему приходят только немногие.

Этот опыт тем опаснее, что его можно проделать только один раз. Поэтому умный Князь должен измыслить такой порядок, при котором его сограждане во все времена при всех обстоятельствах будут нуждаться в государстве и в нем самом: тогда они всегда будут ему верны.

ГЛАВА X

Как измерять силы каждого княжества

Изучая свойства всех этих княжеств, надо иметь в виду еще одно соображение: именно, владеет ли Князь таким государством, что может, если понадобится, держаться собственными силами, или ему всегда необходима чужая защита. Чтобы лучше выяснить эту сторону дела, я скажу, что, по-моему, могут держаться сами те, кто благодаря обилию людей или денег способен выставить достаточное войско и дать бой всякому, кто на них нападет. В чужой защите, по-моему, всегда нуждаются те, кто не может сразиться, в открытом поле с неприятелем, а вынужден искать убежища за стенами и там защищаться. О первом случае уже говорилось, и дальше мы еще скажем, что нужно. Все, что можно сказать о втором случае, это — убеждать таких князей для спасения своего укреплять и снабжать всем главный город, а на остальную страну не обра-

шать никакого внимания. Если сильно укрепить свой город, а в других отношениях поступать с подданными, как я сказал и еще скажу дальше, то нападать на такого Князя будут только с большой оглядкой: ведь люди — всегда враги предприятий, связанных с трудностями, а нельзя считать легким делом нападение на Князя, когда город его хорошо укреплен и народ его не ненавидит. Города Германии самые свободные, округа их невелики, они повинуются императору, насколько сами этого хотят, и не боятся ни его, ни других могущественных соседей: ведь они так укреплены, что каждый считает взятие их делом хлопотливым и трудным. Все они окружены рвами, обнесены крепкими стенами, в изобилии снабжены пушками, а в общественных складах всегда есть на год пищи, напитков и топлива. Кроме того, чтобы иметь возможность кормить простой народ без ущерба для городской казны, у них всегда имеется общественный запас сырья для обеспечения на целый год работы народу в промыслах, занятие которыми является жизненной основой данного города и источником существования простого народа. Наконец, у них в почете военные упражнения и издано много законов о военном деле[44]. Таким образом, Князь, владеющий сильно укрепленным городом и не внушивший ненависти к себе, не может подвергнуться нападению; если бы это случилось, нападающему придется со срамом убраться, ибо дела этого мира так изменчивы, что невозможно никому целый год праздно стоять с вой-

ском, осаждая город. Скажут, что если имущество народа находится за стенами и он увидит его в окне, то у него не хватит терпенья, что долгая осада и забота о своих делах заставит его забыть о Князе. На это я отвечу, что сильный и мужественный Князь всегда преодолеет эти трудности, обнадеживая подданных, что беда эта не надолго, или пугая их жестокостью врага, или осторожно захватив тех, кто покажется ему слишком беспокойным. Кроме того, неприятель, понятно, будет жечь и грабить страну при самом вступлении в нее, т. е. когда умы населения еще горячи и готовы к защите; Князь тем менее должен тревожиться, что через несколько дней, когда люди остынут, вред уже будет нанесен, зло причинено и помочь больше нельзя. Тогда жители еще теснее сплотятся вокруг своего Князя, считая, что он им обязан, так как дома их сожжены, а владения разорены ради его защиты. В природе человека чувствовать себя обязанным и за добро, которое делает он сам, и за то, какое делается ему. Таким образом, если обдумать все как следует, то умному Князю будет не трудно поддержать дух своих сограждан и в начале и во все время осады, если будет у них чем жить и защищаться.

ГЛАВА XI

О княжествах церковных[45]

Остается теперь рассмотреть еще только княжества церковные, где все трудности наступают

до овладения ими; дело в том, что приобретаются они доблестью или милостью судьбы, а чтобы удержать их, не нужно ни того, ни другого; ведь они опираются на старинные, созданные верою учреждения, настолько мощные и наделенные такими свойствами, что поддерживают власть князей, как бы те ни жили и ни поступали. Только эти князья владеют государствами, не защищая их, и подданными, не управляя ими; государства, хоть и остаются без защиты, у них не отнимаются, а подданные, хоть ими не управляют, об этом не тревожатся, не помышляют, да и не могут от них отпасть. Таким образом, только этим княжествам обеспечены безопасность и счастье. Но так как ими управляет высшая сила, непостижимая человеческому уму, то я отказываюсь о них говорить; они возвеличены и хранимы богом, и было бы поступком человека самонадеянного и дерзкого о них рассуждать. Но все же кто-нибудь может меня спросить, как случилось, что церковь достигла такой степени мирского величия, тогда как до папы Александра итальянские властители, притом не только те, которые хвалились своим могуществом, но любой самый маленький барон и правитель, мало считались с ней в светских делах; теперь же перед ней дрожит король Франции, и церковь смогла вытеснить его из Италии и сокрушить венецианцев; если события эти были бы даже хорошо известны, мне кажется нелишним напомнить главнейшие из них. До появления в Италии Карла, короля французского, страна на-

ходилась под властью папы, венецианцев, короля неаполитанского, герцога миланского и флорентинцев. Этим державам приходилось больше всего заботиться о двух вещах: во-первых, чтобы какой-нибудь чужеземец не вступил в Италию с войском; во-вторых, чтобы никто из них самих не захватывал новых государств. Больше всего тревоги внушали папы и венецианцы. Чтобы сдерживать венецианцев, требовался союз всех остальных, как это и произошло при защите Феррары [46], а для воздействия на папу пользовались римскими баронами; в виду того, что они делились на две партии — Орсини и Колонна,— между ними шли постоянные раздоры; противостоя друг другу с оружием в руках, на глазах первосвященника, они самую папскую власть держали в состоянии чахлом и больном. Хоть иногда и появлялся мужественный папа, каким был Сикст [47], однако ни счастие, ни умение никогда не могло освободить его от этой заботы. Причина заключалась в краткости правления пап. За десять лет — средний срок жизни папы — с трудом удавалось свалить одну из этих партий; например, если какой-нибудь папа успевал почти уничтожить Колонна, после него правил другой, который давал им возможность оправиться, потому что был врагом Орсини, а истребить Орсини уже не было времени. Все это приводило к тому, что светскую власть папы в Италии мало уважали. Но вот взошел на престол Александр VI, который один из всех бывших когда-либо первосвященников показал, какого преобладания мог достигнуть

папа с помощью денег или военной силы; пользуясь герцогом Валентино как орудием и вторжением французов как подходящим случаем, он совершил все, о чем я говорил выше, рассказывая о делах герцога. И хотя целью его было возвысить не церковь, а герцога, тем не менее все, что он творил, послужило величию церкви, которая пожинала плоды его трудов после его смерти и падения герцога. Затем явился папа Юлий и застал церковь могучей, владеющей всей Романьей; римские бароны были уничтожены, и самые партии под ударами Александра распались; кроме того, придумали способ накоплять богатства, которым никогда до Александра не пользовались. Дела эти Юлий не только продолжал, но пошел дальше, замыслил получить Болонью, уничтожить венецианцев и выгнать французов из Италии: все эти предприятия удались, и хвала ему была тем больше, что он сделал все для возвеличения церкви, а не какого-либо частного человека. Кроме того, папа удержал партии Орсини и Колонна в тех границах, в каких он застал, и хотя между ними были некоторые головы, готовые вызвать смуту, однако их остановили две причины: одна — величие церкви, которое их пугало, другая — отсутствие среди них кардиналов, которые являются настоящими виновниками взаимных распрей; ведь эти партии никогда не останутся спокойными, лишь только в их рядах будут кардиналы; они поддерживают партии в Риме и вне его, а бароны вынуждены их защищать; вот как возни-

кают из-за честолюбия князей церкви раздор и волнения среди знати.

Итак, это святейшество папа Лев[48] застал папский престол на вершине могущества, и если другие сделали его великим силой оружия, то можно надеяться, что этот папа благостью и прочими беспредельными своими добродетелями сделает его величайшим и окруженным поклонением.

ГЛАВА XII

О том, сколько бывает видов войск, и о наемных солдатах

Я обсудил в отдельности все свойства тех княжеств, о которых собирался говорить вначале, рассмотрел отчасти причины их процветания или упадка и показал, какими средствами многие старались приобрести и сохранить их; мне остается теперь сказать вообще о средствах нападения и защиты, возможных в каждом из названных государств. Мы уже говорили выше, как необходимы Князю крепкие основы, иначе он неизбежно погибнет. Главные основы всех государств, как новых, так и старых или смешанных,— это хорошие законы и сильное войско. И так как не может быть хороших законов там, где нет сильного войска, а где есть сильное войско, конечно будут хорошие законы, то я не стану рассуждать о законах, а скажу о войсках. Итак, я считаю, что военные силы, с помощью которых Князь защищает свое государство, являются или его собственными, или

наемными, или вспомогательными, или смешанными. Наемные и вспомогательные бесполезны и опасны[49]; и если кто-нибудь правит государством своим, опираясь на наемные отряды, он никогда не будет держаться крепко и прочно, потому что войска эти в разладе между собою, тщеславны и распущенны, неверны, отважны против друзей, жалки против врагов, без страха божия, без чести перед людьми, и гибель с ними отсрочена настолько, насколько отложено нападение; во время мира тебя будут грабить они, а во время войны враги. Причина этого та, что в них нет ни преданности, ни другого побуждения, удерживающего их в строю, кроме ничтожного жалованья, которого недостаточно, чтобы они были готовы за тебя умереть. Они охотно согласны быть твоими солдатами, пока ты не воюешь, но едва наступает война, они бегут или уходят. Убедиться в этом было бы не трудно потому, что нет иной причины нынешнего разгрома Италии, кроме той, что она в течение многих лет полагалась на наемные войска. Они служили кое-кому с известным успехом и при борьбе друг с другом казались храбрыми, но когда пришел чужеземец, проявили себя, как они есть. Потому-то Карлу, королю Франции, и можно было захватить Италию только с куском мела в руках[50], и тот, кто сказал, что причиной этого были грехи наши, говорил правду, но грехи были не те, о которых он думал, а те, о которых я рассказал. И так как то были грехи князей, они же за это и расплатились. Я хочу яснее показать, каким

бедствием являются эти войска. Предводители наемников — это либо выдающиеся вожди, либо нет; если они таковы, ты не можешь на них положиться: они всегда будут стремиться к собственному возвышению, причем или раздавят тебя, своего же хозяина, или будут вопреки твоим намерениям угнетать других; если же начальник не выдающийся полководец, то он, обычно, тебя губит. Можно возразить, что так же поступит каждый, у кого в руках будет оружие, все равно, наемник он или нет; на это я ответил бы, что войсками пользуются или Князь, или республика. Князь должен явиться к войску лично и сам быть вождем; республике надо послать своих граждан, и если она пошлет такого, который окажется человеком нестоящим, и не добьется успеха, она должна его сменить; если же он годится, то сдерживать его силой закона, чтобы он не вышел из границ. Из опыта видно, что только князья и республики, имеющие собственные войска, добиваются великих успехов, а наемные отряды никогда ничего не приносят, кроме вреда; республике, имеющей собственные боевые силы, труднее попасть в подчинение своему гражданину, чем той, которая сильна оружием иноземцев. Рим и Спарта, вооруженные и свободные, простояли ряд столетий. Швейцарцы — это самые свободные и лучше всего вооруженные люди. Пример наемных войск древности дают карфагеняне; по окончании первой войны с римлянами, они едва не оказались во власти своих наемных солдат, хотя начальниками их были собственные граждане

Карфагена. Филипп Македонский был поставлен фиванцами по смерти Эпаминонда во главе их войска и после победы отнял у них свободу. Миланцы после смерти герцога Филиппо [51] наняли Франческо Сфорца воевать против венецианцев, а он, разбив врагов при Караззаджо [52], соединился с ними, чтобы подчинить своих же хозяев, миланцев. Отец его, Сфорца [53], служивший у Джованны, королевы неаполитанской, вдруг оставил ее без помощи, и, чтобы не лишиться престола, ей пришлось отдаться в руки короля Аррагона [54]. Если венецианцы и флорентинцы расширили когда-то свои владения с помощью таких войск, а полководцы все же не сделались князьями, но защищали их, то я отвечу, что флорентинцам в этом случае благоприятствовала судьба, потому что из крупных военачальников, которых они могли опасаться, одни не победили, другие встретили отпор, третьи направили свое честолюбие в другую сторону. Не победил Джованни Акуто [55], верность которого нельзя было испытать, именно потому, что за ним не было побед; однако всякий признает, что, будь он победитель, флорентинцы оказались бы вполне в его власти. Сфорца имел вечных противников в лице войск Браччо [56], так что оба стерегли друг друга. Франческо направил свои замыслы на Ломбардию, а Браччо — против церкви и королевства Неаполитанского. Однако обратимся к тому, что случилось недавно. Флорентинцы назначили полководцем Паоло Вителли, очень умного человека, который еще как простой гражданин получил широчай-

шую известность. Если бы он завоевал Пизу, никто не станет отрицать, что флорентинцам не удалось бы от него отделаться; поступи он на службу к врагам, они бы пропали, а раз они удерживали его у себя, приходилось ему подчиняться. Рассматривая успехи венецианцев, видишь, что они действовали наверняка и со славой, пока вели войну собственными силами; это было раньше, чем они занялись походами на материк, и тогда все они, вместе с дворянами и вооруженным народом, сражались с необычайным мужеством; но едва венецианцы начали вести сухопутные войны, они изменили этой доблести и последовали обычаю своей Италии. В начале своего утверждения на материке, благодаря незначительности владений и высокому имени, венецианцы могли не очень бояться собственных полководцев. Когда же они стали расширять свои границы под предводительством Карманьолы [57], то получили наглядное доказательство своей ошибки. Венецианцы знали его как храбрейшего полководца, так как разбили под его начальством герцога Миланского, но вместе с тем им было известно, насколько охладел его воинский пыл, и они решили, что больше не могут побеждать с ним, потому что он этого не хотел, но не могут и отпустить его, боясь снова потерять завоеванное; поэтому им пришлось ради собственной безопасности его убить. Впоследствии у них были военачальниками Бартоломео из Бергамо [58], Роберто да Сан Северино [59], граф ди Питильяно [60] и подобные им. С такими людьми приходилось бояться по-

ражения, а не победы. Так и случилось потом при Вайла[61], когда венецианцы в один день потеряли все приобретенное с такими трудами за восемьсот лет: все дело в том, что с помощью наемных войск достигаются только медленные, запоздалые и слабые успехи, а потери бывают внезапные и потрясающие. Раз я уже подошел с этими примерами к Италии, которая столько лет была под игом наемных войск, я хочу говорить о них еще, начав с более далекого времени, чтобы обнаружилось, как эти войска создаются, распространяются и как можно вернее исправить зло. Вы должны знать, что как скоро империя за последнее время стала вытесняться из Италии, а светская власть папы начала укрепляться, Италия распалась на ряд государств. Многие большие города подняли при этом оружие против своей знати, которая угнетала их раньше, пользуясь покровительством императора. Церковь же поддерживала их, чтобы приобрести влияние на светские дела. Во многих других городах простые граждане сделались князьями. Таким образом, Италия очутилась почти целиком в руках Церкви и некоторых республик, а так как эти духовные лица и граждане обычно не знали военного дела, то они стали нанимать в солдаты иноземцев. Первый, кто создал себе таким образом известность, был Альбериго да Конио[62] из Романьи. Учениками его были, между прочим, Браччо и Сфорца, вершившие в свое время судьбы Италии. За ними пришли все остальные, которые до наших дней предводительствовали этими войсками, а

последствием их воинской доблести было, что Италия открыта вторжению Карла, разграблена Людовиком, захвачена Фердинандом и посрамлена швейцарцами. Их образ действия состоял прежде всего в том, что ради собственного превознесения они всячески унижали пехоту. Поступали они так потому, что, не имея владений и живя только своим ремеслом, они не могли добиться известности с отрядом из нескольких пехотинцев, а прокормить много народу были не в состоянии. Поэтому они ограничились конницей, с которой, при достаточной численности, были сыты и в почете; в конце концов дело дошло до того, что в отрядах из 20 000 солдат не было и 2 000 пехотинцев. Кроме того, они приложили все старания, чтобы избавить себя и людей от напряжения и страха, не убивали друг друга в схватках, а забирали в плен и отпускали без выкупа. Ночью они не шли на приступ городов, а осажденные не стреляли ночью по их палаткам; лагерь не окружали ни оградой, ни рвом, не выступали в поход зимой. Все это допускалось их военным устройством и было придумано, чтобы, как уже сказано, избегнуть трудов и опасностей. Зато они и довели Италию до рабства и позора.

ГЛАВА XIII

О войсках вспомогательных, смешанных и собственных

Вспомогательные войска — этот другой вид негодных военных сил — появляются, если ты при-

зываешь какого-нибудь могущественного государя притти с своим войском тебе на помощь и защиту. Так поступил в последнее время папа Юлий, который, проделав во время похода на Феррару[63] печальный опыт с своими наемниками, обратился к вспомогательным отрядам; он уговорился с Фердинандом[64], королем Испании, что тот должен ему помочь своими людьми и войсками. Сами по себе эти силы могут быть полезны и хороши, но для того, кто их призывает, они почти всегда вредны, потому что если они разбиты, ты уничтожен, а при победе ты остаешься у них в плену. Хотя такими примерами полна древняя история, но я не хочу обойти этот близкий к нам случай с папой Юлием II. Решение его броситься в объятия чужеземца только потому, что ему хотелось получить Феррару, было более чем легкомысленным. Но счастье помогло ему, и случилось еще одно событие, словно для того, чтобы ему не пришлось пожать плоды своего дурного выбора: вспомогательные войска папы были разбиты при Равенне[65], но выступившие затем швейцарцы, вопреки всякому ожиданию его самого и других, прогнали победителей, и вышло, что он не попал в плен ни к врагам, обращенным в бегство, ни к своим союзникам, так как победил не их оружием. Флорентинцы, сами не имея никаких войск, двинули десять тысяч французов на взятие Пизы и навлекли на себя этим решением больше опасностей, чем в какую-либо самую тяжкую для них пору. Император константинопольский, обороняясь

от соседей, послал в Грецию десять тысяч турок, которые по окончании войны не пожелали уйти, и это было началом рабства Греции у неверных.

Следовательно, тот, кто хочет отнять у себя возможность побеждать, пусть выбирает эти войска, еще гораздо более опасные, чем наемные. Гибель с ними обеспечена, они все едины и приучены повиноваться другому, а не тебе, между тем наемным отрядам, чтобы напасть на тебя после победы, нужно и больше времени и более удобный повод, так как они не являются единым целым, а взяты на службу и оплачены тобой; кто-нибудь третий, которого ты же сделал их начальником, не может сразу получить такой вес, чтобы тебе вредить. В общем, наемные войска опасны своей трусостью, а вспомогательные — своей доблестью.

Поэтому любой мудрый Князь всегда избегал этих войск, он обращался к собственным силам и предпочитал проигрывать со своими, чем побеждать с чужими, считая победу, добытую посторонним оружием, не настоящей. Я никогда не побоюсь сослаться на Цезаря Борджа и его образ действий. Этот герцог вступил в Романью с вспомогательными войсками, ведя за собой только французских солдат, и взял с ними Имолу и Форли. Но так как ему показалось, что эти отряды недостаточно надежны, то он обратился к наемным войскам, считая их менее опасными, и нанял Орсини и Вителли. Когда потом на деле они оказались сомнительными, неверными и опасными, он их распустил

и прибег к собственным силам. Можно сразу заметить разницу между теми и другими войсками, если сравнить значение герцога, когда у него были сперва одни французы, затем Вителли и Орсини, и когда он остался с своими солдатами, сам себе хозяином. Молва о нем все росла. Никогда он не был по-настоящему в почете, пока всякому не стало ясно, что он — полный господин своих войск.

Я не хотел обойти недавние итальянские примеры, но не хочу пропустить и Гиерона Сиракузского, так как он — один из названных мною выше: поставленный сиракузцами, как я сказал, во главе их войск, он быстро понял, что эти наемные отряды бесполезны, так как начальники их были вроде наших итальянских. Считая, что он не может ни оставить их у себя, ни отпустить, он велел их всех изрубить, а затем уже вел войну собственными, а не чужими силами. Наконец, я хочу восстановить в памяти один подходящий для этой цели образ из ветхого завета. Когда Давид предложил Саулу выйти на бой с Голиафом, филистимлянином, вызывавшим евреев, то Саул, чтобы придать ему мужества, вооружил его своими собственными доспехами, но когда Давид померил их, то отказался, говоря, что он с ними не может быть вполне уверен в себе, а потому хочет итти на врага с своей пращей и ножом. Действительно, чужое вооружение или сползает с тебя, или давит. Карл VII, отец короля Людовика XI, освободивший с помощью судьбы и собственной силы Францию от англичан, понял необходи-

мость иметь свои войска и повелел указом образовать в своем королевстве постоянные конные и пешие роты[66]. Впоследствии сын его, король Людовик, распустил пехоту и стал нанимать швейцарцев. Эта ошибка, за которой последовали другие, была, как наглядно видно теперь, причиной бедствий этого королевства. Прославив швейцарцев, он принизил этим все свои войска, пехоту распустил совсем, а конницу поставил в зависимость от чужого оружия. Она привыкла сражаться вместе с швейцарцами и была уверена, что без них побеждать не может. Отсюда получилось, что французы не годятся против швейцарцев, а без швейцарцев не выдерживают боя с другими. Таким образом, войска Франции, уже стали смешанными, частью наемными, частью собственными; такие силы в общем гораздо лучше, чем просто вспомогательные или просто наемные, но много хуже собственных. Приведенного примера достаточно, ибо королевство Французское было бы непобедимо, если бы установления Карла развились или сохранились. Но слабый ум людей затевает дела, которые, обещая выгоду в данную минуту, не обнаруживают скрытого в них яда, как я уже говорил выше о чахоточной лихорадке.

Однако властитель, умеющий распознать зло в зародыше, не обладает настоящей мудростью, а она дана только немногим. Если подумать о начале крушения Римской империи, окажется, что оно произошло только потому, что начали нанимать на военную службу готтов. Так подрывались понемногу силы Римской империи, и

вся ее доблесть передавалась варварам. Итак, я заключаю, что без собственных войск ни одно княжество не находится в безопасности; наоборот, оно всецело отдано на волю судьбы, не имея той силы, которая защищала бы его в несчастии. Мудрые люди всегда думали и говорили, что „нет ничего столь слабого и непрочного, как молва о могуществе, не утвержденном на собственных силах". Собственные же войска — это те, которые составлены или из подданных, или из сограждан, или из людей, обязанных одному тебе; все остальные — наемные или вспомогательные. Средства образовать свои войска найдутся легко, если вдуматься в учреждения четырех государей, названных мной выше, и посмотреть, как Филипп, отец Александра Великого, и многие республики и князья создавали и устраивали свои вооруженные силы. Я всецело ссылаюсь на их установления.

ГЛАВА XIV

Как надлежит Князю поставить военное дело

Итак, Князь не должен иметь другой цели, другой мысли, никакого дела, которое стало бы его ремеслом, кроме войны, ее учреждений и правил, ибо это — единственное ремесло, подобающее повелителю. В нем такая сила, которая не только держит у власти тех, кто родились князьями, но нередко возводит в это достоинство частных людей. И наоборот, можно видеть, что когда князья думали больше об утонченной жизни, чем об оружии, они лиша-

лись своих владений. Главная причина потери тобой государства — пренебрежение к военному ремеслу, а условие приобретения власти — быть мастером этого дела. Франческо Сфорца мощью оружия сделался из частного человека герцогом Миланским, а сыновья его, избегавшие тягот военной жизни, сделались из герцогов частными людьми. Ведь одна из причин бедствий, постигающих тебя, если ты безоружен,— та, что тебя презирают. Это — срам, которого Князь должен беречься, как будет сказано ниже. Действительно, между вооруженным и безоружным нет никакого соответствия; бессмысленно, чтобы вооруженный подчинялся добровольно безоружному или чтобы безоружный был в безопасности среди вооруженных слуг. Конечно, раз один презирает, а другой подозревает, то невозможно им вместе хорошо делать одно дело. Поэтому, если Князь ничего не понимает в военном деле, то помимо прочих бед, о чем уже сказано, он не может внушить своим солдатам уважение к себе, ни положиться на них.

Итак, Князь никогда не должен отвлекать свой ум от занятий делами военными (а во время мира ему надо больше упражняться, чем на войне)[67]; этого он может достигнуть двумя способами: упражняться на деле или в мыслях. Что касается дел, то Князь, помимо заботы о том, чтобы люди его были в порядке и хорошо обучены, должен постоянно бывать на охоте, приучить таким образом тело к неудобствам и притом усвоить природу местности, узнать,

где возвышаются горы, сходятся долины, лежат равнины, знать свойства рек и болот и относиться ко всему этому с величайшим вниманием. Такое знание полезно вдвойне. Во-первых, Князь научается знать свою страну и может лучше понять, как ее защищать; во-вторых, благодаря знакомству с этими местами и привычке к ним, он легко разбирается в любой другой местности, которую ему случится увидеть впервые; ведь, например, холмы, долины, равнины, реки, болота Тосканы и других земель имеют некоторое сходство, так что знание местности в одной стране много помогает знанию ее в остальных.

Князь, у которого не хватает этой опытности, не имеет первого свойства полководца — того, которое учит настигать врага, располагаться лагерем, вести войска, распоряжаться боем и с пользой для себя осаждать города. Превознося Филопемена[68], вождя ахеян, писатели, между прочим, особенно хвалили его за то, что в мирное время он думал только о средствах вести войну; гуляя с друзьями, он часто останавливался и так с ними беседовал: если бы враги были на том холме, а мы с нашим войском находились здесь, у кого из нас было бы преимущество? Как можно было бы двигаться против них, сохраняя боевой порядок? Что следовало бы делать, если бы мы захотели отступить? Как нужно было бы их преследовать, если бы отступали они? Так он во время прогулки разбирал с ними все случаи, которые могут произойти с войском, выслушивал их мнение,

высказывал свое, подкрепляя его доводами. И, благодаря этим непрестанным размышлениям, никогда под его начальством не могло произойти с войсками такой случайности, при которой он оказался бы беспомощным.

Что касается упражнений мысли, то Князь должен читать историю и сосредоточиваться в ней на делах замечательных людей, вглядываться в их действия на войне, изучать причины их побед и поражений, чтоб быть в состоянии избежать одних и подражать другим; всего важнее ему поступать, как уже поступал в прежние времена какой-нибудь замечательный человек, взявший за образец кого-либо, до него восхваленного и прославленного, жизнь и дела которого были всегда у него перед глазами. Так, говорят, что Александр Великий подражал Ахиллесу, Цезарь Александру, Сципион Киру. Кто читает жизнь Кира, написанную Ксенофонтом[69], тот видит затем в жизни Сципиона, насколько это подражание способствовало его славе и как он в целомудрии, приветливости, человеколюбии и щедрости руководился делами Кира, описанными Ксенофонтом.

Подобных же путей должен держаться правитель мудрый и никогда не оставаться праздных в мирное время, но усердно накоплять силы, чтобы оказаться крепким в дни неудач, так что, если судьба от него отвернется, она нашла бы его готовым отразить ее удары[70].

ГЛАВА XV

О свойствах, за которые хвалят или порицают людей и больше всего князей

Остается теперь рассмотреть, как надлежит Князю поступать и обращаться с подданными и друзьями.

Так как я знаю, что об этом писали многие, то боюсь прослыть самонадеянным, если буду писать о том же, потому что при обсуждении этого предмета я больше всего отойду от взглядов других. Однако намерение мое — написать нечто полезное для того, кто это поймет, почему мне и казалось более верным искать настоящей, а не воображаемой правды вещей. Многие измыслили республики и княжества, никогда не виданные и о которых на деле ничего не было известно. Но так велико расстояние от того, как протекает жизнь в действительности, до того, как должно жить, что человек, забывающий, что делается ради того, что должно делать, скорее готовит свою гибель, чем спасенье. Ведь тот, кто хотел бы всегда исповедывать веру в добро, неминуемо погибает среди столь многих людей, чуждых добра. Поэтому Князю, желающему удержаться, необходимо научиться умению быть не добродетельным, и пользоваться или не пользоваться этим, смотря по необходимости.

Итак, оставляя в стороне все вымыслы о Князе и рассуждая о вещах, бывающих на деле, я скажу, что всем людям, о которых принято говорить, и особенно князьям, как поставленным

выше других, приписываются какие-нибудь из качеств, приносящих им осуждение или похвалу; так, один считается щедрым, другой скаредным (я пользуюсь тосканским выражением (misero), потому что жадный (avaro) означает на нашем языке и того, кто стремится приобретать хотя бы грабежом, скаредным мы называем человека, который слишком боится пользоваться своим); один слывет благотворителем, другой хищником; один жестоким, другой милостивым; один предателем, другой верным; один изнеженным и робким, другой грозным и смелым; один приветливым, другой надменным; один развратным, другой целомудренным; один искренним, другой лукавым; один крутым, другой уступчивым; один серьезным, другой легкомысленным; один религиозным, другой неверующим, и тому подобное. Всякий, я знаю, согласится, что было бы делом достойным величайшей хвалы, если бы нашелся Князь, который из всех названных свойств имел бы только те, что считаются хорошими. Но так как нельзя ни обладать ими всеми, ни вполне проявлять их, потому что этого не допускают условия человеческой жизни, то Князь должен быть настолько мудр, чтобы уметь избегать бесславия таких пороков, которые лишали бы его государства, других же пороков, не угрожающих его господству, он должен беречься, если это возможно; если же он не в силах это сделать, то может дать себе волю без особенных колебаний. Наконец, пусть он не страшится дурной славы тех пороков, без которых ему трудно спасти государство; ведь если вник-

путь как следует во все, то найдется нечто, что кажется добродетелью, но верность ей была бы гибелью Князя; найдется другое, что кажется пороком, но, следуя ему, Князь обеспечивает себе безопасность и благополучие.

ГЛАВА XVI

О щедрости и бережливости

Итак, я начну с первых названных выше качеств, и скажу, как хорошо было бы прослыть щедрым. Однако щедрость, проявленная так, что она за тобою признается, тебе вредит, ибо если она осуществляется с настоящей добродетелью и как должно, то о ней не узнают, и тебя не покинет худая слава скупца. Поэтому, если хочешь сохранить среди людей имя щедрого, нельзя поступиться ни одной чертой роскоши,— настолько, что такой Князь всегда истратит на подобные дела все свои средства и в конце концов, если захочет сохранить славу щедрости, будет вынужден невероятно обременить народ, выжимать налоги и итти на все, что можно, лишь бы добыть денег. Это понемногу сделает его ненавистным для подданных, и так как он обеднеет, то никто не будет его уважать; с подобной щедростью, обидев многих, наградив всего нескольких, он больно почувствует первое же затруднение и дрогнет от малейшей опасности; если же он это поймет и захочет остановиться, то сейчас же встретится с обвинением в скаредности. Поэтому, раз Князь не может, не вредя себе, так проявлять эту добродетель

щедрости, чтобы о ней знали, то, если он благоразумен, не надо ему бояться прозвища скупца,— ведь со временем его всегда сочтут более щедрым, когда увидят, что благодаря его бережливости ему хватает имеющихся доходов, что он может защищаться от воюющих с ним и предпринимать походы, не отягощая народ. Таким образом, он будет щедрым для всех, у кого ничего не берет, а таких бесконечное множество, скупым же для всех, кому не дает, т. е. для немногих. В наши времена мы видели, что великие дела творили только те, кого считали скупцами, прочие погибли. Папа Юлий II, который воспользовался славой щедрости, чтобы добиться папства, потом и не думал держаться за нее, потому что ему нужно было вести войны.

Нынешний король Франции вел столько войн, не облагая своих подданных чрезвычайным налогом, потому, что благодаря его долгой бережливости были покрыты все огромные расходы. Царствующий сейчас король Испании не мог бы ни предпринять, ни успешно завершить стольких предприятий, если бы его считали щедрым.

Итак, Князю, чтобы не разорять своих подданных, чтобы иметь возможность себя защищать, не стать бедным и презираемым, не оказаться вынужденным сделаться хищным, следует очень мало считаться с прозвищем скупца, потому что это один из тех пороков, благодаря которым он царствует. И если кто-нибудь скажет: Цезарь достиг высшей власти щедростью, и многие другие дошли до высочайших степе-

ней, потому что были и слыли щедрыми, то я на это отвечу: или ты уже Князь, или еще только на пути к власти. В первом случае щедрость вредна, во втором безусловно необходимо считаться щедрым. Цезарь же был одним из тех, кто хотел добиться господства над Римом. Но если б он, получив власть, прожил еще долго и не умерил эти траты, то разорил бы государство. Но кто-нибудь мог бы возразить: многие, слывшие особенно щедрыми, стали князьями и совершили с войсками великие дела. Я тебе отвечу: или Князь тратит средства свои и своих подданных, или чужие. В первом случае он должен быть бережлив, во втором — нельзя упустить ни одного повода к щедрости. Князю, идущему в поход с войсками, живущему добычей, грабежом, поборами, чужим добром, эта щедрость необходима, иначе за ним не пошли бы его солдаты. За счет того, что не принадлежит ни тебе, ни твоим подданным, можно быть много более тароватым, как были Кир, Цезарь и Александр: ведь расхищение чужого имущества не уменьшает твоей известности, даже кой-что прибавляет к ней; вредит только расточение своего. Ничто так не истощает себя, как щедрость. Проявляя ее, ты теряешь способность проявлять ее дальше и становишься бедным и презираемым или, стараясь избежать нужды, делаешься хищным и ненавистным. К вещам, которых Князь должен больше всего беречься, относится возбуждение к себе презрения и ненависти, а щедрость ведет тебя к тому и другому. Поэтому больше мудрости в том,

чтобы остаться с именем скупца, которое приносит тебе бесчестье без ненависти, чем из желания быть названным щедрым неизбежно получить имя хищника, от которого будет и бесчестье, и ненависть.

ГЛАВА XVII

О жестокости и милосердии и о том, лучше ли быть любимым или внушать страх

Переходя к другим качествам, упомянутым раньше, я скажу, что каждый властитель должен стремиться к тому, чтобы его считали милостивым, а не жестоким. Однако надо предостеречь от проявления этого милосердия некстати. Цезарь Борджа слыл беспощадным, тем не менее его жестокость восстановила Романью, объединила ее, вернула ее к миру и верности. Если вдуматься как следует, то окажется, что он был гораздо милостивее флорентинского народа, который, чтобы избегнуть пререканий в жестокости, допустил разрушение Пистойи. Итак, Князь не должен бояться, что его ославят безжалостным, если ему надо удержать своих подданных в единстве и верности. Ведь, показав, в крайности, несколько устрашающих примеров, он будет милосерднее тех, кто по своей чрезмерной снисходительности допускает развиться беспорядкам, вызывающим убийства или грабежи: это обычно потрясает целую общину, а кары, налагаемые Князем, падают на отдельного человека. Из всех властителей новому Князю меньше других можно избегнуть молвы о же-

стокости, так как новые государства окружены опасностями. Поэтому Вергилий устами Дидоны (оправдывает бесчеловечность ее правления тем, что оно ново) и говорит[1]:

Res dura et regni novitas me talia cogunt
Mŏliri, et late fines custo·le tueri.

Все же Князь должен быть осмотрителен в своей доверчивости и поступках, не пугаться себя самого и действовать не торопясь, с мудростью и человеколюбием, чтобы излишняя доверчивость не привела к неосторожности, а слишком большая подозрительность не сделала его невыносимым.

Отсюда пошел спор, лучше ли, чтобы его любили, а не боялись, или наоборот. Отвечают, что желательно было бы и то и другое. Но так как совместить это трудно, то гораздо вернее внушить страх, чем быть любимым, если уж без чего-нибудь одного пришлось бы обойтись. Ведь о людях можно вообще сказать, что они неблагодарны, изменчивы, лицемерны, трусливы перед опасностью, жадны до наживы. Пока ты им делаешь добро, они все твои, предлагают тебе свою кровь, имущество, жизнь, детей, все до тех пор, пока нужда далека, как я уже сказал, но как только она приближается, люди на-

[1] В изд. Мого слова в скобках пропущены. См. английское издание Burd, 292, и Opere, Italia, 1819, III, 82. Стихи Вергилия („Энеида", I) значат:

„Трудные обстоятельства и новизна моего царства заставляют меня предпринимать все это и широко ограждать свои пределы сторожевыми силами".

чинают бунтовать. Князь, который всецело положится на их слова, находя ненужными другие меры, погибнет. Дело в том, что дружба, приобретаемая деньгами, а не величием и благородством души, хоть и покупается, но в действительности ее нет, и когда настанет время, на нее невозможно рассчитывать; при этом люди меньше боятся обидеть человека, который внушал любовь, чем того, кто действовал страхом. Ведь любовь держится узами благодарности, но так как люди дурны, то эти узы рвутся при всяком выгодном для них случае. Страх же основан на боязни, которая не покидает тебя никогда.

Однако Князь должен внушать страх таким образом, чтобы если не заслужить любовь, то избежать ненависти, потому что вполне возможно устрашать и в то же время не стать ненавистным. Он всегда этого добьется, если не тронет ни имущества граждан и подданных, ни жен их. Когда придется все же пролить чью-нибудь кровь, это надо сделать, имея для того достаточное оправдание и явную причину, но больше всего надо воздерживаться от чужого имущества, потому что люди забудут скорее смерть отца, чем потерю наследства. Кроме того, повод отнять имущество всегда окажется, и тот, кто начинает жить грабежом, всегда найдет повод захватить чужое; наоборот, случаи пролить кровь гораздо реже и представляются не так скоро.

Когда же Князь выступает с войсками и под его начальством находится множество солдат,

тогда безусловно необходимо не смущаться именем жестокого, потому что без этого в войске никогда не будет ни единства, ни готовности к действию. Среди замечательных дел Ганнибала[72] отмечается, что в огромном войске, где смешалось бесчисленное количество людей разных племен, войске, уведенном на войну в чужую страну, никогда, в дни ли удач или несчастий, не поднялось ни взаимных раздоров, ни ропота против вождя. Так могло быть только благодаря его нечеловеческой суровости, которая наряду с безграничной доблестью делала его в глазах солдат кумиром и грозой; без этого прочих качеств Ганнибала было бы недостаточно, чтобы производить такое впечатление. Писатели недостаточно вдумчивые, с одной стороны, восхищаются этими его подвигами, а с другой — осуждают их главную причину. Что других его качеств действительно было бы мало, можно видеть на примере Сципиона[73] — редчайшего человека не только своего времени, но и всех времен, о которых сохранилась память,— войска которого в Испании взбунтовались. Это случилось не иначе, как от чрезмерной его мягкости, по милости которой солдатам дано было больше воли, чем это совместимо с военной службою. За это же он должен был выслушать в Сенате упреки Фабия Максима[74] и был назван им развратителем римского войска. Локрийцы, разоренные одним из легатов Сципиона, не получили у него защиты, дерзость легата осталась безнаказанной, и произошло все это от беспечной природы Сципиона. Дошло до того, что,

желая заступиться за него, кто-то сказал в Сенате, что есть много людей, которые скорее не ошибутся сами, чем сумеют исправить ошибки других. Такой характер со временем омрачил бы знаменитость и славу Сципиона, если бы он при этом дольше стоял у власти, но так как он жил под правлением Сената, то вредная черта его не только осталась скрытой, но даже послужила ему во славу.

Возвращаясь к тому, нужно ли Князю, чтобы его любили или боялись, я заключаю, что так как люди любят, как им вздумается, а боятся по воле властителя, то мудрый Князь должен опираться на то, что зависит от него, а не на то, что зависит от других; надо только суметь избежать ненависти, как сказано выше.

ГЛАВА XVIII

Как князья должны держать свое слово

Как похвально было бы для Князя соблюдать данное слово и быть в жизни прямым, а не лукавить,— это понимает всякий. Однако опыт нашего времени показывает, что великие дела творили как раз князья, которые мало считались с обещаниями, хитростью умели кружить людям головы и в конце концов одолели тех, кто полагался на честность. Вы должны поэтому знать, что бороться можно двояко: один род борьбы—это законы, другой—сила; первый свойствен человеку, второй — зверю. Так как, однако, первого очень часто недостаточно, приходится обращаться ко второму. Следовательно, Князю

необходимо уметь хорошо владеть природой как зверя, так и человека. Этому скрытым образом учили князей старинные писатели, сообщавшие, как Ахилл и много других древних князей были отданы на воспитание кентавру Хирону, чтобы он за ними наблюдал и охранял их. Иметь наставником полузверя, получеловека означает не что-иное, как то, что Князю нужно уметь владеть природой того и другого; одно без другого непрочно.

Итак, раз Князь вынужден хорошо владеть природой зверя, он должен взять примером лисицу и льва, так как лев беззащитен против сетей, а лисица беззащитна против волков. Следовательно, надо быть лисицей, чтобы распознавать западню, и львом, чтобы устрашать волков. Люди, бесхитростно полагающиеся на одну только львиную силу, этого не понимают. Итак, разумный правитель не может и не должен быть верным данному слову, когда такая честность обращается против него и не существует больше причин, побудивших его дать обещание. Если бы люди были все хороши, такое правило было бы дурно, но так как они злы и не станут держать слово, данное тебе, то и тебе нечего блюсти слово, данное им. Никогда не будет у Князя недостатка в законных причинах, чтобы скрасить нарушение обещания. Этому можно было бы привести бесконечное число недавних примеров и показать, сколько мирных договоров, сколько обещаний союза обратились в ничто, в пустой звук из-за вероломства князей. Кто искуснее других умел действовать по-лисьему, тому и при-

ходилось лучше. Однако необходимо уметь хорошо скрыть в себе это лисье существо и быть великим притворщиком и лицемером: ведь люди так просты и так подчиняются необходимости данной минуты, что кто обманывает, всегда найдет такого, который даст себя обойти.

Об одном недавнем примере я не хочу умолчать. Александр VI никогда ничего другого не делал, как только обманывал людей, никогда ни о чем другом не думал, и всегда находил кого-нибудь, с кем можно было это проделать. Никогда не было человека, который убеждал бы с большей силой, утверждал бы что-нибудь с большими клятвами и меньше соблюдал[75]; однако ему всегда удавались любые обманы, потому что он хорошо знал мир с этой стороны.

Итак, нет необходимости Князю обладать всеми описанными выше добродетелями, но непременно должно казаться, что он ими наделен. Больше того: я осмелюсь сказать, что если он их имеет и всегда согласно с ними поступает, то они вредны, а при видимости обладания ими, они полезны; так, должно казаться милосердным, верным, человечным, искренним, набожным; должно и быть таким, но надо так утвердить свой дух, чтобы при необходимости стать иным ты бы мог и умел превратиться в противоположное. Тебе надо понять, что Князь, и особенно Князь новый, не может соблюдать все, что дает людям добрую славу, так как он часто вынужден ради сохранения государства поступать против верности, против любви к ближнему, против человечности, против религии[76].

Наконец, он должен быть всегда готов обернуться в любую сторону, смотря по тому, как велят ветры и колебания счастья, и, как я говорил выше, не отклоняться от добра, если это возможно, но уметь вступить на путь зла, если это необходимо.

Итак, Князь должен особенно заботиться, чтобы с уст его никогда не сошло ни одного слова, не преисполненного перечисленными выше пятью добродетелями, чтобы, слушая и глядя на него, казалось, что Князь — весь благочестие, верность, человечность, искренность, религия. Всего же важнее видимость этой последней добродетели. Люди в общем судят больше на глаз, чем наощупь; глядеть ведь может всякий, а пощупать только немногие. Каждый видит, каким ты кажешься, немногие чувствуют, какой ты есть, и эти немногие не смеют выступить против мнения толпы, на стороне которой величие государства; а ведь о делах всех людей и больше всего князей, над которыми нельзя потребовать суда, судят по успеху. Пусть Князь заботится поэтому о победе и сохранении государства,— средства всегда будут считаться достойными и каждым будут одобрены, потому что толпа идет за видимостью и успехом дела. В мире нет ничего, кроме толпы, а немногие только тогда находят себе место, когда толпе не на кого опереться. Есть в наше время один Князь[77] — не надо его называть,— который никогда ничего, кроме мира и верности, не проповедует, на деле же он и тому и другому великий враг, а храни он верность и мир, не раз лишился бы и славы и государства.

ГЛАВА XIX

Каким образом избежать презрения и ненависти

Обсуждая выше качества Князя, я уже сказал о самых для него важных, поэтому остальные хочу обсудить кратко, имея в виду общее правило, что Князь, как отчасти уже говорилось, должен стараться избегать таких дел, которые вызвали бы к нему ненависть и презрение. Всякий раз, как он этого избегнет, Князь сделает свое дело, а от прочих укоров никакой опасности для него не будет. Как я говорил, ненависть к нему вызывается прежде всего алчностью, захватом имущества подданных и жен их; от этого он должен воздержаться. Если не трогать имущество и честь людей, то они вообще довольны жизнью, и приходится бороться только с честолюбием немногих, которое можно обуздать разными способами и очень легко. Князя презирают, если считают его непостоянным, легкомысленным, изнеженным, малодушным, нерешительным; этого Князь должен остерегаться, как подводного камня, и надо ему умудриться сделать так, чтобы в поступках его признавались величие, смелость, обдуманность, твердость; по частным же делам подданных Князю надо стремиться к тому, чтобы приговор его был нерушим, и утвердить о себе такое мнение, чтобы никто не подумал обмануть Князя или перехитрить его.

Князь, который заставляет людей так думать о себе, пользуется очень большим уважением,

а против правителя, которым дорожат, трудно составить заговор, и нелегко на него напасть, раз известно, что он человек выдающийся и в почете у своих. Дело в том, что Князю должны быть страшны две опасности: одна — изнутри, от подданных, другая — извне, от иноземных государей. От второй защищаются хорошим оружием и хорошими союзами; если есть хорошее оружие, всегда будут и хорошие друзья, а дела внутри страны всегда будут устойчивы, если все благополучно вовне, лишь бы не начались заговоры и не пошла бы из-за этого смута. Если бы даже внешние дела и расстроились, то Князь, который управлял и жил, как мною указано, и при том не растеряется, всегда выдержит любой натиск, подобно Набиду Спартанскому [78], о чем я уже сказал. Что же касается подданных, то при спокойствии во-вне приходится опасаться, как бы они не злоумышляли тайно; от этого Князь вполне может себя оградить, стараясь не возбуждать ненависти и презрения и устроив дела так, чтобы народ был им доволен; последнего надо непременно достигнуть, как подробно говорилось выше. И одно из сильнейших средств, какое имеется у Князя против заговоров, состоит именно в том, чтобы народ в целом не ненавидел и не презирал его: ведь заговорщик всегда верит, что убийством Князя он удовлетворит народ; если же он боится, что этим возмутит его, то на такое дело у него не хватит духу, потому что препятствиям для заговорщиков нет числа. Из опыта видно, что заговоров было много и лишь малое число их

кончилось удачно; дело в том, что заговорщик не может быть один и может искать себе товарищей только среди людей, которые, по его мнению, недовольны. Как только ты раскрыл свою душу какому-нибудь недовольному, ты дал ему средство поправить свои дела, потому что, выдав тебя, он может надеяться на всяческие блага; понимая, таким образом, что с этой стороны выигрыш обеспечен, а что с другой — дело сомнительно и полно опасностей, сообщник для сохранения верности должен быть или редкостным другом тебе, или упорнейшим врагом Князя. Чтобы коротко выразить суть дела, я скажу, что на стороне заговорщика нет ничего, кроме страха, подозрительности, боязни кары, и это его ужасает, за Князем же стоит величие власти, законы, защита друзей и государства, и это его охраняет. Таким образом, если ко всему этому прибавится народное расположение, то немыслимо, чтобы у кого-нибудь хватило дерзости на заговор. Ведь обыкновенно заговорщику грозит опасность еще до исполнения его злого дела, а теперь он должен страшиться и дальше, так как народ будет ему после осуществления его замысла врагом, и он не может надеяться, что найдет где бы то ни было убежище.

Этому можно было бы привести бесконечное число примеров, но я удовольствуюсь одним, взятым из времен наших отцов. Когда правитель Болоньи, мессер Аннибале Бентивольо [79], дед нынешнего мессера Аннибале, был убит Каннески, составившими против него заговор, и из его семьи остался только мессер Джованни, ко-

торый был еще в колыбели, то сейчас же после убийства народ восстал и перебил всех Каннески. Причиной тому была народная привязанность, которой в те времена пользовался дом Бентивольо; она была настолько сильна, что, когда после смерти Аннибале в Болонье не осталось никого из этой семьи, кто мог бы управлять государством, но были сведения, что во Флоренции жил один человек из рода Бентивольо, считавшийся до тех пор сыном кузнеца, то болонцы отправились к нему во Флоренцию, вручили ему власть, и он правил, пока мессер Джованни не достиг положенного для правителя возраста.

Отсюда я заключаю, что Князю нечего обращать внимания на заговоры, если народ к нему расположен; но как только стал к нему враждебен и возненавидел его, Князь должен бояться всего, всех и каждого. И хорошо устроенные государства и мудрые князья особенно усердно старались не озлоблять знатных и вместе с тем удовлетворять народ, сделать так, чтобы он был доволен, потому что в этом одно из главнейших дел Князя.

В числе хорошо устроенных и хорошо управляемых королевств нашего времени находится Французское. В нем имеется бесконечное множество хороших учреждений, от которых зависит свобода и безопасность короля; первое из них — парламент и его влияние. Устроитель этого королевства, зная гордыню и властолюбие сильных людей и считая для них сдерживающую узду необходимой, зная, с другой стороны, основанную на страхе ненависть народа к знати

и желая его успокоить, не захотел предоставить эту заботу одному только королю, чтобы избавить его от ропота, который мог подняться среди знати за покровительство простому народу, а среди народа — за благоволение к знатным; поэтому он поставил судьей третье учреждение, которое, не навлекая обвинений на короля, обуздывало бы знать и покровительствовало слабым. Не могло быть ничего лучше и мудрее такого порядка, более крепкой основы безопасности короля и королевства. Отсюда можно извлечь еще поучение: князья должны передавать другим дела, вызывающие недовольство, а милости оказывать сами. Я снова прихожу к заключению, что Князь должен уважать знатных, но не возбуждать ненависти в народе.

Многим, может быть, покажется, что изучение жизни и смерти некоторых римских императоров [80] дает примеры, опровергающие это мое мнение, причем выяснится, что такой-то император всегда жил прекрасно, обнаружил великую силу души и все же лишился власти или даже был умерщвлен своими, составившими против него заговор. Желая ответить на такие возражения, я разберу качества некоторых императоров, показав и причины их гибели, не противоречащие указанному мной выше. Отчасти я выделю и обстоятельства, которые надо отметить читающему о делах тех времен. Я ограничусь императорами, сменявшими друг друга у власти, начиная с Марка-философа и до Максимина, т. е. Марком [81], сыном его Коммодом [82], Пертинаксом [83], Юлианом [84], Севером [85], сыном

его Антонином Каракаллой [86], Макрином [87], Гелиогобалом [88], Александром [89] и Максимином [90]. Прежде всего надо отметить, что в других княжествах надо бороться только с честолюбием знатных и с дерзостью народа, а римским императорам надо было считаться еще с третьим затруднением, именно: им приходилось выносить кровожадность и алчность солдат; это было так трудно, что здесь лежит причина гибели многих; трудно было удовлетворить одновременно солдат и народ: ведь народ дорожил спокойствием, а потому любил мирных правителей, солдаты же любили Князя воинственного, который был бы надменным, жестоким и хищным. Они хотели, чтобы он те же свойства показал на народе, дабы они могли получать двойное жалование и насытить свою алчность и кровожадность; отсюда и произошло, что императоры, не имевшие от природы или не получившие благодаря своему искусству исключительного влияния, силой которого они держали бы в узде и солдат и народ, всегда погибали; большинство же, особенно те из них, которые пришли к власти как люди новые, поняв всю трудность примирить эти два противоположных течения, предпочли потакать солдатам, мало смущаясь обидами, чинимыми народу. Такое решение было необходимо: раз князья не могут избежать чьей-нибудь ненависти, они должны прежде всего стараться избежать ненависти всеобщей; если этого добиться нельзя, они должны всеми средствами умудриться избежать ненависти тех, кто могущественнее других. Поэтому императоры,

которые по новизне своей власти должны были особенно заискивать, охотнее держались за солдат, чем за народ; однако это шло или не шло им на пользу, смотря по тому, насколько император умел заставить солдат себя уважать.

По этим, уже указанным, причинам и вышло, что Марк, Пертинакс и Александр, все люди скромной жизни, ревнители справедливости, враги жестокости, человечные и благожелательные, все, кроме Марка, кончили печально. Один Марк жил и умер в величайшем почете, потому что принял власть по праву наследства, и ему не нужно было ни солдатского, ни народного признания. Обладая, кроме того, многими достоинствами, за которые его чтили, он всю свою жизнь держал солдат и народ в необходимых границах и никогда не вызвал ни ненависти, ни презрения. Но Пертинакс был возведен на престол против воли солдат, которые, привыкнув к распущенности при Коммоде, не смогли вынести тот строгий образ жизни, который хотел ввести для них Пертинакс. Поэтому они его возненавидели, а к ненависти прибавилось презрение, так как император был стар, и он погиб в самом начале своего правления.

Здесь надо отметить, что ненависть возбуждается одинаково и добрыми и дурными делами; отсюда следует, как я уже говорил, что Князь, желающий сохранить власть, часто бывает вынужден не быть добродетельным; ведь если развращена вся совокупность людей, в которых ты нуждаешься, чтобы держаться у власти,— будь то народ или солдаты, или знать,—

ты должен применяться к их прихотям, удовлетворять их, а в таком случае добрые дела — враги твои. Однако обратимся к Александру. Он был человек такой доброты, что, как отмечалось среди других восхвалений, за четырнадцать лет его правления никто никогда не был предан смерти без суда; однако его сочли человеком изнеженным и позволявшим своей матери руководить собой, почему стали относиться к нему пренебрежительно, в войске составился заговор, и его убили.

Если для противоположения разобрать теперь свойства Коммода, Септимия Севера, Антонина Каракаллы и Максимина, то вы найдете, что это были величайшие злодеи и хищники; ради удовлетворения солдат они не останавливались ни перед каким насилием, которое только можно было совершить против народа, и все они, кроме Севера, кончили плохо,— в Севере была такая сила, что, сохраняя привязанность солдат, он мог все время царствовать счастливо, несмотря на угнетение народа. Его военная доблесть превращала его в глазах солдат и народа в такое чудо, что народ оставался в каком-то немом изумлении, а солдаты слушались и были довольны.

Так как дела его для Князя нового были подлинно велики, то я хочу вкратце указать, как он хорошо умел выступать под личиной лисицы и льва, природе которых, как я говорил выше, Князю необходимо подражать. Север, поняв неспособность императора Юлиана, убедил свои войска, над которыми он началь-

ствовал в Славонии, что следует пойти на Рим и отомстить за смерть Пертинакса, убитого солдатами-преторианцами; под этим предлогом, не подавая вида, что стремится к власти, он двинул войска на Рим и был в Италии раньше, чем там узнали о его походе. Когда он явился в Рим, Сенат со страху избрал его императором, а Юлиан погиб. После такого начала Северу, чтобы подчинить себе все государство, оставалось одолеть два препятствия: одно было в Азии, где начальник войск Нигер заставил провозгласить себя императором, другое — на западе, где находился Альбин, который тоже тянулся к власти. Так как Север считал опасным объявить себя открытым врагом обоих, он решил напасть на Нигера и обмануть Альбина. Последнему он написал, что, будучи избран Сенатом в императоры, он хочет разделить с Альбином это достоинство, даровал ему титул Цезаря и по постановлению Сената сделал его соправителем; все это было принято Альбином за правду. Однако потом, когда, победив и умертвив Нигера, Север устроил восточные дела и вернулся в Рим, он стал жаловаться в Сенате, что Альбин, не чувствуя признательности за оказанные благодеяния, предательски пытался его убить, почему Север вынужден отправиться в поход и наказать Альбина за неблагодарность. После этого Север выступил, настиг Альбина в Галлии и лишил его государства и жизни.

Кто рассмотрит поступки Севера в отдельности, найдет в нем свирепейшего льва и коварнейшую лисицу; тут же будет видно, что

каждый боялся и чтил Севера, войска его не ненавидели, и никто после этого не удивится, что он, новый человек, мог удерживать такое государство; его огромная слава всегда защищала его от ненависти, которая могла подняться в народе из-за поборов. Сын его, Антонин, был с своей стороны, человеком высоких достоинств, которые вызывали восхищение народа и любовь солдат; он был человек военный, необычайной закаленности, презирал изысканную пищу и всякую изнеженность, за что был любим всеми войсками. Однако его зверство и жестокость были настолько неслыханны, что, уничтожив бесконечными отдельными убийствами большую часть народа в Риме и все население в Александрии, он сделался для всех предметом величайшей ненависти; даже приближенные начали его бояться, и он был убит центурионом среди своих войск. Надо иметь в виду, что подобных покушений, которые являются последствием решения, принятого одним смелым человеком, Князь избегнуть не может. Каждый не боящийся умереть может убить, но Князю не надо очень этого бояться, потому что такие случаи крайне редки. Князь должен только остерегаться тяжко оскорбить кого-нибудь из людей, услугами которых он пользуется и кого приближает к себе по службе. Как раз обратно поступил Антонин, зверски убивший брата своего центуриона, ежедневно угрожавший ему самому и тем не менее оставлявший его в своей личной страже; это было безрассудство, сулившее ему гибель, как оно и случилось.

Перейдем, однако, к Коммоду, которому было очень легко удержать власть, доставшуюся ему по наследству, как сыну Марка, ему надо было только итти путем отца, чтобы удовлетворить и народ и солдат; но природа его была жестокая и животная, и ради возможности удовлетворить свои хищные страсти за счет народа он решил заискивать перед войсками и предоставить им полную волю; с другой стороны, он не выдерживал своего достоинства, часто выходя на арену биться с гладиаторами, совершая другие самые низменные поступки, недостойные величия императора, так что сделался гадок даже в глазах солдат. Ненавистный одним и презираемый другими, он стал жертвой заговора и был убит.

Остается сказать о свойствах Максимина. Это был воинственнейший человек, и так как войскам надоела дряблость Александра, о чем я говорил раньше, то после смерти последнего они выбрали императором Максимина. У власти он пробыл недолго, ибо два обстоятельства возбудили ненависть и презрение к нему: одно — низменное происхождение из фракийских пастухов (то было известно всем и вызывало общее презрение), второе — это созданная им самим молва о его страшной жестокости, так как в начале своего правления, отложив свой приезд в Рим и вступление на императорский престол, он через своих ставленников натворил в Риме и в других местах империи множество злодейств. Когда все прониклись презрением к нему за ничтожество его происхождения и пена-

вистью из-за страха перед его зверством, против него возмутилась сначала Африка, затем Сенат со всем римским народом, и наконец поднялась на него вся Италия. К этому примкнуло его собственное войско; обложив Аквилею, встречая трудности при осаде, устав от жестокости Максимина и уже меньше боясь его, так как все видели, что он окружен врагами, солдаты его убили.

Не буду говорить ни о Макрине, ни о Гелиогобале, ни о Юлиане, которые вследствие своего полного ничтожества, немедленно исчезли, но обращусь к выводу из этого рассуждения. Я утверждаю, что князья нашего времени не так сильно чувствуют в своем управлении эту трудность как-то по-особенному ублажать солдат; если и приходится уделять им некоторое внимание, это разрешается легко, потому что ни у кого из современных князей нет постоянных войск, точно сросшихся с правительством и с управлением провинциями, как это было с военными силами Римской империи. Следовательно, если тогда было необходимо угождать больше солдатам, чем народу, то именно потому, что солдаты были сильнее народа; теперь же для всех князей, кроме турецкого и египетского, важнее удовлетворить народ, чем солдат, потому что народ сильнее солдат. Я исключаю турецкого султана, который всегда держит при себе двенадцать тысяч пехоты и пятнадцать тысяч конницы, от которых зависят безопасность и крепость его царства; этому государю необходимо сохранить их привязанность, отложив

всякую другую заботу. Таково же и царство султана египетского. Так как он целиком в руках солдат, то и ему приходится заботиться о сохранении их расположения, не думая о народе. Заметьте, что это государство султана египетского отличается от всех других княжеств, оно похоже разве лишь на христианское папство, которое нельзя назвать ни наследственным, ни новым княжеством; наследниками и господами являются и остаются не сыновья старого правителя, а тот, кто будет возведен в это достоинство путем избрания имеющими на то полномочие лицами. Так как этот порядок существует издревле, то египетское государство нельзя называть новым, и в нем нет трудностей, какие бывают в новых государствах; ведь хотя правитель новый, но учреждения государства стары и приноровлены к встрече Князя, точно он наследственный государь.

Возвратимся, однако, к нашему предмету. Я считаю, что всякий, кто задумается над изложенным выше рассуждением, увидит, что ненависть или презрение были причиной гибели названных императоров, и узнает, как случилось, что при известном поведении одних и совершенно противоположном образе действия других только один человек с каждой стороны прожил счастливо, а другие кончили печально. Он убедится, что Пертинаксу и Александру как новым людям на престоле было бесполезно и вредно подражать Марку, повелителю по праву наследства; точно так же для Каракаллы, Коммода и Максимина было гибельно подражать

Септимию Северу, так как в них не было достаточной силы, чтобы итти его путем. Таким образом, новый Князь в новом княжестве не может подражать деяниям Марка и не нужно ему гоняться за делами Севера, но он должен научиться у Севера, как устанавливать свою власть, а от Марка взять все необходимое, чтобы уметь со славою сохранить государство, уже давно существующее устойчиво и крепко.

ГЛАВА XX

О том, полезны или вредны крепости, и многое другое, к чему часто прибегают князья

Некоторые правители, чтобы спокойно владеть государством, обезоруживали своих подданных; другие старательно поддерживали в подвластных странах раздоры партий; третьи сеяли недовольство против себя же; некоторые старались привлечь на свою сторону людей, считавшихся в начале их правления ненадежными; иные возводили крепости, другие их разрушали и срывали. И хотя обо всех этих вещах нельзя высказать точного суждения, не касаясь особенностей государства, где пришлось принимать подобные меры, однако я буду говорить вообще, насколько сущность дела сама по себе это допускает.

Никогда не бывало, чтобы новый Князь обезоруживал своих подданных; наоборот, найдя их безоружными, он всегда их вооружал; ведь полученное ими от тебя оружие становится твоим, люди подозреваемые делаются тебе верными,

тот, кто был верен и прежде, в этом укрепляется и из подданного превращается в твоего сторонника. Но так как всех подданных вооружить нельзя, то, оказав милость тем, кому ты даешь оружие, можно уже свободнее поступать с прочими, и эта разница в обхождении, которую вооруженные поймут, заставляет их чувствовать, что они тебе обязаны; остальные же извинят тебя, признавая необходимость отличать тех, кто подвергается большим опасностям и несет больше обязанностей. Когда же ты обезоруживаешь подданных, то этим сейчас же оскорбляешь их, показывая, что, по трусости или недоверию, ты в них сомневаешься. И то и другое предположение вызовет к тебе ненависть. Но оставаться безоружным ты не можешь, и приходится обращаться к наемным отрядам, которые отличаются свойствами, уже описанными выше. Будь они даже хороши, их не может быть достаточно для защиты тебя от сильных врагов и ненадежных подданных. Поэтому, как я уже сказал, новый Князь в новом государстве всегда создавал собственные войска. Такими примерами полна история. Когда же Князь приобретает новое государство, присоединяемое как отдельная часть к его старым владениям, то необходимо это государство разоружить, кроме тех жителей, которые были твоими сторонниками при завоевании; но даже и этих людей надо со временем, пользуясь для этого обстоятельствами, сделать существами дряблыми и изнеженными, и вообще устроить так, чтобы все вооруженные силы государства состояли из

твоих собственных солдат, служащих тебе в твоей исконной земле.

Наши предки и другие люди, считавшиеся мудрыми, обыкновенно говорили, что для удержания Пистойи[91] нужны партии, а для удержания Пизы — крепости; поэтому они, чтобы легче господствовать, поддерживали в некоторых подвластных им странах гражданские смуты. В те времена, когда Италия была до известной степени в состоянии равновесия, это могло быть и правильно; но я не думаю, чтобы сейчас можно было держаться такого правила, ибо не верю, чтобы распри когда-нибудь приносили пользу; наоборот, при появлении неприятеля города, в которых есть рознь, сейчас же падут; более ловкая партия всегда примкнет к чужеземным силам, а другая не сможет устоять.

Венецианцы, как мне кажется, по этим соображениям поддерживали в подвластных им городах распри гвельфов и гибеллинов, и хотя они никогда не допускали до кровопролития, но все же поощряли эти взаимные раздоры, чтобы граждане, занятые своими ссорами, не объединились против них. Как известно, пользы от этого для них не получилось; ведь после поражения при Вайле одна из этих партий осмелела и отняла у них все владения. Итак, подобный образ действия обнаруживает слабость Князя, потому что при твердом управлении такие смуты никогда не будут допущены; они выгодны только в мирное время, когда, пользуясь ими, можно легче властвовать над подданными, но

как только наступает война, раскрывается ложь такого порядка.

Несомненно, князья становятся великими, когда преодолевают трудности и оказанное им сопротивление; поэтому судьба, особенно когда хочет возвеличить нового Князя, которому больше, чем наследственному, надо приобрести имя, посылает ему врагов и принуждает его сражаться, чтобы дать ему случай победить их и подняться выше по лестнице, поставленной для него врагами. На этом основании многие думают, будто умный Князь должен, когда представится случай, хитро возбудить против себя некоторых врагов, дабы, одолев их, еще больше увеличить свою славу.

Князья, и особенно князья новые, находили больше верности и пользы в людях, считавшихся в начале их правления ненадежными, чем в тех, кто сперва пользовался доверием. Князь Сиены Пандольфо Петруччи правил своим государством больше через людей, которым он когда-то не доверял, чем с помощью других. Но об этом нельзя говорить вообще, потому что все меняется в зависимости от обстоятельств. Скажу только, что если люди, бывшие в начале правления врагами Князя, таковы, что им самим теперь нужна его поддержка, то Князю ничего не будет стоить привлечь их на свою сторону; они тем более вынуждены честно служить, что знают, насколько необходимо им делом загладить сложившееся у Князя дурное мнение о них; таким путем Князь всегда извлечет из них больше пользы, чем из тех, кто слишком убе-

жден в беспорочности своей службы и потому пренебрегает его делами. Раз этого требует сущность дела, я не премину напомнить князьям, недавно овладевшим государством при помощи, оказанной изнутри, что им надо тщательно обдумать, какие причины заставили людей, помогавших им, так поступить. Если это не просто привязанность к ним, а произошло только от недовольства прежней властью, то новому Князю лишь с большими трудностями и стараниями удастся сохранить себе друзей, так как ему невозможно будет их удовлетворить. Рассуждая основательно о причинах этого и глядя на примеры древних и современных дел, Князь увидит, что ему гораздо легче приобрести друзей среди тех людей, которые были ему сначала враждебны, потому что довольствовались прежним порядком, чем среди тех, кто из-за недовольства властью сделался его союзником и помог ему захватить государство.

Для большей безопасности своего господства над государством у князей было в обычае возводить крепости, которые должны были служить уздой и сдержкой для тех, кто затеял бы выступить против них и давать верное убежище от первого натиска. Я одобряю это средство, потому что им пользовались издавна. Однако в наши дни мы видели, что мессер Никколо Вителли срыл две крепости в Читта ди Кастелло, чтобы удержать это государство. Гвидо Убальдо, герцог Урбино, возвратившись к власти, отнятой у него Цезарем Борджа, разрушил до основания все крепости этой провинции и считал, что без

них будет труднее снова лишить его власти. Так же поступили и Бентивольо, когда вернулись в Болонью. Итак, крепости бывают полезны или нет, смотря по времени; если они отчасти приносят тебе пользу, то, с другой стороны, вредны. Об этом можно было бы сказать следующее: Князь, который больше боится народа, чем чужеземцев, должен строить крепости, а правитель, который больше боится чужеземцев, чем народа, должен этим пренебречь. Ради миланского замка, построенного Франческо Сфорца, дому Сфорца пришлось и еще придется больше воевать, чем из-за каких-либо других неустройств в этом государстве. Поэтому лучшая крепость, какая возможна,— это не быть ненавистным народу. Ведь, если даже у тебя есть крепости, но народ тебя ненавидит, они тебя не спасут, потому что к народу, взявшемуся за оружие, всегда поспевают на помощь иноземцы. В наше время не было случая, когда бы крепости принесли пользу какому-либо Князю, разве графине Форли [92], после смерти ее мужа, графа Джироламо. Замок помог графине укрыться от нападения народа, дождаться помощи из Милана и восстановить свое господство. Времена тогда были такие, что извне нельзя было помочь народу. Но впоследствии крепости мало пригодились графине, когда на нее напал Цезарь Борджа, а враждебный ей народ соединился с чужеземцами. Поэтому и тогда и в первый раз для нее было бы гораздо безопаснее не возбуждать ненависти народа, чем иметь замок.

Рассмотрев, таким образом, все эти обстоятельства, я буду хвалить и того, кто строит крепости, и того, кто этого не делает; вместе с тем, я осужу того, кто, полагаясь на крепости, не посчитается с тем, что его ненавидит народ.

ГЛАВА XXI

Как поступать Князю, чтобы его почитали

Никто не внушает такого почтения к Князю, как великие предприятия и редкие примеры, которые он показывает собою. В наше время мы видим Феррандо Аррагонского, теперешнего короля Испании. Его почти можно назвать новым Князем, потому что из слабого короля он стал благодаря молве и прославленности первым государем христианского мира. Если вы будете размышлять о его подвигах, то найдете, что все они величественны, некоторые же необыкновенны. В начале своего царствования он напал на Гренаду [93], и это предприятие стало основой его мощи. Прежде всего, он подготовил дело спокойно, не боясь, что ему помешают, увлек им кастильских дворян, которые, отдавшись всеми мыслями этой войне, не думали о нововведениях; сам же тем временем приобрел высокое имя и власть над ними, чего они даже не заметили. Он мог на средства церкви и народа содержать войска и положить благодаря этой долгой войне начало собственной военной силе, которая впоследствии его прославила. Кроме

того, чтобы получить возможность отважиться на еще более крупные предприятия, он, действуя всегда во имя веры, предался благочестивой жестокости, изгоняя из своего королевства марранов и разоряя их. Не может быть примера более редкого и более удивительного. Прикрываясь той же религией, он захватил Африку, потом двинулся в Италию и напал наконец на Францию; так он все время совершал и готовил великие дела, чем и держал умы подданных, занятых мыслью об их исходе, в состоянии непрерывного напряжения и преклонения. Эти его предприятия были так связаны одно с другим, что в перерывах между ними у людей никогда не было ни времени, ни возможности одуматься и начать ему противодействовать.

Точно так же Князю очень важно подавать собой редкие примеры в делах внутреннего управления, как рассказывают о мессере Бернабо из Милана[94]. Это нужно в тех случаях, когда кто-нибудь сделает в гражданской жизни нечто особенное, хорошее или дурное, и надо избрать способ наградить или наказать его, о котором много бы говорили. Но, что важнее всего,— Князь, должен суметь каждым своим поступком создавать о себе молву, как о великом и выдающемся человеке.

Далее, Князя уважают, если он настоящий друг или настоящий враг, т. е. когда он без всяких оговорок объявляет, что принимает чью-нибудь сторону против кого-либо другого. Это всегда лучше, чем не вмешиваться, потому что

если два твоих могущественных соседа сцепятся, то или они таковы, что при победе одного тебе придется бояться победителя, или нет. В обоих случаях тебе всегда полезнее выступить прямо и вести открытую войну, прежде всего потому, что если ты не выступишь, то всегда будешь добычей победителя на радость и удовлетворение побежденному, и не будет тебе никакого оправдания, защиты и убежища. Ведь победитель не хочет иметь сомнительных друзей, которые не помогают ему в несчастии, а побежденный тебя не примет, так как ты не захотел с оружием в руках разделить его судьбу. Антиох по призыву этолийцев вступил в Грецию, чтобы изгнать оттуда римлян. Он отправил послов к друзьям римлян, ахейцам, чтобы уговорить их не вмешиваться, а римляне, с своей стороны, убеждали их поднять оружие совместно. Дело обсуждалось в Совете ахейцев, где посол Антиоха склонял их остаться в стороне. На это римский посол возразил: „Что касается разговоров этих людей о вашем невмешательстве в войну, то нет ничего более для вас вредного,— без признательности и чести будете вы добычей победителя".

Итак, всегда окажется, что тот, кто тебе не друг, будет домогаться от тебя невмешательства, а друг потребует, чтобы ты открыто выступил с оружием. Нерешительные князья, чтобы избежать опасностей в данную минуту, большей частью идут по пути такого невмешательства, и большей частью погибают. Но если князь смело примет чью-нибудь сторону, и тот,

к кому ты примыкаешь, победит, то хоть он и могуч, а ты в его власти, но он тебе обязан, и дружба установлена. Люди никогда не бывают настолько бесчестны, чтобы в этом случае быть твоими угнетателями, показав такой пример неблагодарности. Наконец, торжество никогда не бывает настолько полным, чтобы победителю можно было не считаться ни с чем, и больше всего со справедливостью. Если же твой союзник проиграл, он тебя примет, поможет по мере сил, и ты становишься товарищем его по судьбе, которая может повернуться к лучшему.

Во втором случае, когда воюющие таковы, что тебе не придется бояться победителя, тем более благоразумно присоединиться к кому-нибудь, потому что ты сокрушаешь одного из врагов с помощью того, кто должен был бы его спасать, будь он только умен; победив, он останется в твоей власти, а не одолеть при твоей помощи он не может. Здесь надо отметить, что Князя следует предупредить о том, чтобы он никогда не вступал в союз с более сильными, чем он сам, ради нападения на других, если, как сказано, его не принуждает необходимость; ведь при победе сильнейшего ты остаешься его пленником, а князья должны, по возможности, избегать зависимости от других. Венецианцы объединились с Францией против герцога Миланского, а они могли избежать этого союза, из которого вышло их собственное крушение. Но если уклониться нельзя, как было с флорентинцами, когда папа

и Испания шли с войсками походом на Ломбардию[95], тогда Князю, по указанным причинам, надо примкнуть. Пусть не думает никакая власть, что она может когда-нибудь принимать безопасные решения,— наоборот, пусть считает, что все они сомнительны; таков порядок вещей, что никогда нельзя стараться избежать одного неудобства, не попадая в другое. Благоразумие состоит в умении познавать свойства этих затруднений и принимать наименее скверное как хорошее.

Далее, Князь должен проявлять себя покровителем дарований и оказывать уважение выдающимся людям во всяком искусстве. Он должен, кроме того, побуждать своих сограждан спокойно заниматься своим делом: торговлей, земледелием и всяким другим человеческим промыслом, чтобы один не воздерживался от улучшения своих владений из страха, как бы их не отняли, а другой не боялся открыть торговлю, опасаясь налогов; он должен приготовить награды и тому, кто пожелает все это делать, и тому, кто думает, так или иначе, о росте его города или государства. Наконец, Князь должен в подходящее время года занимать народ празднествами и зрелищами, и так как всякий город разделен на цехи, или трибы, правителю надо считаться с этими объединениями, бывать иногда на их собраниях, показывать пример приветливости и щедрости, однако всегда твердо охраняя величие своего сана, потому что ни малейшего умаления его не должно быть никогда и ни при каких обстоятельствах.

ГЛАВА XXII

О советниках при князьях

Немаловажным делом для Князя является выбор ближайших советников. Они хороши или нет, смотря по благоразумию правителя. Чтобы судить об уме Князя, надо прежде всего видеть его приближенных. Если они дельны и преданы, Князя всегда можно считать мудрым, потому что он сумел распознать годных и удержать их в верности себе. Но если они не таковы, то вполне возможно неблагоприятное суждение о Князе, потому что первую свою ошибку он делает именно в этом выборе.

Кто только знал мессера Антонио де Венафро как министра Пандольфо Петруччи, князя Сиены, не мог не считать Пандольфо умнейшим человеком, раз у него был такой советник.

Ведь умы бывают трех родов, из коих один понимает все сам, второй усваивает мысли других, третий не понимает ни сам, ни когда ему объясняют другие; первые — это крупнейшие умы, вторые крупные, третьи бесполезные, и, следовательно, Пандольфо необходимо должен был принадлежать если не к первым, то ко вторым. И если человек настолько рассудителен, чтобы распознать добро или зло чьих-нибудь дел и слов, то хотя бы в нем не было ума острого, он понимает дурные и хорошие поступки министра, хвалит за одни, взыскивает за другие, а советник не может надеяться его обмануть и ведет себя как следует. Чтобы Князю узнать своего министра, на то есть следующий, всегда

безошибочный способ: если ты увидишь, что советник думает больше о себе, чем о тебе, и во всех делах ищет собственной пользы, то человек такого склада никогда не будет хорошим министром, ты не сможешь на него положиться; тот, в чьи руки отдана власть, обязан никогда не думать о себе, а только о Князе, и не смеет даже упоминать при нем о делах, не касающихся государства. С другой стороны, и Князь, чтобы поощрить усердие советника, должен о нем заботиться, оказывать ему почет, сделать его богатым, привязать его к себе, деля с ним и честь и укоры, дабы советник видел, что без Князя ему не устоять, дабы большие почести не вызывали в нем желания еще больших, большие богатства не побуждали его стремиться быть еще богаче, а тяжесть ропота кругом заставляла бы его бояться перемен. Итак, когда министры и Князья таковы, они могут доверять друг другу, но если дело обстоит иначе, конец всегда бывает печален или для одного или для другого.

ГЛАВА XXII

Как избегать льстецов

Я не хочу умолчать об одной важной вещи и пропустить ошибку, от которой князьям трудно уберечься, если в них нет исключительной проницательности и если они не умеют хорошо выбирать людей. Я говорю о льстецах, которыми полны дворцы. Ведь люди так восторгаются собственными делами и так себя на этот счет обманывают, что им трудно предо-

хранить себя от этого бедствия, а при желании от него избавиться возникает опасность, что их начнут презирать. Ведь нет средства оградиться от лести, кроме одного: люди должны знать, что они не оскорбляют тебя, говоря правду. Но если всякий может сказать правду в лицо, то пропадет почтение к тебе. Поэтому разумный Князь должен держаться третьего пути, выбирая в своем государстве мудрых людей, и только им он должен предоставить свободу говорить правду, притом только о делах, о которых он спрашивает, и ни о чем ином; спросить же государь должен о каждом деле, выслушать мнение советников, а затем решить самому и по своему усмотрению. Обращаться с этими советниками и с каждым отдельно надо так: пусть считают, что они понравятся Князю тем больше, чем свободнее будут говорить. Помимо них, не надо слушать никого, без колебаний проводить принятое решение и твердо стоять на своем. Кто поступает иначе, тот или погибнет от льстецов, или часто меняет свои намерения вследствие разнородных советов: тогда его перестают уважать. Я хочу привести недавний пример. Отец Лука, человек близкий к Максимилиану[96], теперешнему императору, говорил в беседе о его величестве, что он ни с кем не советовался и нельзя на его решения полагаться. Итак, происходило от того, что он поступал совершенно обратно сказанному выше. Так как император — человек скрытный, он не сообщает своих намерений никому и не слушает мнений, но так как только при выполнении ре-

шений мнения эти узнаются и обнаруживаются, приближенные начинают возражать, и он, как человек нетвердый, уступает. Выходит поэтому, что сделанное накануне отменяется на следующий день, никогда не знаешь, чего император хочет или как он собирается поступить, и нельзя на его решения полагаться. Итак, Князь постоянно должен обращаться за советом, но только когда этого хочет он, а не другие. Мало того: он должен отбить у каждого охоту советовать ему в чем бы то ни было, если он сам об этом не просит, сам же должен быть щедрым вопрошателем и терпеливым слушателем правды о спрошенном; наоборот, он должен разгневаться, если увидит, что правду почему-то скрывают. Если некоторые полагают, что какой-нибудь Князь, слывущий разумным, считается таковым не по своей природе, а благодаря хорошим советам, полученным от приближенных, то это несомненно ошибка. Дело в том, что есть следующее общее правило, никогда не допускающее ошибок: Князь сам по себе не мудрый не может иметь хороших советников, разве только он целиком доверится одному, который направлял бы его во всем и был бы человеком отменно умным. В таком случае это возможно; однако не надолго, потому что такой руководитель скоро отнял бы у него власть; если же Князь, не будучи мудрым, спрашивает не одного, а нескольких, он никогда не получит согласных мнений и сам не сумеет привести их в согласие. Каждый советник будет думать о своей выгоде, а Князь не сможет ни исправить их,

ни даже понять. Лучших найти не удастся, потому что люди всегда будут с тобой злы, если только необходимость не приведет их к добру. Итак, надо заключить, что хорошие советы, кто бы их ни давал, происходят от благоразумия Князя, а неблагоразумие Князя от хороших советов.

ГЛАВА XXIV

Почему князья Италии лишились своих государств

Если благоразумно соблюдать описанные выше правила, то новый Князь становится как бы исконным, и власть его сразу делается крепче и обеспеченнее, чем если б он правил с древних времен.

Ведь новый Князь, куда больше чем наследственный, привлекает внимание к своим поступкам, и если в них сказывается его сила, то она действует на людей гораздо больше и привязывает их куда крепче, чем древняя кровь. Ведь события настоящего захватывают людей много больше, чем дела минувшие, и когда люди в настоящем находят благо, то радуются этому и не ищут другого; напротив, они будут всячески защищать нового Князя, лишь бы он в остальном был на высоте своего дела. Он будет славен вдвойне за то, что основал новое княжество, возвеличил его, укрепил хорошими законами, сильным войском и достойными примерами. И точно так же покроет себя двойным позором тот, кто, родившись Князем, потерял власть из-за собственного неразумия. Посмо-

тришь на князей, лишившихся в наши дни своих государств в Италии, как король Неаполитанский, герцог Миланский и другие, и откроется прежде всего, что был у них общий порок — именно устройство войска, а причины этого отмечены выше.

Затем выяснится, что некоторым из них народ был враг, а другие, пользуясь народным расположением, не сумели обезопасить себя от знати. Без этих ошибок не лишаются государств, которые жизненно настолько сильны, что могут выставить в поле войска. У Филиппа Македонского — не отца Александра, а у того, кто был побежден Титом Квинкцием,— владения были невелики сравнительно с могуществом напавших на него римлян и Греции, но так как это был человек войны, умевший поддержать бодрость в народе и обезопасить себя от знати, то он выдерживал борьбу целый ряд лет, и если потерял в конце концов несколько городов, то все же царство у него осталось. Итак, пусть наши правители, много лет властвовавшие в своих княжествах, обвиняют за утрату их не судьбу, а свою неумелость; в спокойные времена им никогда в голову не приходило, что обстоятельства могут измениться (это общий недостаток людей — в ясную погоду забывать о буре), когда же наступили времена тяжкие, они думали о бегстве, а не о защите и надеялись, что народы, возмущенные наглостью победителей, призовут их обратно. Этот выход хорош, если нет других, но очень плохо упустить из-за него все прочие средства. Ведь ни-

кому не вздумалось бы упасть, в надежде, что кто-нибудь тебя поднимет. Так не бывает, а если и бывает, то в этом нет для тебя безопасности, потому что подобная защита недостойна и от тебя не зависит; хороша, надежна, крепка только та помощь, которая зависит от тебя и от твоей собственной силы.

ГЛАВА XXV

Что значит в человеческих делах судьба и как с ней можно бороться

Мне небезызвестно, что многие держались и держатся мнения, будто дела мира так направляются судьбой и богом, что люди, с их умом, ничего изменить в этом не могут, а, наоборот, совершенно беспомощны. Итак, можно было бы сказать, что не стоит в поте лица над этими делами трудиться, а надо предоставить себя на волю судьбы. Это мнение еще больше утвердилось в наши времена благодаря великим переворотам, совершившимся и совершающимся каждый день у нас на глазах, наперекор всякой человеческой предусмотрительности. Иногда размышляя об этом, я в известной мере склонялся к мнению таких людей. Однако, дабы не была утрачена наша свободная воля, можно, думается мне, считать за правду, что судьба распоряжается половиной наших поступков, но управлять другой половиной или около того она предоставляет нам самим. Я уподобляю судьбу одной из тех разрушительных рек, которые, разъярившись, за-

ливают долины, валят деревья и здания, отрывают глыбы земли от одного места и прибивают к другому. Каждый бежит перед ними, все уступает их натиску, не имея сил ни на какую борьбу. И хотя это так, оно все же не значит, чтобы люди в спокойные времена не могли принимать меры заранее, строя заграждения и плотины, дабы волны при новом подъеме или направлялись по отводу, или напор их не был так безудержен и губителен. То же происходит и с судьбой: она проявляет свое могущество там, где нет силы, которая была бы заранее подготовлена, чтобы ей сопротивляться, и обращает свои удары туда, где, она знает, не возведено плотин и заграждений, чтобы остановить ее. Если вы посмотрите на Италию, страну этих переворотов, давшую им толчок, то увидите, что это равнина без единой насыпи и преграды. Будь она защищена достаточной силой, как Германия, Испания или Франция, наводнение не причинило бы происшедших великих изменений или вовсе бы не случилось. Нахожу, что сказанного довольно, поскольку речь шла о сопротивлении судьбе вообще. Сосредоточиваясь, однако, ближе на частностях, скажу, что мы видим, как сегодня тот или другой Князь процветает, а завтра погибает, причем не изменилась ни природа, ни свойства его. Я уверен, что это вызвано главным образом причинами, о которых подробно говорилось раньше, именно: что Князь, полагающийся целиком на счастье, погибает, как только оно ему изменяет. Утверждаю также, что счастлив

тот, кто сообразует свой образ действий со свойствами времени, и столь же несчастлив тот, чьи действия с временем в разладе. Ведь мы видим, что люди при обстоятельствах, ведущих к цели, стоящей перед каждым, то есть к славе и богатству, поступают по-разному: один идет с оглядкой, другой стремится вперед, один берет силой, другой хитростью, один терпением, другой совершенно обратным, и каждый может этими разнообразными средствами достигнуть своего. Видим еще, как из двух осторожных людей один осуществляет свой замысел, другой нет, и точно так же как двое преуспевают одинаково, идя разными путями, причем один осмотрителен, а другой идет напролом. Бывает это не иначе, как от свойств времени, к которым люди применяются или не применяются в поведении своем. Отсюда происходит то, о чем я говорил, именно: что двое людей, поступающих различно, достигают одинакового успеха, а из двух других, действующих одинаково, один приходит к своей цели, а другой нет. От этого же зависит и колебание счастья; ведь если кто-нибудь ведет себя с осторожностью и терпением, а времена и дела складываются так, что его поведение окажется удачным, то он счастлив во всем, но стоит временам и делам измениться, и он погибает, потому, что не меняет образа действия. Нет человека настолько благоразумного, чтобы уметь к этому приспособиться: нельзя отступать от склонностей собственной природы, и если человек всегда преуспевал, идя одной

дорогой, нельзя ему убедить себя с нее свернуть. Вот почему человек осторожный, когда настанет время итти напролом, не умеет этого сделать и погибает; если бы вместе с временами и делами менялась его природа, то судьба была бы неизменной. Папа Юлий II во всем действовал натиском, и оказалось, что времена и дела настолько подходили к этому его свойству, что исход был всегда счастливый. Посмотрите на его первый поход на Болонью еще при жизни мессера Джованни Бентивольо[97]. Венецианцы были против, король испанский тоже, с Францией об этом предприятии шли переговоры, и тем не менее папа с обычной своей необузданностью и решительностью сам стал во главе похода. Этот шаг заставил Испанию и венецианцев в замешательстве остановиться: Венецию — из страха, Испанию — из желания вернуть все королевство Неаполитанское; с другой стороны папа переманил на свою сторону короля французского. Видя, что дело начато, и желая заручиться дружбой папы, чтобы унизить венецианцев, король не счел возможным отказать в помощи своих войск, не нанося папе явного оскорбления. Таким образом, Юлий своим стремительным движением осуществил то, что никогда не удалось бы другому папе при всем возможном человеческом благоразумии: ведь если б он выждал заключения договоров и устройства всех дел, чтобы уехать из Рима, как сделал бы любой другой папа, то никогда не имел бы этого успеха. У короля французского нашлась

бы тысяча оговорок, а у других — тысяча угроз. Не хочу останавливаться на прочих его делах, которые все были похожи на описанное и все кончались успешно; краткость жизни папы не дала ему возможности испытать неудачи, так как если бы наступили времена, требующие осторожности, то с ними пришла бы его гибель: никогда не отступил бы он от средств, к которым влекла его природа. Итак, я заключаю, что раз судьба изменчива, а люди в поведении своем упрямы, то они счастливы, пока судьба в согласии с их поведением, и несчастны, когда между ними разлад. Полагаю, однако, что лучше быть смелым, чем осторожным, потому что судьба — женщина, и если хочешь владеть ею, надо ее бить и толкать. Известно, что таким людям она чаще дает победу над собою, чем тем, кто берется за дело холодно. И наконец, как женщина, судьба всегда благоволит к молодым, потому что они не так осмотрительны, более отважны и смелее ею повелевают.

ГЛАВА XXVI [38]

Воззвание об овладении Италией и освобождении ее из рук варваров [39]

Пересматривая все сказанное выше и размышляя наедине с собой, благоприятствуют ли сейчас времена возвышению в Италии нового властителя и есть ли в ней материал, которым мог бы воспользоваться умный и сильный человек, чтобы дать ему форму во славу себе и на благо всему ее населению, я вижу столь

многое, способствующее новому Князю, что не знаю, было ли когда-нибудь время, более для этого удачное.

Если, как я говорил, чтобы проявилась мощь Моисея, необходимо было народу израильскому рабство его в Египте, а для познания величия души Кира требовалось, чтобы персы оказались под игом мидян, и если положено было афинянам жить в рассеянии, чтобы раскрылась доблесть Тезея, то и сейчас, чтобы познать силу итальянского духа, должна была Италия опуститься до нынешнего предела, быть больше рабой, чем евреи, больше слугой, чем персы, больше рассеянной, чем афиняне, быть без главы, без государственного закона, разбитой, ограбленной, истерзанной, опустошенной, претерпевшей все виды унижения. Хотя и до сих пор появлялся иной раз как бы луч надежды в образе того или другого человека, и можно было думать, что он послан богом для ее спасения, но затем всегда оказывалось, что судьба отталкивала его в самый разгар подвигов. Так, словно покинутая жизнью, ждет Италия, кто же сможет исцелить ее раны, положить конец разграблению Ломбардии, поборам в Неаполе и Тоскане, излечить давно загноившиеся язвы. Посмотрите, как молит она бога о ниспослании того, кто бы спас ее от этих жестокостей и дерзости варваров. Посмотрите далее, как она вся готова стать под чье-нибудь знамя, лишь бы нашелся человек, который его поднимет. Не видно, на кого бы Италия в настоящую минуту могла больше надеяться,

чем на ваш знаменитый дом; он, счастие и доблесть которого отмечены покровительством бога и церкви, ныне им же возглавляемой, мог бы взять на себя долю освобождения. Это будет не так трудно, если вы вспомните деяния и жизнь тех, кто был назван уже раньше. Пусть такие люди редки и подобны чудесам, они были все же людьми, и никому обстоятельства так не помогали, как сейчас нам; ведь предприятие их не было ни справедливее этого, ни легче, и бог не был к ним милостивее, чем к вам. Здесь праведное, великое дело: ибо война справедлива для тех, кому необходима, и оружие священно, когда оно является единственной надеждой. Все готово вполне. Когда велика подготовленность, не может быть больших трудностей, только бы руководился ваш дом действиями тех, кого я поставил образцом. Более того: являются необычайные, беспримерные знамения божии: разверзлось море, облако указывало путь, скала источала воду, падала манна дождем,— все соединилось во имя величия вашего. Остальное должны сделать вы сами. Бог не хочет совершить все, чтобы не лишать нас свободной воли и частицы славы, выпадающей на нашу долю. Не удивительно, что никто из названных выше итальянских вождей не в силах был исполнить подвиг, которого можно ожидать от вашего прославленного дома, и что после стольких переворотов и войн всегда кажется, что иссякла боевая доблесть Италии. Это происходит от того, что ее старые учреждения не годились

и не было никого, кто сумел бы даровать ей новые. Ничто ведь не приносит человеку, только еще возвышающемуся, столько чести, как созданные им новые законы и новые учреждения. Если такие дела стоят на крепкой основе и в них есть величие, они делают Князя предметом поклонения и восхищения; в Италии же нет недостатка в материале, которому можно придать любую форму. Велика мощь в членах тела, лишь бы хватило ее у вождей. Посмотрите, как на поединках и в схватках между немногими выделяются итальянцы силой, ловкостью, находчивостью в бою. Но стоит им выступить целым войском, и они не выдерживают. Все это происходит от слабости вождей. Кто что-нибудь понимает, того не слушаются, и всякому кажется, что он все может сам, раз до сих пор никто не сумел настолько выделиться собственной силой и счастьем, чтобы перед ним склонились остальные. Отсюда и получилось, что за все это время, в течение всех войн, которые велись за прошедшие двадцать лет, войско, состоявшее целиком из итальянцев, всегда терпело неудачи. Об этом свидетельствует Таро [100], затем Александрия [101], Капуя [102], Генуя [103], Вайла, Болонья [104], Местри [105].

Поэтому, если наш знаменитый дом захочет пойти по стопам тех замечательных, освободивших свои земли [106] людей, необходимо, прежде всего, позаботиться о создании собственной боевой силы как истинной основы всякого военного предприятия; нельзя иметь более верных, настоящих, лучших солдат, чем свои. И ес-

ли каждый хорош в отдельности, то вместе все станут еще лучше, когда увидят, что распоряжается ими свой собственный Князь, что они на его попечении и он их отличает. Необходимо подготовить эти войска, чтобы можно было со всей силой итальянской доблести защищаться от иноземцев. И хотя швейцарская и испанская пехоты считаются грозными, однако у обеих есть недостатки, так что третья сила могла бы не только им сопротивляться, но даже рассчитывать их одолеть. Ведь испанцы не выдерживают конницы, а швейцарцам надо бояться пехоты, если они встретят в ней то же упорство в бою, какое есть в них самих. Таким образом, на опыте обнаружилось и будет еще показано, что испанцы не могут устоять против французской конницы, а швейцарцы уничтожаются испанской пехотой. Хотя относительно последней не было еще сделано решающего испытания, однако кое-что видно уже из сражения при Равенне, когда испанская пехота встретилась с немецкими отрядами, у которых боевой строй тот же, что у швейцарцев: испанцы, благодаря ловкости своего тела, пробрались под прикрытием своих маленьких щитов под немецкие копья и безопасно для себя кололи немцев, которые ничего не могли с ними поделать: если бы на испанцев не бросилась конница, они перебили бы всех. Зная, таким образом, недостатки той и другой пехоты, ты можешь образовать новую, которая устоит перед конницей и не побоится пехотинцев. Это будет достигнуто не благодаря роду оружия, а за-

менением боевого строя[107]. Такие порядки, заведенные впервые, составят славу и величие нового Князя.

Итак, нельзя упустить этот случай, дабы Италия после стольких лет ожидания увидела наконец своего спасителя. Не могу выразить, с какой любовью встретили бы его во всех областях, пострадавших от нашествий чужеземцев, с какой жаждой мести, с какой несокрушимой верой, с каким благоговением, с какими слезами! Какие ворота закрылись бы перед ним, какой народ отказал бы ему в повиновении, как могла бы зависть стать ему поперек дороги, какой итальянец не пошел бы за ним? Каждому из нас нестерпимо тошно от этого варварского господства. Пусть же ваш прославленный дом возьмет на себя этот долг с той силой души и надежды, с которой берутся за правое дело, дабы отечество прославилось под сенью его знамени и исполнились под его водительством слова Петрарки (canz. XVI, 93—96):

> Virtù contro al furore
> Prenderà l'arme; e fia 'l combatter corto:
> Che l'antico valore
> Nell' italici cor non è amor morto [1].

---

[1] Доблесть ополчится на неистовство, и краток будет бой. Ибо не умерла еще древняя храбрость в итальянской груди.

ПРИМЕЧАНИЕ

[1] „Князь“ („Il Principe“) закончен в декабре 1513 г., в пору самого напряженного творчества Макиавелли, совпавшую с реставрацией Медичи во Флоренции (сентябрь 1512), когда секретарь Совета Десяти, отставленный от всех должностей, очутился в подневольном деревенском уединении и писал свои „Discorsi“. При жизни Макиавелли „Principe“ был известен лишь по спискам и впервые, через 4 года после смерти Макиавелли, издан в 1532 г. Антонио Бладо д'Азола в Риме с одобрения папы Климента VII, предоставившего издателю специальную привилегию. За этим последовали флорентинские (1532 и 1540) и венецианские издания, а в 1544 г. уже появился первый французский перевод Жака Гогори (Jacques Gohory). Но официальное благоволение к Макиавелли быстро пришло к концу. Торжество феодальной и католической реакции в Италии должно было резко сказаться на отношении к мыслителю, занимавшему по вопросу о папстве такую прямолинейную позицию,

как Макиавелли. Морально-обличительный поход против писателя, видевшего в папстве основную причину разложения Италии, начинается уже с 30-х годов XVI века (кардинал Реджинальд Поло, Катаризо Политн, Озорио), а затем во главе его становятся иезуиты, в руках которых поход принимает более конкретные формы. В 1559 г. папа Павел IV уже вносит сочинения Макиавелли в индекс запрещенных книг, а в 1564 г. этот запрет санкционируется Тридентским собором.

Не приходится возвращаться сейчас к вопросу о соотношении „Discorsi" и „Principe", в котором бесчисленные критики так долго хотели усматривать только покаянную монархическую манифестацию, не имеющую ничего общего с республиканскими „Discorsi" и вызванную утилитарными и карьерными соображениями флорентинского секретаря, пострадавшего от Медичи. Сопоставление обоих произведений неопровержимо ясно вскрывает их нерасторжимую внутреннюю связь, и Виллари мог с полным правом сказать, что если бы „Principe" вообще пропал, а мы бы знали только его тему и основные очертания, то его можно было бы легко реконструировать по богатому материалу „Рассуждений" (*Villari*, II, 270). Но тот же историк подчеркивает, что Макиавелли, конечно, имел в виду и другую цель — напомнить Медичи, которые тоже собирались по-своему возобновить традиции Цезаря Борджа и взяться за создание нового государства в составе Пармы, Модены, Пьяченцы и Реджо, как осуществляются подобные предприятия и насколько им может пригодиться человек, имевший опыт близкого общения с таким мастером дела, как герцог Валентино. Этой цели

Макиавелли не достиг, но он достиг другой, которой он, вероятно, не ожидал. Небольшой очерк о Князе своей блистательной славой затмил все богатое литературное наследство Макиавелли. Прошло не меньше 300 лет лицемерных обличений и односторонних апологий, пока начал восстанавливаться настоящий образ Макиавелли как мыслителя. Любопытно, что верно почувствовал его еще Пушкин, когда писал: „Иезуит Поссевин, столь известный в нашей истории, был одним из самых ревностных гонителей памяти Макиавеллевой. Он соединил в одной книге все клеветы, все нападения, которые навлек на свои сочинения бессмертный флорентинец, и тем остановил новое издание оных. Ученый Conringius, издавший „Il Principe“ в 1660 году, доказал, что Поссевин никогда не читал Макиавелли и толковал о нем по наслышке“ (Соч. под ред. Ефремова, V, 521).

[2] Макиавелли первоначально озаглавил свою книгу не „Князь“, а — „О княжествах“ („De Principatibus“). Он писал своему приятелю Веттори 10 декабря 1513 г.: „Я углубляю в нее, насколько могу, свои мысли об этом предмете и обсуждаю, что такое княжество, каких оно бывает видов, как их приобретают, удерживают и теряют“ (Opere (1819), XI, 115). Трактат свой он хотел посвятить предполагаемому главе нового княжества в составе Пармы и Модены, Джулиано Медичи (1479—1516), брату папы Льва X, но так долго медлил, что Джулиано успел умереть (1516), и посвящение было обращено к его племяннику Лоренцо Медичи, герцогу Урбинскому (1492—1519).

[3] Макиавелли называет principe всякого независимого государя. Под это понятие подходят и Людовик XII, и император Максимилиан, и Фердинанд

Католик. Понятно, однако, что типический principe — это соотечественник Макиавелли, итальянский тиран XV и XVI веков, т. е. человек, добившийся власти собственным дерзанием, энергией и даровитостью. Ему-то и приходится чаще всего быть тем „новым Князем“ ,который занимает Макиавелли, интересующегося в „Principe“ не столько нормальным ходом жизни государства, сколько моментами кризисов — захвата и потери власти.

[1] В оригинале: „gli stati“. Историки и публицисты (Ранке, Еллинек) указывают на Макиавелли, как на писателя, который ввел самое слово stato для обозначения понятия государства. Не углубляясь в эту тему, которая потребовала бы сама по себе целой монографии, будем только иметь в виду, что слово stato у Макиавелли встречается в очень разнообразных значениях, а самое понятие всегда конкретно и, конечно, далеко от того схематизма, которое оно получило в научной терминологии XIX века.

Stato прежде всего встречается у Макиавелли и не в смысле государства, а как обозначение общественного положения человека, например, когда он говорит о гражданах, которые живут в республике на положении частных людей („in stato privato“) и возвышаются затем в силу тех или других обстоятельств („Discorsi“, кн. 1, гл. X). Как государство, stato для Макиавелли — это прежде всего власть, добытая и организованная личным творчеством человека, устроителя и законодателя. Объясняя происхождение государства, Макиавелли ищет прежде всего его строителя, „edificatore“ („Discorsi“, кн. 1, гл. I). Самые первоначальные понятия социальной жизни, как самозащита, сознание общественно-полезного или вред-

ного, основаны на подчинении избранному вождю, сильнейшему и храбрейшему человеку (там же, кн. 1, гл. II). Когда жизнь становится сложнее, усложняются и качества вождя, от которого уже требуются свойства мудрости и справедливости. Государство требует основателя, которому приходится иметь дело с более чем несовершенным человеческим материалом, и законодатель дает форму этой безликой массе, работая над ней как скульптор. Этот „fondatore" („Discorsi", кн. 1, гл. IX) строит государство, и свою мысль он выполняет один. Описывая творческую работу такого созидателя, Макиавелли всегда употребляет самые конкретные слова. Древний законодатель делал государство — „fece uno stato" („Discorsi", кн. 1, гл. II), и точно так же мыслится роль макиавеллиевского principe, который всегда занят тем, что „приобретает" (acquista) государство и „удерживает" его (mantiene) или борется с возможностью его „потерять". Эта концепция государства вполне понятна у писателя Возрождения, современника Борджа, Лодовико Моро, Фердинанда Католика и др. Stato для Макиавелли — это прежде всего произведение человеческого искусства, а не какой-либо объективный порядок трансцендентного, природного или социального происхождения. Самостоятельная деятельность учреждений, созданных устроителем, вся безличная работа государственного механизма начинается только тогда, когда „fondatore" свое дело сделал. Тогда государство уже приобретает черты некоторой постоянной организации, и Макиавелли уже говорит о государстве народном (stato popolare), о государстве аристократическом (stato di Ottimati) и т. д., переходя затем к учению о формах правления. Наконец,

термин stato встречается у Макиавелли и в географическом смысле для обозначения территориального деления, и для описания различных подробностей конституционного порядка, отражающего борьбу социальных групп, например, когда он рассуждает о разных „stati", сменявших друг друга во Флоренции.

[5] Под республикой Макиавелли имеет в виду не формальную демократию, а некоторую смешанную форму правления, в котором совмещаются три элемента: выборный Князь, вельможи и народ („Discorsi", кн. 1, гл. II).

[6] Франческо Сфорца (1401—1465), побочный сын знаменитого кондотьера Муцио Аттендоло Сфорца, командовал после смерти отца его войсками. В 1434 г. папский наместник в Анконе, он в том же году перешел на службу Флоренции, в 1441 г. женился на Бьянке Висконти, дочери герцога миланского Филиппо Мариа Висконти, в 1442 г. вступил в войну с папой Евгением IV, кончившуюся приобретением значительной части Анконской Марки. С 1450 г.— герцог Миланский.

[7] Королевство Неаполитанское окончательно завоевано знаменитым испанским полководцем Гонсальво Кордовским в мае 1503 г.

[8] В тексте: „per fortuna o per virtù". Макиавелли, совершенно отошедший в своем трактате от христианской трактовки „добродетели" и „провидения" (Виллари называет его „paganissimo",— насквозь язычник,— II, 273), отводил значительное место в своем миропонимании идее судьбы, которую он понимает то как катастрофическую силу, вмешивающуюся в дела людей в критические минуты, то как счастье, т. е. определенное стечение не зависящих от челове-

ческой воли обстоятельств. Но если термин fortuna еще более или менее традиционен, то сопоставление fortuna — virtù уже вполне оригинально и вскрывает самую сущность его историко-политической философии. Понятие virtù, неразрывно связывающее Макиавелли со всей культурой Возрождения, является для него центральным и вместе с тем представляет большие трудности для перевода на другой язык, так как единого адэкватного термина, покрывающего всю его многогранность, ни на русском, ни на других европейских языках не существует. Все попытки его передачи в иностранных и русских переводах „Principe“ („Tapferkeit“, „Tüchtigkeit“, „Verdienst“, „vertu“, „talent“, „habileté“, „merite“, „доблесть“, „личные достоинства“) односторонни и бедны по сравнению с итальянским смыслом этого слова, точно сконцентрировавшего в себе мысль эпохи о вновь открытых силах, заложенных в человеке. Наиболее далеко от действительного смысла virtù передача его словом „добродетель“ (vertu). В этом смысле virtù употребляется Макиавелли крайне редко, например когда Макиавелли, описывая карьеру и злодейства Агафокла, говорит: „Нельзя называть добродетелью убийство сограждан...“ и т. д. („non si può chiamare virtù ammazare i suoi cittadini“) и несколькими строками ниже: „non si può attribuire alla fortuna o alla virtù quello che senza l'una e l'altra fu da lui conseguito“ („Principe“, гл. VIII). И действительно, если virtù — добродетель, то добродетель совершенно особого рода, совершенно чуждая традиционных представлений, та „moralfreie Tugens der Renaissance“, о которой с таким восхищением говорил Фридрих Ницше. Уже несколько ближе к подлиннику передача virtù как

„доблесть". В этом смысле virtù часто встречается у Макиавелли, особенно в „Discorsi", например при общих оценках римского государственного строя („Coloro che leggeranno qual principio fusse quello della città di Roma, non si maravigliarono, che tanta virtù si sia per piu secoli mantenuta in quella città"; „Discorsi", кн. 1, гл. I) или при описании военных эпизодов („furone superati i sanniti, perche la virtù Romana... superò qualunque ostinazione ei potessero avere..." и т. д.; „Discorsi", кн. 1, гл. XVI). Однако надо прямо сказать, что антично-музейный оттенок слова „доблесть" далеко не охватывает всего содержания virtù. Когда Макиавелли пользуется этим термином как общим понятием или применяет его для характеристики современных событий, virtù означает у него прежде всего полноту человеческой силы, ума и воли, направленных на создание, устройство или сохранение государства, т. е. на цель, которая сама себя оправдывает. Слово virtù, пишет Виллари (II, 274), всегда означает у Макиавелли храбрость и энергию, как в добре, так и во зле. Это безразличие к моральным оценкам поступков, связанных с осуществлением власти, которое раскрывается в трактате Макиавелли с бесстрашием и глубиной, не превзойденными в мировой литературе, объясняет и посмертную судьбу мыслителя, которого веками травили за безнравственность, потому что он не побоялся обнаружить разрыв своей политической морали с метафизическими представлениями о добре и зле. В „Князе" virtù употреблено почти исключительно в отмеченном выше смысле раскрывающей все свои возможности человеческой силы. Это слово соединяется и с представлением о диком характере и

безграничной воле („Era nel duca tanta ferocia e tanta virtù"; „Principe", гл. VII) и с указанием на телесную силу и смелость („virtù d'animo e di corpo"; „Principe", гл. VIII), совместимую, как это было у Агафокла, со всяческими злодействами (sceleratezze), хотя по поводу этого примера Макиавелли делает больше всего оговорок и буквально жонглирует термином, употребляя его рядом в самых разных смыслах. Оно же служит для характеристики ума и проницательности („uomo di frande ingegno e virtù"; „Principe", гл. VIII), военных талантов и т. п. (см. вступительную статью).

[9] Эрколе д'Эсте, герцог Феррарский. Макиавелли имеет в виду войну Венеции против Феррары, начавшуюся в 1482 г., в которую вмешался и папа Сикст IV, желавший отобрать Феррару у д'Эсте для своего племянника Джироламо Риарио.

[10] Альфонсо д'Эсте, сын Эрколе, герцог Феррарский. В 1510 г. объявлен врагом церкви папой Юлием II. В 1512 г. воюет в союзе с Францией. Впоследствии перешел на сторону императора Карла V и в 1526—1527 гг. способствовал движению испанцев на Рим (см. вступительную статью).

[10] Макиавелли называет смешанным всякое государство, новые владения которого присоединены к его исконным землям.

[12] Герцог Миланский Лодовико Моро.

[13] Макиавелли имеет в виду поражение французской армии при Новаре 6 июня 1513 г., решившее неудачу Людовика XII в Италии.

[14] Бретань — с 1213 г. вассальное герцогство Франции. Присоединена к французским владениям вследствие брака короля Людовика XII с Анной Бре-

тонской, дочерью последнего герцога Бретани, Франциска II.

[15] Бургундия — до последней четверти XV века самостоятельное государство (в восточной Франции), включавшее в себя, кроме провинции Бургундии, провинции Артуа и Пикардию, Фландрию, Брабант и герцогство Люксембургское. После смерти герцога Карла Смелого (1477) французский король Людовик XI завладел герцогством Бургундским на правах сюзерена, и эта инкорпорация закреплена по Аррасскому договору 1482 г.

[16] Гасконь — старая французская провинция. В 1040 г. вошла в состав провинции Гиень. В 1452 г. отвоевана у Англии французским королем Карлом VII.

[17] Нормандия — французская провинция. Завоевана у англичан французским королем Филиппом II Августом в 1203—1204 гг.

[18] Филипп III Македонский (221—179) разбит римлянами в 197 г. (Ливий, 33, 7—9).

[19] Антиох II, царь сирийский (224—187).

[20] Французский король Карл VIII (1483—1498).

[21] Целью похода Людовика XII в Италию было завоевание Милана, на который французский король претендовал как внук Валентины Висконти, дочери герцога Миланского Джованни Галеаццо и жены Людовика Орлеанского, брата французского короля Карла VI (1380—1422). Оборонительный и наступательный союз Франции с Венецией заключен 9 февраля 1499 г. По этому договору Франция обязывалась уступить венецианцам часть Миланского герцогства.

[22] Франческо Гонзага (1466—1519) — маркиз Мантуанский.

[23] Эрколе I д'Эсте (1471—1505).

[24] Катерина Сфорца, дочь герцога Миланского Галеаццо Мария. К. Сфорца была замужем за сыном папы Сикста IV Джироламо Риарио. Прославилась защитой Форли против Цезаря Борджа. После падения Форли удалилась во Флоренцию. Сыном ее от последнего брака был знаменитый кондотьер Джованни Медичи, вождь Черных Отрядов.

[25] Фаэнца — город в провинции Равенна. 25 апреля 1501 г. после продолжительной осады взята Цезарем Борджа. Властитель города, шестнадцатилетний Асторре Манфреди, которому по условиям капитуляции предоставлялось свободно удалиться, был схвачен, брошен в Замок Св. Ангела, и удавлен в июне 1502 г.

[26] Пезаро — город в Анконской Марке. Принадлежал Джованни Сфорца, первому мужу сестры Цезаря Борджа — Лукреции. В 1500 г. захвачен Цезарем Борджа с помощью Франции.

[27] Римини — город в Анконской Марке. Захвачен в 1500 г. Цезарем Борджа, изгнавшим местного тирана Пандольфо Малатеста.

[28] Камерино — город в Анконской Марке. Захвачен в июне 1502 г. Цезарем Борджа. Владетель Камерино Джулио Варано с сыновьями удавлен.

[29] Пьомбино — город в Тоскане. Местный владетель Якопо IV д'Аппиано изгнан Цезарем Борджа, захватившим город 3 сентября 1501 г.

[30] Тайный договор о разделе Неаполя между Людовиком XII и Фердинандом Католиком заключен в Гренаде 11 ноября 1500 г. и санкционирован папой Александром VI.

[31] Дарий III — царь персидский (336—330).

[32] Одна из многочисленных коронованных читательниц Макиавелли в XVII веке, Христина Швед-

ская, дочь Густава Адольфа, не вполне соглашалась с Макиавелли и писала в своих замечаниях на „Князя“: „Этой разницы больше не существует. Правительство во Франции — это турецкое правительство в миниатюре“. Христина, писавшая в 1684 г., имела в виду правление Людовика XIV.

[33] Капуя — город в древней Кампании. Макиавелли имеет в виду разрушение римлянами Капуи после второй Пунической войны (Ливий, 26).

[34] Нуманция — город в древней Кельтиберии (Северная Испания). Взят и разрушен римлянами в 133 г.

[35] Джироламо Савонарола (1452—1498) — знаменитый флорентинский религиозный оратор, один из главных деятелей республиканской государственной реформы 1494 г. (см. вступительную статью). Его настойчивые требования созыва церковного собора для преобразования церкви и открытое обличение Борджа вызвали смертельную ненависть к нему папы Александра VI. Попытка Савонаролы самостоятельно осуществить во Флоренции религиозную реформу, которая должна была охватить всю жизнь республики и аскетизировать ее культуру, искусство и быт, не удалась, и Савонарола, осужденный при деятельном участии папских делегатов, погиб на костре 23 мая 1498 г.

[36] Гиерон Младший, тиран сиракузский, избран полководцем в 270 г. до н. э. Макиавелли заимствует свои сведения о нем из Ливия и Полибия.

[37] Римино, или Рамиро, д'Орко — наместник Цезаря Борджа в Романье. Казнь его, о которой здесь рассказывает Макиавелли, произошла 28 декабря 1502 г. Сообщая об этом во Флоренцию, Макиавелли писал: „Мессер Римино найден сегодня утром на площади.

разрубленный пополам; он лежит там еще до сих пор, и весь народ мог это видеть. Причины его смерти никто хорошо не знает, разве только, что так угодно было Князю, который показывает этим, что может возвеличивать и уничтожать людей по своей воле и сообразно с их заслугами" (Opere, VIII, 412).

[38] Гаэта — крепость в Южной Италии, остававшаяся в руках французов после поражения их в Неаполе.

[39] Отношение Макиавелли к Цезарю Борджа в VII главе „Князя", написанного в 1513 г., напоминает по приподнятости тона характеристику Валентино, которую мы находим в „Legazione al duca Valentino". Совсем иной тон принят в „Римской Легации", где Макиавелли говорит о Борджа не только без пафоса, но с реализмом, находящимся на границе прямого издевательства. Нетрудно, конечно, понять житейские причины этой перемены, но она связана в известной мере и с общими взглядами Макиавелли, выразившимися в его учении о virtù. Безусловно прав Виллари, указывающий, что „преклонению Макиавелли перед Валентино придается совершенно неверный смысл и значение. Если бы у какого-нибудь разбойничьего атамана хватило отваги и ловкости всколыхнуть страну и подчинить ее своей власти, Макиавелли и в данном случае преклонялся бы перед умением и мужеством, не смущаясь самыми жестокими и кровавыми деяниями. Даже из этого разбойника он мог бы создать в своей фантазии воображаемого героя, мог бы превозносить его мудрость и virtù в том смысле, в каком понимало это слово итальянское Возрождение. Но если бы Макиавелли впоследствии увидел того же разбойника потерявшим былой успех, вернувшимся в обстановку частной жизни, если бы

прежний счастливец предстал перед ним как человек жалкий и презренный, он, не колеблясь и не боясь впасть в противоречие, изобразил бы его таким, каким он был в действительности" *(Виллари,* русский пер., I, 360). В „Князе" Макиавелли, уже отошедший от переживаний 1503 г., изображал, конечно, не живого человека, а идеальный тип государственного деятеля Возрождения.

[40] Агафокл — тиран сиракузский (361—289). Рассказ Макиавелли об Агафокле заимствован у греческого историка Диодора Сицилийского и у римского историка Юстина.

[41] Гамилькар — карфагенский полководец; сражался в Сицилии в 260 г. до н. э.

[42] Здесь у Макиавелли уже вполне определенно выступает идея государственной необходимости. В его „Discorsi" оправдание насилия во имя государственного блага выражено с предельной яркостью и законченностью: „Достоин осуждения тот, кто хочет насилием разрушать, а не исправлять" („Discorsi", кн. 1, гл. IX).

[43] Джорджо Скали — флорентинский политический деятель, один из вождей мелкой буржуазии; ярый противник крупнобуржуазной олигархии в третьей четверти XIV века. Казнен в 1381 г.

[47] Взгляды Макиавелли на Германию вызвали в современной исторической науке диаметрально противоположные оценки. Одни восхищались макиавеллиевским изображением Германии как образцом процветательности, другие утверждали, что его характеристика — сплошная фантасмагория, навеянная реминисценциями из Тацита и не имеющая ничего общего с тем, что в действительности представляла собой

Германия XVI века. Несомненно одно: оценивая все по своему методу, Макиавелли очень верно указал социальные корни как силы, так и слабости тогдашней Германии.

[45] В „Principe", обращенном к Медичи, племяннику другого Медичи, папы Льва X, Макиавелли, естественно, приходилось быть очень сдержанным при упоминаниях о светской власти папы. Вся XI глава характерна в этом смысле тщательной взвешенностью каждого слова и особенным тоном деланного смиренья, который с трудом прикрывает иронию. В „Discorsi", где он мог высказаться на эту тему свободнее, Макиавелли выражается о папском государстве совершенно иначе. Папство объявлено там единственной причиной раздробленности и унижения Италии, так как, с одной стороны, оно было слишком слабо, чтобы подчинить себе всю страну, а с другой — было достаточно сильно, чтобы интригами и постоянными обращениями к иностранному вмешательству парализовать всякую попытку образования крупного государства, которое грозило бы уничтожить светскую власть самого папы („Discorsi", кн. 1, гл. XII).

[46] Война из-за Феррары в 1482 г. охватила все итальянские княжества. С одной стороны выступали Венеция и папа Сикст IV, а к осажденному Эрколе д'Эсте поспешили на помощь Неаполь, Милан, Флоренция, мантуанские Гонзага, болонские Бентивольо, герцог Урбинский Федериго Монтефельтро. В самом Риме немедленно вспыхнула междоусобная война аристократических родов. Колонна и Савелли с их гибеллинскими традициями выступили против папы и его защитников — Орсини.

[47] Папа Сикст IV (1471—1484).

[48] Джованни Медичи — папа Лев X (1513—1521).

[49] Макиавелли, бывший свидетелем двух внешних и бесчисленных внутренних войн, которые велись силами наемных войск, боролся против этой системы с самого начала своей деятельности. Особенно легко было ему наблюдать ее опасности на примере такой по существу своему не военной республики, как Флоренция, пережившей на его глазах рисковавший инцидент с Паоло Вителли. Однако борьба с кондотьерством является у Макиавелли не только результатом наблюдений над практическими неудобствами наемных войск, которые как-никак создали новое военное искусство. Она логически связана со всем его учением о самостоятельности княжеской власти, которая в развитии своем есть не что иное, как идея самостоятельности государства (см. вступительную статью).

[50] Фраза папы Александра VI. Смысл этой остроты — что для завоевания Италии французскому королю нужны были не воины, а только квартирьеры, отмечавшие мелом дома, отведенные для постоя проходивших войск.

[51] Филиппо Марна Висконти — герцог Миланский (1412—1447), последний представитель династии Висконти, после которого Милан перешел к Сфорца.

[52] Караваджо — местечко в Северной Италии, в провинции Бергамо.

[53] Муцио Аттендоло Сфорца — родоначальник династии, знаменитейший кондотьер XV века (1369—1424), происходивший, повидимому, из крестьян Романьи. Начал свою карьеру около 1409 г. во время неаполитанских войн пап. Главнокомандующий войск Джован-

ны II, королевы неаполитанской, затем брошенный в тюрьму ее мужем Жаком Бурбоном и снова освобожденный королевой, он становится в 1417 г. великим коннетаблем Неаполя. В 1420 г. переходит на службу папы Мартина V и воюет уже против Неаполя. Утонул в 1424 г. при переправе через реку Пескару.

[54] Альфонсо Аррагонский, усыновленный в 1421 г. Джованной II и объявленный наследником неаполитанского престола.

[55] Джованни Акуто — англичанин сэр Джон Гаукуд (John Hawkwood), один из первых кондотьеров. Сделал карьеру во время Столетней войны. В Италии служил то папе, то Висконти, пока не связал своей судьбы окончательно с Флоренцией. Умер в 1393 г.

[56] Браччо ди Монтоне — знаменитый кондотьер XV века, называвший себя «Фортебраччо», соперник Сфорца, родом из Перуджи. Воевал одновременно со Сфорца в неаполитанских экспедициях, служил папе Иоанну XXIII. В 1416 г.— властитель Перуджи, в 1417 г.— защитник осажденного Рима против Сфорца. В 1423—великий коннетабль Неаполя и воевал на стороне Альфонсо Аррагонского, которого Джованна II снова лишила неаполитанского наследства актом 1 июня 1423 г., уничтожавшим его усыновление. Смертельно ранен, под стенами Аквилы 3 июня 1424 г.

[57] Карманьола — известный кондотьер на венецианской службе, казненный в 1432 г.

[58] Бартоломео да Бергамо — Бартоломео Коллеони, кондотьер, в последние годы жизни служивший Венеции и завещавший ей большую часть своего огромного состояния. Республика отблагодарила его, воздвигнувши ему великолепный памятник у церкви Сан

Джованни и Паоло, конную статую работы Верокки́о. Умер в 1475 г.

[59] Роберто да Сан Северино — венецианский кондотьер, служил также в войсках папы Иннокентия VIII.

[60] Никколо Орсини, граф ди Питильяно, командовавший венецианскими войсками в несчастной для Венеции кампании 1509 года. Геройски защищал Падую против императора Максимилиана. Умер в 1510 г.

[61] Вайла, или Аньяделло,— местечко в Северной Италии, недалеко от Лоди. Макиавелли имеет в виду последний акт борьбы папы Юлия II с Венецией, когда усилиями Юлия II против Венеции составилась так называемая Камбрейская лига 10 декабря 1508 г., куда вошли папа, германский император, Франция и Испания. Формально союз был заключен для борьбы с Турцией, но реально обращен целиком против Венеции. Сражение при Аньяделло, едва не погубившее республику, произошло 14 мая 1509 г.

[62] Альбериго да Барбиано — первый крупный кондотьер итальянского происхождения; из школы его вышли Сфорца и Браччо.

[63] Макиавелли имеет в виду поход Юлия II на Феррару против Альфонсо д'Эсте в августе 1510 г.

[64] Фердинанд Католик.

[65] Равенна — город в Северной Италии. Макиавелли говорит о сражении при Равенне 11 апреля 1512 г., окончившемся победой французов над соединенными силами папы и Испании, образовавшими против Франции так называемую Священную лигу 5 октября 1511 г. Но так как в сражении пал Гастон де Фуа, вождь французов, то его помощники не сумели использовать победы.

[66] Макиавелли говорит о так называемых ордонансовых ротах (Compagnies d'ordonnance), учрежденных по указу Карла VII 26 мая 1445 г. и ставших первым ядром постоянной армии во Франции.

[67] В этом месте имеется разночтение в различных изданиях. В новейших изданиях „Principe" последние слова в скобках пропущены. В издании сочинений Макиавелли 1813 г., которое Виллари считал лучшим, они имеются, как и во всех переводах.

[68] Филопемен — греческий полководец III века (250—189), глава Ахейского союза, прозванный „последним эллином". Макиавелли берет свои сведения о нем из Ливия, Полибия и Юстина.

[69] Ксенофонт — греческий историк (444—353).

[70] Вся XIV глава очень отчетливо рисует характер княжеской власти в государстве Макиавелли, которое есть прежде всего политический и боевой аппарат. О культурных функциях власти Макиавелли говорит в „Principe" только мимоходом (гл. XXI) и придает им явно второстепенное значение.

[71] XV глава „Князя", по мнению некоторых комментаторов, не входила в первоначальную редакцию и была разработана Макиавелли позднее.

[72] Ганнибал — карфагенский полководец (249—183), герой второй Пунической войны.

[73] Публий Корнелий Сципион Африканский Старший — знаменитый римский полководец (235—183), победитель Ганнибала. Его поход в Испанию относится к 211—207 гг. (Ливий, 27).

[74] Квинт Фабий Максим, прозванный Кунктатором, т. е. медлителем,— римский полководец, консул 233, 215, 214 года. Знаменит своей ролью во второй Пунической войне

[75] Разницу характеров папы Александра VI и его сына Цезаря современники выражали в краткой формуле: «Папа никогда не делает того, что говорит, а герцог Валентино никогда не говорит того, что делает».

[76] В „Discorsi“ (кн. 1, гл. XXVI) мероприятия, к которым обстоятельства могут принудить нового Князя, характеризуются так: „Все это средства жесточайшие, враждебные не только христианскому, но и просто человеческому образу жизни; каждый должен от них отшатнуться и предпочесть жить частной жизнью, чем быть Князем и губить таким образом людей. Однако тому, кто не захочет избрать этот первый путь добра, придется вступить на такой путь зла, если он захочет удержаться. Люди же выбирают обычно средние пути, т. е. самые вредные; дело в том, что они не умеют быть ни всецело хорошими, ни всецело дурными“. В другом месте того же произведения (кн. 3, гл. XLI) сказано прямо: „Родину надо защищать средствами славными или позорными (con ignominia), лишь бы защищать ее хорошо“. Для Макиавелли как настоящего мыслителя Ренессанса чрезвычайно характерно, что он рассматривает всю диалектику души своего Князя исключительно как интеллектуальный процесс. Все сводится к искусству абсолютного обладания собой, т. е. к настоящей virtù. О возможности какого-либо внутреннего конфликта Макиавелли молчит. Он знает только борьбу с судьбой и людьми, он не знает борьбы с самим собой.

[77] Макиавелли намекает на Фердинанда Католика.

[78] Набид — царь спартанский (206—192). Похвалы, расточаемые этому властителю в „Principe“, не совсем попятны в устах Макиавелли, так как Набид,

судя по рассказу Ливия, прибегал как раз к тем средствам, которые Макиавелли осуждает: пользовался наемными войсками, вызвал к себе общую ненависть поборами и т. д.

[79] Аннибале Бентивольо был убит в июне 1445 г.

[80] Все сведения из истории Рима, изложенные Макиавелли в XIX главе „Князя" довольно схематично, заимствованы из историка II века Диона Кассия и из Геродиана, переведенного на латинский язык Полициано.

[81] Марк Аврелий Антонин — римский император (161—180).

[82] Элий Аврелий Коммод — римский император (180—192).

[83] Эльвий Пертинакс — римский император (192—193).

[84] Марк Дидий Юлиан — римский император (193); правил 2 месяца.

[85] Луций Септимий Север — римский император (193—211).

[86] Марк Аврелий Антонин Каракалла — римский император (211—217).

[87] Макрин — римский император (217—218).

[88] Гелиогобал — римский император (218—222).

[89] Александр Север — римский император (222—235), племянник Септимия Севера.

[90] Юлий Вер Максимин — римский император (235—238).

[91] Пистойя — город в Тоскане.

[92] Графиня Форли — Катерина Сфорца.

[93] Гренада — последняя крепость, остававшаяся у мавров в Испании; сдалась Фердинанду Католику 2 января 1492 г.

[94] Бернабо Висконти — глава дома миланских Висконти в XIV веке. После длительной борьбы за власть с собственным племянником Джан Галеаццо заточен в тюрьму и убит в 1385 г.

[95] Макиавелли имеет в виду первый поход Людовика XII в Италию.

[96] Император Максимилиан I (1493—1519).

[97] Поход Юлия II на Болонью был одним из первых актов подготовляемой им войны с Венецией для завоевания Романьи. Правитель Болоньи Джованни Бентиволью бежал, и папа вступил в Болонью 11 ноября 1506 г.

[98] В литературе много раз указывалось, что последняя глава „Князя" представляет позднейшую вставку. Не входя здесь в обсуждение специальных вопросов композиции „Principe", надо все же указать, что глава эта неразрывно связана со всем содержанием произведения и является совершенно необходимым для его внутренней цельности заключительным аккордом. Надежда на измельчавших Медичи, как на избавителей Италии, была в условиях момента иллюзией, и патетический призыв Макиавелли остался только классическим образцом итальянской прозы, но самый образ Князя приобретал настоящую законченность так как ему ставилась достойная цель для применения его virtù. Комментаторы „Князя" любят указывать на то, что Макиавелли добивался лишь освобождения Италии, а не ее единства. Вопрос этот, конечно, специальный, но все же этот тезис требует больших оговорок и поправок. Нельзя забывать, что главный аргумент Макиавелли против папства — именно тот, что папство оказалось в Италии главной силой ее раздробления, и „если Италия попала в такие условия.

что ею не правит ни единая республика, ни единый Князь, то причиной этого является единственно Церковь" („Discorsi", кн. 1, гл. XII).

[99] В различных изданиях разночтение. В издании 1813 г., по которому цитирует Виллари, говорится: „Воззвание об освобождении Италии от варваров". В новейших изданиях прибавлены слова „об овладении".

[100] Сражение при Таро, или Форнуово, в Северной Италии 6 июля 1495 г. выиграно французами против итальянцев, пытавшихся отрезать войскам Карла VIII отступление из Неаполя, предпринятое после образования антифранцузской лиги 31 марта 1495 г., куда вошли король Испании, император Максимилиан, папа, Венеция и Людовик Моро.

[101] Александрия — город в восточной части Ломбардии, у которого не раз происходили сражения. О каком говорит в данном случае Макиавелли, сказать трудно.

[102] Капуя взята французами 24 июня 1501 г.

[103] Генуя, защищавшаяся союзником Франции Оттавиано Фрегозо, взята германскими ландскнехтами и испанцами 30 мая 1522 г.

[104] Болонья взята папой Юлием II в ноябре 1056 г.

[105] Местре — местечко на континенте прямо против Венеции, арена небольшого сражения венецианцев с немцами в 1510 г.

[106] В текстах значительное расхождение. В издании 1813 г. стоит: „освободивших свои земли", а в новейших изданиях вместо этого сказано: „освободить итальянские земли".

[107] Расхождение текстов. В издании 1813 г. стоит: „не благодаря роду оружия, а изменением боевого строя".

Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки, рассказанная Никколо̀ Макиавелли и посвященная дорогим его друзьям Дзаноби Буондельмонте и Луиджи Аламанни.

Покажется, дорогие Дзаноби и Луиджи[1], удивительным для всякого, кто над этим задумается, что все или большая часть тех, кто свершил в этом мире деяния величайшие и между всеми своими современниками достиг положения высокого, имели происхождение и рождение низкое и темное или же терпели от судьбы всевозможные удары. Ибо все они либо были подкинуты зверям, либо имели отцом столь ничтожного человека, что, стыдясь его, объявляли себя детьми Юпитера или иного бога. Кто были такие люди, всякому в достаточной мере известно; повторять это было бы скучно и мало приятно для читателя; опустим это, как совершенно лишнее. Думаю, что указанное происходит от того, что природа, желая доказать, что великими делает людей она, а не благоразумие, начинает показывать свои силы в такой момент, когда благоразумие не может играть никакой роли, и становится ясно, что люди всем обязаны именно ей[2].

Одним из таких людей был Каструччо Кастракани из Лукки[3]. Принимая во внимание время, когда он жил, и город, где он родился, свершил он дела величайшие. И происхождение его не было ни более счастливым, ни более славным, чем у других знаменитых людей, как выяснится из описания его жизни. Мне казалось полезным восстановить ее в памяти людей, так как в ней, думается мне, я нашел много такого, что может послужить замечательнейшим примером способностей и счастья. И решил я посвятить это описание вам, так как из всех людей, кого я знаю, вам больше всего доставляют удовольствие славные деяния.

Итак, скажу, что семья Кастракани принадлежит к знатным семьям города Лукки, хотя судьбе было угодно устроить так, что в наше время она уже не существует. К ней принадлежал некий Антонио[4], который вступил в духовное звание, сделался каноником церкви Сан Микеле в Лукке и в знак почета звался мессер Антонио. Близких у него не было никого, кроме одной сестры, которую он выдал замуж за Буонаккорсо Чеппами. Когда Буонаккорсо умер и жена его осталась вдовою, она решила поселиться у брата и не вступать больше в брак.

У мессера Антонио за домом, где он жил, был виноградник, в который было очень нетрудно проникнуть с разных сторон, так как он соприкасался со многими садами.

Случилось однажды, что мадонна Дианора (так звали сестру мессера Антонио) рано утром,

вскоре после восхода солнца, пошла в виноградник погулять и собрать, как это делают женщины, кое-каких трав для приправы к кушаньям. И показалось ей, что под одной лозою между листьями что-то шевелится, а когда она присмотрелась, ей послышался плач. Она пошла по направлению этих звуков и увидела ручки и лицо ребенка, который, запутавшись в листьях, казалось, просил помощи. Удивленная и вместе с тем испуганная, охваченная состраданьем и ошеломленная, она подняла ребенка, понесла его в дом, выкупала, завернула, как полагается, в белые ткани и, когда пришел мессер Антонио, показала ему. Он, выслушав ее рассказ и увидев младенца, был удивлен и разжалоблен не меньше, чем сестра. Посоветовавшись между собой о том, что делать с младенцем, они решили, так как он был священник, воспитать его. Они взяли в дом кормилицу и стали растить ребенка с такой любовью, как если бы он был их собственным сыном. Они его окрестили и назвали именем своего отца — Каструччо.

С годами Каструччо становился все более и более привлекательным и обнаруживал во всем ум и благоразумие. Вскоре он стал учиться тому, что мессер Антонио, принимая во внимание его возраст, ему преподавал. Ибо он решил, что сделает его священником и со временем откажется в его пользу от канониката и от других своих бенефиций. И учил его, имея в виду эту цель. Но он нашел в своем ученике такие наклонности, которые совершенно

не подходили к священническому званию. Ибо, не достигши еще и четырнадцатилетнего возраста, он начал проявлять дух самостоятельности перед мессером Антонио, а мадонны Дианоры совсем перестал бояться и, оставив церковные книги, начал учиться владеть оружием. Теперь только и доставляло ему удовольствие, что фехтованье, бег взапуски с товарищами, прыганье, борьба и другие подобные упражнения. В них он обнаружил замечательные способности, как душевные, так и телесные, и далеко превзошел всех своих сверстников. А если он и читал иногда что-нибудь, то увлекали его лишь такие книги, в которых говорилось о войнах и о подвигах великих людей. Все это причиняло мессеру Антонио несказанное огорчение и очень его печалило.

Был в городе Лукке дворянин из рода Гуппиджи, по имени мессер Франческо[5], который богатством, любезностью и доблестью далеко оставлял за собою всех других жителей Лукки. Его промыслом была война, и он долго воевал под начальством Висконти миланских. Он был гибеллином и из всех других сторонников этой партии пользовался наибольшим уважением в Лукке. Проживая в Лукке и сходясь с другими гражданами, вечером и утром в лоджии подесты, которая находится в начале площади Сан Микеле, первой из городских площадей, он много раз видел, как Каструччо с другими мальчиками с ближайших улиц занимались упражнениями, о которых я говорил выше. И так как мессеру Фран-

ческо показалось, что Каструччо не только превосходит всех других, а еще пользуется над ними царственным влиянием и что они любят и почитают его в высокой степени,— ему очень захотелось узнать, кто этот мальчик. Окружающие рассказали ему все, и он загорелся еще более сильным желанием взять его к себе. И однажды, подозвав его, он спросил, где бы он стал жить более охотно: в доме дворянина, который бы его учил ездить верхом и обращаться с оружием, или в доме священника, где он только и слышит, что службы и обедни. Мессер Франческо увидел, как обрадовался Каструччо, услышав о лошадях и об оружии. Но он немного стеснялся, и мессеру Франческо пришлось подбодрить его, чтобы он заговорил. Тогда он сказал, что если позволит его учитель, то для него не будет большей радости, как оставить духовное ученье и приступить к воинским занятиям. Мессеру Франческо очень понравился ответ Каструччо, и через несколько дней он добился того, что мессер Антонио уступил ему мальчика. Побудило каноника к этому больше всего то, что, зная натуру своего питомца, он понимал, что не сможет долго вести его в том направлении, в каком вел.

Таким образом, Каструччо перешел из дома каноника мессера Антонио Кастракани в дом кондотьера мессера Франческо Гуиниджи. И нужно удивляться, в какое необыкновенно короткое время он преисполнился всех достоинств и усвоил все манеры, какие требуются от настоящего дворянина. Прежде всего он сде-

лался великолепным наездником. С величайшей ловкостью управлял он любой самой горячей лошадью, а в воинских играх и турнирах, хотя был молод, отличался больше всех и не встречал себе в состязаниях соперника ни по силе, ни по ловкости. И был он к тому же замечательного нрава, отличался несказанной скромностью, так что никто не знал за ним поступка и не слышал от него слова, которые могли бы вызвать осуждение. Он был почтителен со старшими, скромен с равными, любезен с низшими. Все это заставляло любить его не только всю семью Гуиниджи, но и весь город Лукку.

Случилось в это время — Каструччо уже минуло восемнадцать лет,— что в Павии гибеллины были изгнаны гвельфами. На помощь им Висконти миланским был послан Франческо Гуиниджи. С ним вместе отправился и Каструччо, которому был вверен отряд на полную его ответственность. В этом походе Каструччо дал такие доказательства благоразумия и мужества, что никто из участников кампании не приобрел большего расположения у кого бы то ни было, чем он. И не только в Павии, но во всей Ломбардии он заслужил большое и почетное имя[6].

Вернулся в Лукку Каструччо[7] окруженный гораздо большим уважением, чем до отъезда, и делал все, что было возможно, чтобы приобрести себе друзей, не упуская ни одного способа, какие необходимы для привлечения людей. Мессер Франческо тем временем умер,

и так как у него был тринадцатилетний сын по имени Паголо, то попечителем его и управляющим своими имениями он назначил Каструччо. Перед смертью он призвал его к себе и просил, чтобы он постарался воспитать его сына с такими же добрыми чувствами, с какими был им воспитан он сам, и чтобы ту признательность, которую он не успел воздать отцу, он воздал сыну. Когда мессер Франческо умер, Каструччо остался воспитателем и попечителем Паголо. Его слава и его могущество выросли настолько, что расположение, которым он пользовался в Лукке, частью перешло в зависть настолько, что многие осыпали его клеветами, как человека подозрительного и скрывающего тираннические планы. Первым между его недругами был мессер Джорджо дельи Опици, глава гвельфской партии. Он надеялся после смерти мессера Франческо сделаться синьором Лукки, и ему казалось, что Каструччо, оставшийся в правящих кругах благодаря расположению, завоеванному его достоинствами, отнял у него всякую к этому возможность. И распускал о нем всякие слухи, чтобы лишить его популярности. Сначала Каструччо относился к этому с пренебрежением. Но потом стал беспокоиться, как бы происки мессера Джорджо не вызвали к нему немилости у викария короля Роберта Неаполитанского и не побудили его изгнать его из Лукки.

В это время синьором Пизы был Угуччоне делла Фаджола из Ареццо, который сначала был выбран пизанцами капитаном, потом за-

хватил власть над городом. У Угуччоне нашли приют некоторые гибеллины, изгнанные из Лукки. Каструччо поддерживал с ними сношения, желая с помощью Угуччоне дать им возможность вернуться. Эти свои планы он сообщил в Лукке нескольким друзьям, которы не хотели больше терпеть власть семьи Опици. Дав им указания, как действовать, он тайно укрепил башню Онести, снабдил ее военными припасами и продовольствием так, что в случае необходимости в ней можно было продержаться в течение нескольких дней. И сговорившись с Угуччоне, когда настала ночь, дал ему сигналы. Угуччоне с многочисленным войском спустился в равнину между горами и Луккой и, увидев сигнал, подступил к воротам Сан Пьеро и поджег передовые укрепления. Каструччо с другой стороны поднял тревогу, призывая народ к оружию, и овладел воротами изнутри. Угуччоне и его люди ворвались в город, рассыпались по всем улицам и умертвили мессера Джорджо вместе со всей его семьей, многих его друзей и сторонников. Губернатор [8] был изгнан. Конституция Лукки была изменена так, как это было угодно Угуччоне, к великому ущербу города: ибо более ста семейств были из него изгнаны. Бежавшие отправились частью во Флоренцию, частью в Пистойю, где власть принадлежала гвельфам. Следствием этого было то, что оба города сделались враждебны Угуччоне и лукканцам [9].

Так как флорентинцам и другим гвельфам стало казаться, что гибеллинская партия при-

обрела чересчур большую силу в Тоскане, они сговорились между собою вернуть на родину изгнанников. И собрав большое войско, пришли в Вальдиньеволе и заняли Монтекатини, а оттуда двинулись в Монтекарло и обложили его, чтобы иметь свободный путь к Лукке. Но Угуччоне, сосредоточив крупные силы, пизанские и лукканские, а также значительный конный отряд из немцев, который был ему прислан из Ломбардии, пошел навстречу флорентинцам. Они же, как только узнали о его приближении, сняли осаду Монтекарло и расположились между Монтекатини и Пешией. Угуччоне занял позицию в двух милях от них, под Монтекарло. В течение нескольких дней между враждебными войсками происходили лишь кавалерийские стычки, ибо вследствие болезни Угуччоне пизанцы и лукканцы избегали решительного сражения.

Но так как Угуччоне становилось все хуже, он отправился для лечения в Монтекарло, вверив команду Каструччо [10], что сделалось причиною поражения гвельфов. Решив, что неприятельское войско останется без вождя, они воспрянули духом, а Каструччо, узнавши об этом, чтобы укрепить их в этом убеждении, прождал еще несколько дней, делая вид, что боится, и не позволял никаким вооруженным силам выходить из лагеря. Гвельфы же, видя, как трусит противник, становились все более дерзкими и каждый день, построившись для битвы, выходили навстречу Каструччо. Когда последний познакомился с их боевым поряд-

ком и когда ему стало казаться, что гвельфы осмелели достаточно, он решил принять сражение. Прежде всего он обратился к своим солдатам со словами ободрения, доказывая им, что победа будет обеспечена, если они будут исполнять его приказания.

Каструччо видел, что неприятель поставил лучшие свои силы в центре, а более слабые на флангах. Сам он поступил наоборот: сильнейшие свои части расположил на обоих крыльях, а те, на которых рассчитывал меньше,— в центре. В таком построении он выступил из лагеря, как только увидел появление противника, который, согласно своему обыкновению, вышел к нему навстречу. Центру своему он приказал двигаться медленно, а флангам скомандовал наступать со всей стремительностью. Поэтому, когда войска сошлись, на обоих флангах сейчас же завязался бой, а центры бездействовали, ибо центр Каструччо отстал настолько, что гвельфы не могли притти с ним в соприкосновение. Таким образом, лучшие части Каструччо бились со слабейшими силами неприятеля, а лучшие силы неприятеля стояли без пользы, не будучи в состоянии ни ударить на тех, кто был перед ними, ни оказать помощь своим. Оба крыла гвельфов вследствие этого сопротивлялись недолго и повернули тыл, а центр, видя, что фланги его обнажены, лишенный возможности показать свою доблесть, тоже обратился в бегство. Поражение было полное и потери гвельфов огромны. Убитых насчитывалось больше 10 000 человек, в числе

которых было много вождей и именитых рыцарей гвельфской партии со всей Тосканы, а кроме того несколько влиятельных особ, пришедших к гвельфам на помощь; среди них — Пьеро, брат короля Роберта, Карло, его племянник, и Филиппо, синьор города Тарента. Каструччо потерял не больше 300 человек; в их числе был Франческо, сын Угуччоне, безрассудно смелый юноша, павший при первом столкновении.

Поражение гвельфов создало великую славу имени Каструччо настолько, что Угуччоне проникся такой завистью к нему и стал так опасаться за свою власть, что только и думал о том, как его погубить: ему казалось, что эта победа отняла у него синьорию, а не укрепила ее. Обдумывая положение, он ожидал подходящего случая для выполнения своих планов. В это время случилось, что был убит Пьер Аньоло Микели из Лукки, человек почтенный и очень уважаемый; убийца его нашел приют в доме Каструччо, который прогнал стражу, явившуюся арестовать его, и вдобавок помог ему бежать[11]. Когда Угуччоне, находившийся в это время в Пизе, узнал об этом, он решил, что у него справедливый повод для наказания Каструччо. Он призвал сына своего Нери, которого он назначил перед тем синьором Лукки, и поручил ему, пригласив под каким-нибудь предлогом Каструччо, схватить его и предать смерти. И когда Каструччо отправился однажды запросто во дворец, не подозревая о готовящейся ловушке, Нери сначала удержал его у себя

к обеду, а потом арестовал. Но он не решился умертвить Каструччо без всякой судебной процедуры, боясь народного волнения, и потому держал его в заключении, ожидая от отца подробных распоряжений, как ему поступить. Угуччоне выразил сыну свое недовольство его медлительностью и нерешительностью и, чтобы кончить с этим делом, сам отправился из Пизы в Лукку во главе четырехсотенного конного отряда. Но еще прежде чем он доехал до Баньи, пизанцы восстали с оружием в руках, убили его заместителя и членов его семьи, остававшихся в Пизе, и провозгласили синьором графа Гаддо делла Герардеска. Угуччоне узнал о происшествиях в Пизе еще до прибытия в Лукку и решил не возвращаться обратно, чтобы и лукканцы по примеру Пизы не закрыли перед ним ворот. Но несмотря на то, что он вступил в Лукку, жители города, как бы желая добиться освобождения Каструччо, начали прежде всего собираться на площадях и высказывать свои мнения, ни считаясь ни с чем, потом стали волноваться, и наконец взялись за оружие, требуя освобождения Каструччо. Дело приняло такой оборот, что Угуччоне, опасаясь худшего, выпустил его из заключения. А он, едва получив свободу, собрав друзей и поддерживаемый народом, выступил против Угуччоне. Тому не оставалось ничего другого — ибо помощи ему ждать было неоткуда,— как вместе со своими сторонниками бежать из города. Он отправился в Ломбардию к синьорам делла Скала. Там он и умер в бедности [12].

Каструччо, став из пленника как бы синьором Лукки, стал действовать с помощью друзей и использовал внезапно вспыхнувшие симпатии народа так искусно, что был избран начальником вооруженных сил города сроком на один год[13]. Добившись этого, чтобы создать себе боевую славу, он решил вернуть Лукке многие города, взбунтовавшиеся после бегства Угуччоне. Сговорившись с пизанцами, которые прислали ему подмогу, он двинулся к Сарцане, которую обложил. Чтобы взять ее, он построил на господствующей высоте бастион — флорентинцы потом обвели его стеною и назвали Сарцанеллою — и через два месяца вынудил ее к сдаче. Непрерывно увеличивая свою славу, он взял вслед за тем Массу, Каррару и Лавенцу и в короткое время завладел всей Луниджаной, а чтобы закрыть проход, который вел в Луниджану из Ломбардии, захватил Понтремоло, изгнав оттуда мессера Анастаджо Паллавизини, который был синьором города. Вернувшись в Лукку после этого победоносного похода, он был встречен всем народом. Решив после этого не медлить с подчинением себе города, он подкупил Пацино дель Поджо, Пуччинелло дель Портико, Франческо Боккансакки и Чекко Гуиниджи, пользовавшихся большим влиянием, и с их помощью захватил власть. Народ в торжественном собрании провозгласил его государем[14].

В это время в Италию прибыл король римский Фридрих Баварский, чтобы быть венчанным императорской короною. Каструччо добился его дружбы и отправился навстречу

к нему во главе пятисот конных воинов, оставив своим заместителем в Лукке Паголо Гуиниджи, которого в память его отца он любил так, как если бы он был его собственным сыном. Фридрих встретил Каструччо с почетом, осыпал его милостями и сделал своим викарием в Тоскане. А так как пизанцы изгнали Гаддо делла Герардеска и из страха перед ним обратились к Фридриху за помощью, король сделал Каструччо синьором Пизы, а пизанцы, боясь гвельфов, особенно флорентинцев, приняли его [15].

После отбытия в Германию Фридриха, оставившего в Риме своего губернатора, все тосканские и ломбардские гибеллины, бывшие сторонниками императора, стали обращаться к Каструччо, предлагая ему каждый синьорию над своим городом, если он поможет им вернуться. Среди них были Маттео Гвиди, Пардо Сколари, Лапо Уберти, Джероццо Нарди и Пьеро Бонаккорси — все гибеллины и флорентинские изгнанники. Рассчитывая при их помощи и с силами, которыми он располагал, сделаться синьором всей Тосканы, Каструччо, чтобы нагнать на противников еще больше страха, заключил соглашение с Маттео Висконти, государем миланским, и начал вооружать весь город и всю свою территорию. Так как в Лукке было пять ворот, он разделил территорию на пять частей, каждую вооружил и каждой дал начальников и знамена. Таким образом, он сразу сосредоточил в своих руках двадцатипятитысячную армию, не считая той помощи, которую могла послать ему Пиза. В то время как

он был окружён своими войсками и своими друзьями, Маттео Висконти подвергся нападению пьячентинских гвельфов, которые только что изгнали своих гибеллинов и получили помощь людьми от флорентинцев и короля Роберта. И мессер Маттео просил Каструччо, чтобы он атаковал флорентинцев и вынудил их отозвать свои войска из Ломбардии для защиты собственных очагов. Поэтому Каструччо с большими силами вступил в Вальдарно, занял Фучеккио и Сан Миниато и причинил большое разорение стране. Флорентинцы действительно вынуждены были, подчиняясь необходимости, отозвать свои войска. Едва они добрались до Тосканы, как другая необходимость заставила Каструччо вернулся в Лукку.

Была в этом городе семья Поджо, пользовавшаяся большим влиянием по той причине, что члены ее содействовали не только возвышению Каструччо, но и провозглашению его государем Лукки. Так как им казалось, что они не получили за свои заслуги достаточного воздания, то они сговорились с другими семьями в Лукке взбунтовать город и изгнать Каструччо. И воспользовавшись однажды утром каким-то случаем, они с оружием в руках напали на заместителя Каструччо, которому он поручил ведение судебных дел, и убили его. Они собирались продолжать свое дело и призвать народ к восстанию, когда навстречу им вышел Стефано ди Поджо, старый и миролюбивый человек, не участвовавший в заговоре, и благодаря своему авторитету заставил своих родичей

положить оружие, предлагая им стать посредником между ними и Каструччо и получить от него все, чего они желают. Слагая оружие, они проявили не больше благоразумия, чем поднимая его. Ибо Каструччо, едва узнав о волнениях в Лукке, не теряя времени, с частью своих сил поспешил в город, оставив командование армией Паоло Гуинджи. И найдя, вопреки своему ожиданию, волнения прекратившимися и усмотрев новую возможность укрепить свое положение, он занял наиболее важные пункты в городе своими вооруженными сторонниками. Стефано ди Поджо, уверенный, что Каструччо должен быть ему признателен, отправился к нему. Он просил не за себя, ибо не думал, что он в этом нуждается, а за своих родичей. Он умолял Каструччо принять во внимание их молодость, старую дружбу его со своей семьей и то, чем он был ей обязан. Каструччо отвечал благосклонно, убеждал его не опасаться ничего, говоря, что ему более приятно видеть, что волнения улеглись, чем было неприятно узнать, что они вспыхнули. И просил Стефано привести всех к себе, говоря, что он благодарит бога за то, что он дает ему возможность доказать свое милосердие и великодушие. Поверив Стефано и Каструччо, все пришли и были все вместе — Стефано в том числе — заключены в тюрьму и преданы смерти[16].

За это время флорентинцы взяли обратно Сан Миниато, и Каструччо решил прекратить эту войну, ибо боялся удалиться из Лукки, пока его положение там не упрочится. Когда он

предложил флорентинцам мир, они сейчас же согласились, так как и они были утомлены и хотели положить конец расходам. Мир был заключен на два года, и стороны остались при тех владениях, которые были у каждой из них.

Разделавшись с войною, Каструччо, чтобы не подвергаться больше такой опасности, какой подвергался только что, под разными предлогами и разными способами истребил в Лукке всех, кто мог из честолюбия стремиться к власти. Он не щадил никого, подвергал изгнанию, отнимал имущество, а кого мог захватить, лишал жизни, говоря, что узнал на опыте, что никто из них не может быть ему верен. И для большей своей безопасности он воздвиг в Лукке крепость, на постройку которой пошли камни от башен, принадлежавших изгнанным и казненным [17].

Пока продолжался мир с флорентинцами и Каструччо укреплял свое положение в Лукке, он не упускал случая увеличить свои владения, не прибегая к открытой войне. У него было большое желание завладеть Пистойей, так как был уверен, что если она будет принадлежать ему, то он одной ногою уже будет стоять во Флоренции. И всеми способами он старался создать себе друзей повсюду в горах. А с партиями в самой Пистойе он вел себя так ловко, что каждая ему доверяла. В это время, как, впрочем, и всегда, этот город был разделен на две партии: Белых и Черных. Вождем Белых был Бастиано ди Моссенте, Черных — Якопо да Джа. Оба они находились в теснейших сноше-

ниях с Каструччо и каждый желал изгнать из города другого. Взаимные подозрения между ними все увеличивались, и наконец дело дошло до оружия. Якопо укрепился у флорентинских ворот, Бастиано — у лукканских. И так как каждый больше возлагал надежд на Каструччо, чем на флорентинцев, и считал его более подвижным и скорым на военные действия, то оба тайно просили его о помощи, и он обещал ее обоим. Якопо он велел передать, что придет сам, а Бастиано — что пришлет Паголо Гуиниджи, своего воспитанника. И назначив точно время, он послал Паголо к Пистойе через Пешию, а сам двинулся прямо. Ровно в полночь, как было уговорено, Каструччо и Паголо подошли к Пистойе и оба были приняты как друзья. Когда они вошли в город, и Каструччо решил, что можно действовать, он дал знак Паголо, и немедленно один заколол Якопо да Джа, другой — Бастиано да Поссенте. Все их сторонники частью были захвачены, частью перебиты. Вслед за тем город был занят без дальнейшего сопротивления. Синьория была выгнана из дворца, и Каструччо принудил народ подчиниться ему, объявив о сложении старых долгов и пообещав много другого. Так же действовал он и по отношению к области, жители которой сошлись в большом количестве посмотреть нового государя. И все успокоились, полные надежд, и больше всего уповая на его доблести [18].

В это время случилось, что народ римский начал волноваться вследствие дороговизны, при-

чиною которой считал отсутствие папы, находившегося в Авиньоне. Против немецкого губернатора поднимался ропот. Ежедневно происходили убийства и другие беспорядки, а, Генрих, губернатор, ничем этому не мог помочь. И начал он бояться, как бы римляне не призвали короля Роберта Неаполитанского, не прогнали его и не вернулись под власть папы. Не имея друга, к которому он мог прибегнуть, более близкого, чем Каструччо, он отправил ему просьбу не просто прислать ему подмогу, а прибыть в Рим самому. Каструччо решил, что откладывать не приходится, как ради того, чтобы оказать услугу императору, так и из того соображения, что пока в Риме не будет императора, дела там не поправятся, если не прибудет туда он. Поэтому, оставив в Лукке Паголо Гуиниджи, он выступил в Рим во главе шестисот конников и был принят Генрихом с величайшим почетом. И в самое короткое время его присутствие так укрепило положение императорской партии, что без насилий и кровопролития улеглись все волнения. Ибо Каструччо приказал доставить морем из Пизы большое количество хлеба, чем была устранена главная причина ропота, а вожаков города, частью уговорами, частью наказаниями, заставил вновь признать власть Генриха. За это римский народ провозгласил Каструччо сенатором Рима и оказал ему многие другие почести. Новую свою должность Каструччо принял в очень торжественной обстановке. Он был облачен в бархатную тогу с надписями,— спереди: „Он стал тем,

что хотел бог", а сзади: „Он будет тем, чем захочет бог" [19].

Между тем флорентинцы, негодовавшие на Каструччо за то, что он завладел Пистойей, нарушив мир, думали о том, каким образом можно взбунтовать город против него. Им казалось, что в его отсутствие сделать это будет нетрудно. Среди пистолезских изгнанников во Флоренции находились Бальдо Чекки и Якопо Бальдини, оба люди с большим влиянием и готовые на всякое рискованное предприятие. Они сговорились с друзьями, находившимися в городе, и с помощью флорентинцев однажды ночью ворвались в Пистойю, выгнали оттуда сторонников Каструччо и поставленные им власти, часть которых была перебита, и вернули городу свободу [20]. Известие об этом очень огорчило и разгневало Каструччо. Расставшись с Генрихом [21], он усиленными маршами прибыл в Лукку. Флорентинцы же, узнав о его возвращении и думая, что он не будет медлить, решили предупредить его и занять своими войсками Вальдиньеволе раньше него. Они были уверены, что если они овладеют этой долиною, они отрежут ему путь к Пистойе. Поэтому, собрав большие силы из всех сторонников гвельфской партии, они двинулись в область Пистойи. Каструччо же со своими людьми подошел к Монтекарло и, узнав, где находятся флорентинцы, решил не итти навстречу к ним в равнину Пистойи и не ждать их в равнине Пешии, а постараться загородить им дорогу в ущелье Серравалле. Он рассчи-

тывал, в случае удачи этого плана, одержать победу наверняка. У флорентинцев было в общей сложности 30 000 человек, а у него только 12 000, но отборных. И хотя он был уверен в своих способностях и в их доблести, он все-таки боялся, что в открытом поле он будет окружен превосходными силами неприятеля.

Серравалле — замок между Пешией и Пистойей. Он стоит на возвышенности, замыкающей Вальдиньеволе, не на самом перевале, а над ним в двух полетах стрелы. Проход очень узкий, но не крутой: с обеих сторон подъем отлогий, но настолько тесный, особенно на седле, где водораздел, что его могут занять двадцать человек, поставленные в ряд. Каструччо решил встретить неприятеля как раз в этом месте: во-первых, чтобы его малые силы оказались в наиболее благоприятных условиях, а во-вторых, чтобы они обнаружили противника не раньше, чем завяжется бой, ибо боялся, чтоб его войско, увидя огромную их массу, не заколебалось. Серравалле находился во власти немецкого рыцаря Манфреда, которому был поручен еще до того, как Каструччо сделался синьором Пистойи, лукканцами и пистолезцами, ибо замок принадлежал им совместно. С тех пор он владел замком, не обеспокоенный никем, ибо он всем обещал быть нейтральным и не поддерживать преимущественно ни одну, ни другую сторону. По этой причине, а также потому, что замок был крепкий. Манфред продолжал в нем держаться. Но когда обстоятельства сложились так, как описано, Каструччо решил занять это укрепление. И так

как в замке находился один из его близких друзей, он сговорился с ним, что накануне сражения тот впустит в Серравалле четыреста человек его солдат и умертвит его синьора.

Подготовив таким образом все, он продолжал стоять с войском у Монтекарло, чтобы поощрить флорентинцев двигаться вперед смелее. А они, желая перенести военные действия подальше от Пистойи и сосредоточить их в Вальдиньеволе, разбили лагерь ниже Серравалле, с тем чтобы на другой день переправиться через перевал. Но Каструччо ночью без шума овладел замком и, покинув в полночь Монтекарло, в полной тишине подошел к подножию Серравалле. Поутру он и флорентинцы, каждый с своей стороны, одновременно начали подниматься к седлу. Пехоту свою Каструччо повел обычным путем, а конный отряд в 400 человек послал в обход замка слева. У флорентинцев впереди двигались 400 человек легкой кавалерии, следом за ними шла их пехота, а замыкала строй тяжелая конница. Они не ожидали встретить Каструччо на перевале и не подозревали, что он успел овладеть замком. Поэтому флорентинские всадники, поднявшись к седлу, неожиданно увидели пехоту Каструччо, которая оказалась так близко от них, что они едва успели надеть шлемы. И не ожидая нападения, они были атакованы противником, готовым к их встрече и построенным именно для такого боя; поэтому атака велась с величайшей настойчивостью, а сопротивление было вялое. Некоторая часть все-таки билась хорошо, но когда шум сражения стал доноситься

до остальной армии флорентинской, в ней началось смятение. Конницу теснила пехота, пехоту—конница и телеги; вожди вследствие узости прохода не могли пройти ни вперед, ни назад, и никто не знал в суматохе, что нужно делать и что можно. Конница, которая билась с пехотой Каструччо, была разбита и уничтожена, не будучи в состоянии защищаться из-за неудобства местности, и сопротивлялись воины больше по необходимости, чем из доблести, ибо, имея с боков горы, сзади своих, а впереди неприятеля, они были лишены возможности бежать.

Каструччо, видя, что его сил не хватает для того, чтобы обратить в бегство флорентинцев, послал 1 000 пехотинцев в обход через замок. Они спустились вниз вместе с 400 кавалеристов, которые проникли туда раньше, и с такой яростью ударили во фланг неприятелю, что флорентинцы, не будучи в состоянии выдержать их натиск, побежденные больше местностью, чем противником, начали отступать. Первыми обратились в бегство те, которые были в задних рядах, ближе к Пистойе. Они рассыпались по равнине, и каждый старался спастись как только мог лучше.

Поражение было великое и кровопролитное. В плен попали многие из вождей, в том числе Бандино деи Росси, Франческо Брунеллеско и Джованни делла Тоза — все флорентинские дворяне, а с ними и другие, тосканцы и неаполитанцы: последние были посланы королем Робертом в помощь гвельфам и сражались вместе с флорентинцами [22].

Пистолезцы, узнав о поражении, немедленно выгнали партию, дружественную гвельфам, и сдались Каструччо [23]. Он, не удовлетворившись этим занял Прато и все укрепленные замки на равнине, как по ту, так и по эту сторону Арно, и расположился с войском у Перетолы, в двух милях от Флоренции. Там он простоял много дней, деля добычу и празднуя победу, чеканя монету, чтобы показать пренебрежение к флорентинцам, и устраивая бега лошадей, женщин легкого поведения и мужчин. Пытался он также подкупить кое-кого из флорентинских дворян, чтобы ему ночью были открыты городские ворота. Но заговор был обнаружен, схвачены и обезглавлены Томмазо Лупаччи и Ламбертуччо Фрескобальди.

В отчаянии от поражения, флорентинцы не находили способа спасти свою свободу. Чтобы обеспечить себе помощь, они отправили послов к Роберту, королю неаполитанскому, с предложением отдать ему город и власть над ним. Предложение королем было принято не потому, что он ценил честь, оказанную ему флорентинцами, а потому, что знал, насколько важно для него самого, чтобы гвельфская партия удержала власть в Тоскане. Он сговорился с флорентинцами, что они будут платить ему ежегодно 200 000 флоринов, и отправил во Флоренцию сына своего Карла с 4 000 всадников.

Между тем флорентинцы несколько освободились от людей Каструччо, так как ему пришлось покинуть их территорию и спешить в Пизу, чтобы справиться с заговором против него, устроенным Бенедетто Ланфранки, одним

из первых граждан города. Последний, не будучи в состоянии снести, что его родина подпала под иго лукканца, сговорился с другими занять городскую цитадель, прогнать ее охрану и перебить сторонников Каструччо. Но так как в этих делах малое число способствует сохранению тайны, но недостаточно для действия [24], он стал набирать побольше людей в помощь себе, и нашел такого, который раскрыл все Каструччо. Не обошлось без предательства со стороны Бонифачо Черки и Джованни Гвиди, флорентинских изгнанников, находившихся в Пизе. Каструччо, захватив Ланфранки, умертвил его, остальных членов семьи отправил в ссылку и многим знатным гражданам приказал отрубить головы [25]. А так как ему казалось, что Пистойя и Прато не очень ему верны, он старался ловкостью и силой укрепить в обоих городах свою власть. Все это дало возможность флорентинцам собраться с силами и спокойно ожидать прихода Карла. Когда же он явился, было решено не терять времени. Собрано было много людей, ибо на помощь Флоренции пришли почти все гвельфы Италии. Составилось огромнейшее войско, больше чем в 30 000 пехоты и 10 000 конницы. Посоветовавшись, куда прежде всего направить удар — на Пистойю или на Пизу, решили, что лучше атаковать Пизу, ибо это было легче осуществить вследствие недавнего заговора в городе и потому еще, что в случае захвата Пизы Пистойя не могла не сдаться сама.

Выступив с этим войском в начале мая 1328 года, флорентинцы сразу заняли Ластру,

Синью, Монтелупо и Эмполи и подошли со всеми силами к Сан Миниато. С своей стороны, Каструччо, узнав, какую огромную армию выставили против него флорентинцы, нисколько не испугался, а, наоборот, решил, что настал момент, когда фортуна должна отдать во власть его всю Тоскану. Ибо он был убежден, что неприятель обнаружит не больше доблести, чем при Серравалле, а собраться с силами, как тогда, после нового поражения он не сможет, и, сосредоточив 20 000 пехоты и 4 000 конницы, занял позицию у Фучеккио, а Паголо Гуиниджи отправил с 5 000 пехоты в Пизу.

Фучеккио занимает самую крепкую позицию из всех замков Пизанской области. Он стоит на небольшом возвышении в равнине между Гушианой и Арно. Находясь там, можно было беспрепятственно получать провиант из Лукки или из Пизы, ибо, чтобы этому помешать, неприятелю пришлось бы разделить свои силы. И лишь с великой невыгодой он мог атаковать эту позицию или двигаться на Пизу, так как в первом случае он должен был оказаться в клещах между Каструччо и пизанским отрядом, а во втором, вынужденный переправляться через Арно, он должен был оставить противника в тылу и, следовательно, подвергнуться большой опасности. Каструччо хотелось, чтобы флорентинцы решились переправиться через реку, поэтому он не занял берега Арно своими людьми, а стал под самыми стенами Фуччеккио, оставив большое пространство между собою и рекой.

Флорентинцы, овладев Сан Миниато, стали совещаться, что им делать: двигаться на Пизу или атаковать Каструччо, и, взвесив трудности того и другого, решили в конце концов повести наступление на него. Вода в Арно стояла так низко, что можно было перейти реку в брод, хотя все-таки приходилось окунуться пехотинцам по плечи, а лошадям до седла. Утром 10 июня флорентинцы в боевом порядке начали переправлять часть своей кавалерии и пехотный отряд в 10 000 человек. Каструччо, который стоял готовый к бою и имея твердый план в голове, ударил на них с 5 000 пехоты и 3 000 конницы. Он завязал бой, не дав всем им выбраться из воды, а одновременно послал по тысячному отряду легкой пехоты вверх и вниз по берегу. Пехота флорентинская была отягчена водою и вооружением и не вся выкарабкалась на берег. Первые лошади, которые прошли по броду, истоптали дно Арно и сделали переправку для других более тяжелой. Лошади теряли дно, и одни поднимались на дыбы, другие увязали в грязи настолько, что не могли вытянуть из нее ноги. Вожди флорентинские, видя, что переправа в этом месте трудная, попробовали передвинуть ее выше по реке, чтобы найти грунт не испорченный, а противоположный берег более легкий. Но здесь их встретил тот пехотный отряд, который был послан Каструччо вверх по реке. Он был вооружен очень легко: круглыми щитами и длинными галерными копьями. Бойцы с громкими криками кололи лошадей в голову и в грудь, так что те, испуган-

ные и криком и рапами, не хотели итти вперед и опрокидывались одна на другую. Бой между людьми Каструччо и теми, которые успели переправиться, был упорный и страшный. Потери с обеих сторон были огромные: каждый пытался изо всех сил одолеть другого. Воины Каструччо стремились столкнуть флорентинцев в реку, а те — оттеснить противника, чтобы освободить место и дать возможность товарищам, выходившим из воды, принять участие в сражении. Упорство бойцов еще увеличивалось вследствие увещеваний вождей. Каструччо говорил своим, что перед ними те самые противники, которых они не так давно разбили под Серравалле; флорентинцы стыдили солдат тем, что они дают одолеть себя столь малочисленному неприятелю. Однако Каструччо, видя, что сражение затягивается, что и его и флорентинские воины уже устали, что с обеих сторон много убитых и раненых, двинул вперед другой пехотный отряд, в 5 000 человек. Когда те подошли вплотную к линии боя, он приказал своим раздаться в обе стороны, как если бы они собирались обратиться в бегство, и выйти из сражения рассыпавшись частью вправо, частью влево. Этот маневр дал возможность флорентинцам несколько продвинуться вперед. Но когда они, утомленные, сошлись со свежими силами Каструччо, то не выдержали и были сброшены в реку.

Кавалерия билась без какого-либо перевеса на той или на другой стороне, ибо Каструччо, зная, что противник сильнее, приказал своим

кондотьерам лишь сдерживать натиск флорентинцев; он надеялся разбить их пехоту и после ее разгрома без большого труда победить конницу. Случилось так, как он рассчитывал. Увидев, что пехота неприятельская оттеснена в реку, он двинул всю пехоту, какая у него оставалась, в тыл флорентинской коннице, и она стала поражать ее копьями и дротиками. Одновременно кавалерия Каструччо с удвоенной яростью нападала на нее спереди, пока не обратила ее в бегство. Вожди флорентинцев, видя, как трудно их коннице перейти через реку, пытались переправить пехоту ниже по течению, чтобы ударить во фланг людям Каструччо. Но так как берег был высокий и кроме того занят его воинами, попытка не удалась и здесь. Таким образом, обратилась в бегство вся гвельфская армия, к великой славе и чести Каструччо, и из такого огромного войска спаслась едва треть. Многие из вождей попали в плен. Карл, сын короля Роберта, вместе с Микельанджело Фалькони и Таддео дельи Альбицци, комиссарами флорентинскими, бежали в Эмполли. Добыча была большая и потери людьми огромнейшие, как и можно было ожидать при таком ожесточенном сражении. У флорентинцев было убито 20 231 человек, у Каструччо — 1 570.

Но фортуна, противница его славы, отняла у него жизнь тогда, когда как раз нужно было даровать ее ему, и прервала выполнение тех планов, которые за много времени до того он решил осуществить. Только одна смерть и могла помешать ему в этом. Каструччо нес боевые

труды в течение целого дня, и когда сражение кончилось, он, утомленный и потный, стал у ворот Фучеккио, чтобы ожидать свои войска, возвращавшиеся после победы, лично их встречать и благодарить и быть к тому же готовым принять меры, если бы неприятель, сопротивляясь еще кое-где, дал повод для тревоги. Он держался того мнения, что долг хорошего полководца первым садиться на коня и последним с него сходить.

Так стоял он на ветру, который очень часто среди дня подымается с Арно и почти всегда несет с собою заразу. Он весь продрог, но не обратил на это никакого внимания, потому что был привычен к неприятностям такого рода, а между тем эта простуда стала причиною его смерти. В следующую ночь он стал жертвою жесточайшей лихорадки, которая непрерывно усиливалась. Врачи единогласно признали болезнь смертельной. Когда сам он в этом убедился, он призвал к себе Паголо Гуиниджи и сказал ему следующее:

„Если бы я думал, сын мой, что фортуна хотела оборвать посередине мой путь к той славе, которую я обещал себе при столь счастливых моих успехах, я бы трудился меньше, а тебе оставил бы менее обширное государство, но зато и меньше врагов и завистников. Я довольствовался бы властью над Пизой и Луккой, не подчинил бы себе пистолезцев и не раздражал бы флорентинцев бесконечными оскорблениями. Наоборот, тех и других я бы сделал своими друзьями и прожил бы жизнь если

и не более долгую, то во всяком случае более спокойную, а тебе оставил бы государство, меньшее размерами, но несомненно более надежное и более крепкое. Но фортуна, которая хочет быть решительницей всего людского, не дала мне ни настолько ясного суждения, чтобы я мог ее разгадать, ни достаточного времени, чтобы я мог ее одолеть. Ты знаешь — об этом многие тебе говорили, и я никогда не отрицал,— как я попал в дом твоего отца совсем юным и чуждым еще тех надежд, которые должны одушевлять всякую благородную натуру; как он воспитал меня и как полюбил больше, чем если бы я был кровным его детищем. Благодаря ему, им руководимый, стал я доблестным и достойным того удела, который ты видел и продолжаешь видеть. И так как перед смертью он вверил мне тебя и все свое имущество, я воспитал тебя с такой любовью, а достояние его умножил с такой добросовестностью, с какой был обязан и обязан еще и сейчас. А для того, чтобы тебе досталось не только то, что оставил тебе отец, а еще и то, что было приобретено моим счастьем и моей доблестью, я не хотел жениться [26], так как любовь к детям могла в какой-то мере помешать мне выявить к крови твоего отца ту признательность, какую я считал должной. Итак, я оставляю тебе большое государство, и этим я очень доволен. Но я оставляю его тебе слабым и шатким, что повергает меня в великое горе. Тебе достается город Лукка, который никогда не будет очень доволен, что ты им владеешь. Достается тебе Пиза, где имеются люди

по природе своей изменчивые и полные вероломства; она, хотя и привыкла в разное время находиться в порабощении, всегда будет переносить с негодованием господство луккайского синьора. И еще достается тебе Пистойя, недостаточно верная, ибо в ней идет борьба партий, и она раздражена против нашей породы из-за недавних обид. Соседями у тебя — флорентинцы, оскорбленные, претерпевшие от нас тысячи поношений и не истребленные; им известие о моей смерти доставит такую радость, какой не доставило бы завоевание всей Тосканы. На государей миланских и на императора полагаться тебе нельзя: те нерешительны, этот далек, и помощь их никогда не поспеет к тебе вовремя. Вот почему тебе нельзя надеяться ни на что, кроме как на собственное искусство, на память о моей доблести и на славу, которую снискала тебе последняя победа; она, если ты сумеешь умно ее использовать, поможет заключить соглашение с флорентинцами: они пали духом вследствие своего поражения и охотно пойдут на мир. Их я хотел иметь врагами и думал, что их вражда доставит мне могущество и славу. Ты же всеми силами должен стараться, чтобы они стали тебе друзьями, ибо их дружба принесет тебе безопасность и выгоду. Самое важное в этом мире познать самого себя и уметь взвешивать силы своего духа и своего государства. Кто сознает, что он не создан для войны, должен стараться править мирными средствами. Именно к этому, думается мне, должны быть направлены твои усилия, только этим способом

пойдут тебе на пользу мои усилия и опасности, которым я подвергался. Этого ты добьешься легко, если признаешь верным мои заветы. И будешь обязан мне вдвойне: во-первых, тем, что я оставил тебе это государство, а во-вторых — тем, что научил тебя, как его удержать".

После этого Каструччо приказал ввести граждан из Лукки, Пизы и Пистойи, которые сражались вместе с ним; он рекомендовал им Паголо Гуиниджи и заставил их поклясться в покорности ему. И умер, оставив всем, кто слышал о нем, счастливую память о себе, а друзьям своим — такое огорчение, какое никогда не вызывал государь, когда-либо умиравший. Погребение его было совершено с величайшим торжеством, и был он похоронен в церкви Сан Франческо в Лукке.

Но доблесть и фортуна не были так благосклонны к Паголо Гуиниджи, как к Каструччо. Ибо в непродолжительном времени он потерял Пистойю, а потом Пизу и с трудом удержал господство над Луккою, которое сохранилось в его роду вплоть до Паголо, его правнука [27].

Таким образом, из того, что изложено, видно, что Каструччо был не только человеком выдающимся в свое время, но и в прежние времена такие, как он, появлялись не часто. Ростом он был выше среднего и сложен чрезвычайно соразмерно. И столько было изящества в его осанке и так ласково принимал он людей, что никто, поговорив с ним, не уходил недовольным. Волосы его были с рыжеватым оттенком, и носил он их обстриженными выше ушей. И все-

гда, во всякую погоду, в дождь и снег, ходил он с непокрытой головой.

С друзьями он был ласков, с врагами — беспощаден, с подданными — справедлив, с чужими — вероломен. И если мог одержать победу хитростью, никогда не старался одержать ее силою, говоря, что славу дает победа, а не способ, каким она далась.

Никто не бросался в опасность с большей смелостью, чем он, и никто не выходил из опасности с большей осмотрительностью. Он часто говорил, что люди должны отваживаться на все и ни перед чем не падать духом, что бог любит храбрых, ибо не трудно видеть, что он слабых наказывает руками сильных.

Его замечания и остроты бывали и язвительны и любезны. И так как он сам не спускал никому, то не обижался, когда и ему доставалось от других. Сохранилось много острот, которые были им сказаны или терпеливо выслушаны [28].

Однажды он велел купить куропатку за дукат, и один из друзей стал его за это упрекать. Каструччо спросил: „Ты бы не дал за нее больше сольдо?“ Тот отвечал, что он не ошибается. „Так для меня дукат — гораздо меньше сольдо“,— сказал Каструччо.

Около него вертелся один льстец, и он, чтобы показать ему свое презрение, плюнул на него. Льстец сказал: „Рыбаки, чтобы поймать маленькую рыбку, дают морю омыть себя с ног до головы. Я охотно позволяю омыть себя плевком, чтобы поймать кита“. Каструччо не только вы-

слушал эти слова без раздражения, но еще и наградил говорившего.

Кто-то упрекал его за то, что он живет слишком роскошно. Каструччо сказал: „Если бы в этом было что-нибудь дурное, не устраивались бы такие роскошные пиры в праздники наших святых".

Проходя по улице, он увидел некоего юношу, выходящего из дома куртизанки. Заметив, что Каструччо его узнал, юноша густо покраснел. „Стыдись не когда выходишь, а когда входишь",— сказал ему Каструччо.

Один из друзей предложил ему развязать, узел, хитро запутанный. „Глупый,— сказал Каструччо, неужели ты думаешь, что я стану распутывать вещь, которая и в запутанном виде так выводит меня из себя".

Говорил Каструччо некоему гражданину, который занимался философией: „Вы, как собаки,— бежите за тем, кто вас лучше кормит". Тот ответил: „Скорее мы — как врачи: ходим к тем, кто в нас больше нуждается".

Как-то, когда он ехал морем из Пизы в Ливорно и поднялась свирепая буря, Каструччо сильно смутился. Один из сопровождавших упрекнул его в малодушии и прибавил, что сам он ничего не боится. Каструччо ответил, что его это не удивляет, ибо каждый ценит душу свою, как она того стоит.

У него спросили однажды, как он добился такого уважения к себе. Он ответил: „Когда ты идешь на пир, сделай так, чтобы на дереве не сидело другое дерево".

Кто-то хвалился, что много читал. Каструччо сказал: „Лучше бы ты хвалился, что много запомнил".

Другой хвастал, что он может пить сколько угодно не пьянея. Каструччо заметил: „И бык способен на это".

Каструччо был близок с одной девушкой. Один из друзей упрекал его за то, что он позволил женщине овладеть собою. „Не она мною овладела, а я ею",— сказал Каструччо.

Другому не нравилось, что ему подают чересчур тонкие кушанья. Каструччо спросил его: „Так ты не стал бы тратить на еду столько, сколько я?" Тот ответил, что, конечно, нет. „Значит,— сказал Каструччо,— ты более скуп, чем я обжорлив".

Пригласил его однажды к ужину Таддео Бернарди, лукканец, очень богатый и живший роскошно. Когда Каструччо пришел, хозяин показал ему комнату, которая вся была убрана тканями, а пол был выложен разноцветными дорогими каменьями, изображавшими цветы, листья и другие орнаменты. Каструччо набрал побольше слюны и плюнул прямо в лицо Таддео, а когда тот стал возмущаться, сказал: „Я не знал, куда мне плюнуть, чтобы ты обиделся меньше".

У него спросили, как умер Цезарь. „Дай бог, чтобы и я умер так же",— сказал он.

Однажды ночью, когда он был у одного из своих дворян на пирушке, где присутствовало много женщин, танцовал и дурачился больше, чем подобало его положению, кто-то из друзей

стал его упрекать за это. „Кого днем считают мудрым, не будут считать глупым ночью“,— сказал Каструччо.

Кто-то пришел просить его о милости, и так как Каструччо сделал вид, что не слышит его, тот опустился на колени. Каструччо начал выговаривать ему за это. „Твоя вина,— ответил тот: — у тебя уши на ногах“. За это Каструччо сделал ему вдвое против того, что он просил.

Он часто говорил, что путь в ад очень легкий, так как нужно итти вниз и с закрытыми глазами.

Кто-то, обращаясь к нему с просьбой, говорил очень много слов, совсем ненужных. „Когда тебе понадобится от меня еще что-нибудь,— сказал ему Каструччо,— пришли другого“.

Другой такой же надоел ему длинной речью и под конец спросил: „Может быть, я утомил вас, проговорив слишком долго?“ — „Нет,— отвечал Каструччо,— потому что я не слышал ничего из сказанного тобою“.

Про кого-то, кто был красивым мальчиком, а потом стал красивым мужчиной, он говорил, что это очень вредный человек, ибо сначала отнимал мужей у жен, а потом стал отнимать жен у мужей.

Одного завистника, который смеялся, Каструччо спросил: „Почему ты смеешься: потому ли, что тебе хорошо, или потому, что другому плохо?“

Когда он был еще на попечении у Франческо Гуиниджи, один из его сверстников сказал ему: „Что ты хочешь, чтобы я тебе по-

дарил за то, чтобы дать тебе пощечину?"— „Шлем",— сказал Каструччо.

Он послал однажды на смерть некоего лукканского гражданина, который когда-то помог ему возвыситься. Ему стали говорить, что он поступает дурно, убивая одного из старых друзей. Он ответил, что они ошибаются, и что убит не старый друг, а новый враг.

Он очень хвалил людей, которые собираются жениться и не женятся, а также тех, которые собираются пуститься в море и никогда не садятся на корабль.

Он говорил, что дивится людям, которые, покупая сосуд, глиняный или стеклянный, пробуют его на звук, чтобы узнать, хорош ли он, а выбирая жену, довольствуются тем, что только смотрят на нее.

Когда он был близок к смерти, кто-то спросил, как он хочет быть погребенным. „Лицом вниз,— сказал Каструччо,— ибо я знаю, что, когда я умру, все в этом государстве пойдет вверх дном".

Его спросили, не было ли у него когда-либо мысли сделаться для спасения души монахом. Он ответил, что нет, ибо ему казалось странным, что фра Ладзаро пойдет в рай, а Угуччоне делла Фаджола — в ад.

Его спросили, когда лучше всего есть, чтобы быть здоровым. Он ответил: „Богатому — когда хочет, бедному — когда может".

Он увидел однажды, что кто-то из его дворян заставил своего слугу зашнуровывать себя. „Дай бог,— сказал Каструччо,— чтобы тебе при-

шлось заставить кого-нибудь класть себе куски в рот".

Ему как-то бросилась в глаза латинская надпись на доме некоего гражданина: „Да избавит бог этот дом от дурных людей". Каструччо сказал: „В таком случае он не должен ходить туда сам".

Проходя по улице, он увидел маленький дом с огромной дверью. „Дом убежит через эту дверь",—сказал он.

Ему сказали, что один чужестранец соблазнил мальчика. „Должно быть, это перуджинец",—сказал Каструччо.

Он спросил, какой город славится больше всего обманщиками и мошенниками. Ему ответили: „Лукка". Ибо по природе своей все ее жители были таковы, за исключением Буонтуро [29].

Каструччо спорил однажды с послом неаполитанского короля по вопросам, касавшимся имущества изгнанников, и стал говорить очень возбужденно. Тогда посол спросил, неужели он не боится короля. „А ваш король хороший или дурной?"—спросил Каструччо. Когда тот ответил, что хороший, Каструччо спросил снова: „Почему же ты хочешь, чтобы я боялся хороших людей?"

Можно было бы рассказать многое другое о его изречениях, и во всех них можно было бы видеть ум и серьезность. Но мне кажется, что и эти достаточно свидетельствуют о его великих достоинствах.

Он жил 44 года и был велик в счастьи и несчастьи. И так как о счастьи его существует

достаточно памятников, то он хотел, чтобы сохранились также памятники его несчастья. Поэтому кандалы, которыми он был скован в темнице, можно видеть до сих пор в башне его дворца, где они повешены по его приказанию, как свидетели его бедствий. И так как при жизни он не был ниже ни Филиппа Македонского, отца Александра, ни Сципиона Римского, то он умер в том же возрасте, что и они. И несомненно он превзошел бы и того и другого, если бы родиной его была не Лукка, а Македония или Рим[30].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О Дзаноби Буондельмонте и Луиджи Аламанни, с которыми Макиавелли сошелся в садах Ручеллаи, см. вступительную статью.

[2] Обычная у писателей XVI в. заставка с этическим мотивом: наследие гуманизма. У Вазари она имеется в начале почти каждой его биографии. Здесь у нее еще и тот смысл, что она скрывает настоящую цель «Жизни Каструччо».

[3] Каструччо родился 29 марта 1281 г. в Лукке. Семья Кастракани была ветвью большого и богатого рода Антельминелли. Дед Каструччо, Кастракане, приобрел большие железные рудники в Луниджане, которые частью перешли к его внуку. Около 1300 г. отец Каструччо, Джерио, был изгнан из Лукки после очередного переворота и обосновался в Анконе, где, повидимому, и умер.

[4] Тут начинается выдумка, в которой Макиавелли очень близко следует за Диодором Сицилийским, пересаживая без стеснения рассказ греческого историка

о сицилийском тиране Агафокле Сиракузском на средневековую тосканскую почву. По Диодору, Агафокл был подкинут отцом, найден матерью и ею передан на воспитание ее брату, потом принят в дом знатным сиракузянином и т. д. Исторический Каструччо воспитывался в родной семье. Каноник Антинио Кастракани — миф.

[5] И Франческо Гуиниджи и Паоло, его сын,— лица вымышленные. Они никогда не существовали и выдуманы тенденциозно. Собственно говоря, вся вещь написана Макиавелли, повидимому, для того, чтобы доказать, что Паоло Гуиниджи был вторым „я“ и непосредственным правопреемником Каструччо и что его права законнейшим образом перешли к его наследникам. Поэтому он сует в рассказ это мифическое лицо в каждом сколько-нибудь важном случае. Некоторая связь между наследниками Каструччо и настоящим, историческим Паоло Гуиниджи, правившим Луккою в 1400 — 1430 гг., существовала. Отец этого Паоло, Лаццаро Гуиниджи, был опекуном Катарины, внучки Каструччо, и выдал ее замуж за сына. Так как по мужской линии род Каструччо прекратился в 1399 г., то к Паоло и его жене перешло и все уцелевшее имущество Каструччо. Но ясно, что преемство прав на власть в Лукке этим путем создаться не могло, а потомству Паоло, который после 1430 г. лишился власти, нужно было доказать, что такое преемство существует, ибо они в начале XVI в. добивались восстановления синьории в Лукке за своим родом. Такова, повидимому, главная цель написания „Жизни Каструччо“. Но в процессе писания Макиавелли, отчасти чтобы замаскировать тенденцию, отчасти по соображениям общеполитическим и литературным, внес в нее и другие

мотивы, о которых будет сказано ниже. Получилась „мифография“ (Томмазини) или „военно-политический роман“ (Виллари) — словом, нечто очень интересное, но с историей ничего общего не имеющее и кроме того носящее в себе элементы заведомой фальши.

[6] История дебютов Каструччо гораздо сложнее. Его боевая карьера началась в 1301 г., т. е. год спустя после изгнания из Лукки его семьи, так что в Ашкону родителей он, быть может, и не сопровождал. Он служил у французского короля, в Ломбардии (у сиьора Пьяченцы Альберто Скотто, у Скалиджери веронских, только не у Висконти), в Венеции, в войске императора Генриха VII в Тоскане, а когда он умер (1313), остался служить у Угуччоне делла Фаджола, ставшего главою тосканских гибеллинов и сеньором Пизы.

[7] Возвращению Каструччо в Лукку предшествовала война Угуччоне с Луккою и мир в Риппафратте 25 апреля 1314 г., одним из условий которого было возвращение изгнанников. Они вступили в город в тот же день.

[8] То есть викарий короля Роберта Неаполитанского, главы итальянских гвельфов. Роберт посылал викариев во все тосканские города, принадлежавшие к гвельфской лиге.

[9] Взятие Лукки Угуччоне (13 июня 1314 г.) и крупная роль, сыгранная в нем Каструччо, изложены более или менее правильно.

[10] Описание Монтекатинского сражения (29 августа 1315 г.) совершенно фантастично. Угуччоне болен не был, командовал сам, и честь победы принадлежит ему.

Тактическая картина была совершенно другая. Роль Каструччо, раненного в бою, была второстепенная, но он обнаружил большое мужество и стал подозрителен в глазах Угуччоне. С своей стороны, и Каструччо был недоволен. После сокрушения гвельфов он надеялся, что Угоччоне поставит его во главе Лукки, но Угуччоне назначил подестою сына своего Франческо, а когда тот был убит под Монтекатини, другого сына — Нери. Вражда назревала с обеих сторон.

[14] Повод для ареста (1 апреля 1316 г.) был совсем другой.

[15] Изгнание Угуччоне произошло 10 апреля 1316 г. Год спустя он сделал попытку вернуться в Пизу, но неудачно. Умер в 1319 г. на боевом посту и вовсе не в бедности.

[16] Сначала вместе с Пьяно дей Кварциджани (17 апреля 1316 г.), потом один.

[17] Избранию Каструччо пожизненным синьором Лукки (26 апреля 1320 г.) предшествовал мир, заключенный Луккою и Пизою с Робертом (17 мая 1316 г.) и походы 1317—1320 гг. Монтремоли, впрочем, был занят только весною 1321 г.

[18] Тут опять путаница. Немецкий король Фридрих Красивый, соперник Людовика Баварского, в Италию не приходил. Передача им Каструччо титула викария состоялась посредством грамоты, помеченной 9 апреля 1320 г. Роль Паоло Гуиниджи, как всегда, тенденциозно выдумана. Синьория над Пизою относится к более позднему времени (см. ниже).

[19] Заговор Поджини относится к 1321 г. Стефано был его организатором и главою. Замыслы заговорщиков были своевременно раскрыты и сами они наказаны. В описании Макиавелли весь эпизод изложен

с политической тенденцией, подсказанной тем же Диодором Сицилийским, у которого Агафокл обманом призывает к себе заговорщиков и истребляет их. Здесь Каструччо принимает у Макиавелли черты Цезаря Борджа, т. е. подкрепляет политическую идею „Князя", а роль Стефано, повидимому, сделана по подлинному историческому образцу, по роли тоже „старого и миролюбивого" Якопо Пацци, в заговоре 1478 г. во Флоренции.

[17] Продолжается стилизация Каструччо под Цезаря Борджа.

[18] Захват Пистойи 25 мая 1325 г. совершился совсем не так. Имена вождей Черных и Белых выдуманы, и мифический Паоло Гуиниджи был там, конечно, не при чем. Попытка флорентинцев вернуть Пистойю привела к сражению при Альтопашо, где они были разбиты на-голову Каструччо (23 сентября 1325 г.).

[19] Поездка Каструччо в Рим к „викарию Генриху"— такое же недоразумение, как и поездка его навстречу королю Фридриху. В тот и другой эпизоды Макиавелли вкрапливает факты, сопровождавшие пребывание в Италии Людовика Баварского. После победы над Фридрихом при Мюльдорфе (28 сентября 1322 г.) Людовик стал готовиться к походу в Рим для коронования и усиленно переписывался об этом с Каструччо. Но в Италию попал он лишь в 1327 г. В Милане он был коронован железной королевской короною (31 мая), 1 сентября встречен в Понтремоли Каструччо, 11 октября вынудил к сдаче Пизу, не желавшую пускать его к себе, 7 января 1328 г. вступил в Рим, где 17-го был коронован. Каструччо после взятия Пизы получил от Людовика титул гер-

цога Лукки, Пистойи, Луни и Вольтерры, а в Риме им же был награжден званием сенатора и осыпан другими милостями.

[20] Пистойя была занята флорентинцами 27 января 1328 г.

[21] Не с Генрихом, а с императором. На пути в Лукку, в феврале, вероятно с согласия Людовика, Каструччо овладел Пизою.

[22] Сражение при Серравалле, равно как и описанное ниже сражение при Фучеккио,— чистая выдумка. Макиавелли почему-то не упомянул битвы при Альтопашо, которую он рассказал в „Истории Флоренции", а сочинил две фантастические. Цель его на этот раз — доказать, в подкрепление основного тактического тезиса его книги „Военное искусство", преимущество пехоты над кавалерией.

[23] Пистойя сдалась Каструччо после продолжительной осады и безуспешных попыток флорентинцев выручить ее 3 августа 1327 г.

[24] Повторение мысли „Discorsi", III, 6 (глава о заговорах). Заговор в Пизе — выдумка.

[25] Новая стилизация под Цезаря Борджа.

[26] Каструччо умер 3 сентября 1328 г. Он был женат уже, повидимому, в 1310 г., имел четырех сыновей и несколько дочерей. Речь к Паоло Гуиниджи — новое подкрепление титулов семьи Гуиниджи в обстановке XVI в.

[27] Сыновья Каструччо очень скоро потеряли Пистойю и Пизу и были изгнаны из Лукки, где некоторое время спустя власть досталась семье Гуиниджи.

[28] Среди анекдотов, которыми заканчивается „Жизнь Каструччо", большинство заимствовано у классиков:

у Плутарха („Апофтегмы"), у Диогена Лаэртского („Жизнь Аристиппа") и др.

[29] Данте („Ад", 21), говоря о Лукке, заклеймил ее стихом: „там все мошенники, кроме Бонтуро". Это была злая ирония, потому что Бонтуро дей Дати был худшим из мошенников. Макиавелли повторил прием Данте.

[30] Литература о Каструччо: *Fr. Winkler*, Castruccio Castracani, Herzog von Lucca (1897); *Daridsohn* Geschichte von Florenz, т. III (1915); *Carlo Mignoni*, Castruccio (1926). У них, особенно у Винклера, сведены все места из источников и ранних биографий. См. также *Villari* (III, 68 и след.), *Tommasini* (II, 427 и след.).

МАНДРАГОРА

О „Мандрагоре“ очень хорошо сказано, что она является комедией того общества, трагедия которого — „Князь“. Об общественном ее значении в связи с общим мировоззрением Макиавелли говорится во вступительной статье. Здесь следует указать прежде всего, что Макиавелли пришлось скрывать — и довольно тщательно — антиклерикальное и особенно антирелигиозное жало комедии. Фигура фра Тимотео, конечно, и сама по себе достаточно красноречива: служитель церкви, за деньги помогающий делу, самому безбожному с точки зрения церкви, и простодушно привлекающий в помощники к себе по сводническому предприятию не более не менее, как архангела Рафаила. Но в комедии имеются и более серьезные намеки. Лукреция говорит Каллимако (V, 4), что она готова признать, что случившееся с нею произошло „по соизволению неба“, что она не в праве отказаться от прелюбодеяния, которое „небо повелевает ей принять“. Другими словами: тут уже сам бог становится соучастником той гнусности, которую устроили молодой женщине при самой деятельной помощи служи-

теля церкви пылкий любовник и муж-идиот. Все это не мешало папе (Льву X) и высшим церковным сановникам аплодировать комедии и искренно смеяться убийственной для них сатире Макиавелли.

По литературным достоинствам „Мандрагора“ не имеет соперников в огромной продукции так называемой „ученой комедии“ XVI века. Современного читателя, конечно, будут беспокоить еще несовершенства диалога, обилие таких реплик, как „вы правы“, „верно“, „справедливо“ — наследие римской комедии — или некоторые длинноты. Но сюжет, композиция, действие, типы — великолепны. Стендаль говорит, что „Мандрагора“ была бы отличной комедией, если бы автор ее был более веселым человеком. Это, конечно, верно. К этому только следовало бы прибавить: и если бы он был настоящим художником. Сатира Макиавелли злая, а реалистический его талант лучше изображает глубокие, общественно важные пороки, чем поверхностные недостатки людей. И потом, сочиняя свою комедию, Макиавелли был весь полон своими общественно-политическими построениями. Очень нетрудно найти десятки параллелей между диалогом „Мандрагоры“ и отдельными замечаниями „Князя“ и „Рассуждений на Тита Ливия“. То, что там, иллюстрирует мысль социологическую и политическую, здесь иллюстрирует бытовые ситуации.

Но и то, что сумел дать в „Мандрагоре“ Макиавелли, не будучи ни веселым человеком, ни большим художником, делает его по праву отцом итальянской комедии. Не его вина, если в руках ближайших его преемников комедия не развернулась должным образом и что настоящий наследник ему пришел только через 200 лет — Карло Гольдони. О роли „Мандрагоры“

в развитии своего таланта Гольдони сам рассказал нам в „Мемуарах“.

О сценических, не драматургических достоинствах „Мандрагоры“ достаточно говорит тот факт, что этот первенец литературной комедии в Европе, хотя и не часто, все-таки до сих пор периодически появляется и на итальянской и на европейской сцене. У нас „Мандрагора“ не так давно очень удачно была представлена артистами студии М. Н. Ермоловой под руководством Е. К. Лешковской в постановке Ю. Ф. Юрьева.

Настоящий русский перевод является, если мы верно считаем, четвертым: после переводов А. Н. Островского, А. В. Амфитеатрова и вышедшего в Берлине перевода Равкинта.

А. Д.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Каллимако
Сиро
Мессер Нича
Лигурио
Сострата
Фра Тимотео
Женщина
Лукреция

Действие происходит во Флоренции

КАНЦОНА,

которую поют нимфы и пастухи

Затем, что век наш краток,
Что мучится все время,
И живя и терпя, земное племя,—
Вослед своим желаньям
Идемте, мимолетным годам рады!
Кто полон воздержаньем,
Тот живет в огорчениях, без отрады,
И не знает услады
Мирской, ни зло, какое
В превратности несчастной
Гнетет всечасно бытие людское.

Чтоб не дружить с тоскою,
Себе мы жизнь пустынную избрали,
И веселою толпою
Отроков легких, резвых нимф предстали,
И музыку из дали
Несем мы звучной данью,—
Воздать привет по чести
В праздничном месте милому собранью.

Еще нас привлекало
Имя того, который вами правит,
Кого добро взыскало
И его наравне с богами ставит.
Его пусть каждый славит
За судьбу столь благую,
Его благодарите
За то, что вам дарит он жизнь такую.

ПРОЛОГ

Бог вас храни, коль судите не строго!
А уж мы вас уважим,
Чтоб ваше обрести расположенье.
Коли шуметь не будете вы много,
Мы сейчас вам покажем
Бывшее тут недавно приключенье.
Смотрите ж представленье
И разбирайтесь сами:
Флоренция пред вами,—
Бывает Пиза, Рим,— как автор хочет,—
От смеха челюсть с челюсти соскочит.

Направо вход, а живет там — заметим —
Доктор, муж из ученых,
Воспитанный в Боэциевой школе.
А улица, что за углом за этим,
Есть улица Влюбленных:
Кто в ней упал, не подымется боле.
Узнаешь поневоле

По одеянью „брата“
Приора иль аббата,
Он здесь насупротив живет при храме,—
Коль слишком рано не простится с нами.

Тут юноша, Каллимако Гваданьи,
Ранее живший в Париже,
Дом занимает полевей от храма.
Товарищи его, хоть в том же званьи,
А кажутся все ниже,
Он всех любезней и не знает срама.
Им молодая дама
Была любима страстно,
Но — как вам будет ясно —
Он ее обманул. Хочу, чтоб тоже
Вы обмануты были, с нею схоже.

Называется пьеса „Мандрагорой“.
В ней все само понятно
Из слов самих, тут не нужен толковник;
Автор не больно знаменит,— который,
Коль пьеса не занятна,
Обратно платит деньги, он — виновник!
Несчастливый любовник!
Доктор, умом убогий,
Монах, жизни не строгой,
И паразит меж лукавых лукавый
Сегодня будут вашею забавой.

А ежель вам недостойной помнится
Все легкая затея
Для тех, кто хочет быть умней и вяще,
Его за то простите. Он стремится,
Пустые мысли сея,

Грустные дни свои тем сделать слаще,
Коль в жизни настоящей
Может лишь суесловить:
Ему запрещено ведь
В других делах себя явить как надо.
Его трудам не суждена награда.

Он ждет одной награды,— чтобы каждый
Смирно сидел и в свой рукав смеялся,
Дурное говоря про то, что слышит.
Оттого-то — твердили не однажды —
Наш век отмежевался
От доблести, которой древность дышит,
Что раз злоречье пышет,—
Сил не жалел, кто же
Труды себе дороже
С великим тщаньем важные затеет,
Коль туча их затмит и ветер свеет!

Если же мнят, что, говоря дурное,
Тем его потревожат,
Что он уж их, что будет под запретом,—
Предупреждаю: им скажу такое:
Злословить сам он может,
Что сызмала владеет сим предметом,
К тому же в мире этом,
Что на „да-нет“ воспитан,
Никого-то не чтит он,
Хоть слугою итти умеет все же
Вслед за теми, кто носит плащ дороже.

Но злословят пускай, кому охота,—
Мы к делу возвратимся,

Чтобы спектакль не задержать нимало.
Считаться с мнением — праздная забота,
Чудовища страшимся,
Которого еще и не бывало.
Каллимако сначала,
За ним и Сиро в дверь
Выходят. Вам теперь
Все расскажут они подряд. Вниманье!
Я окончил свое истолкованье.

АКТ ПЕРВЫЙ

Явление I

Каллимако и Сиро

Каллимако. Не уходи, Сиро, ты мне нужен.

Сиро. Я здесь.

Каллимако. Ты, наверное, удивлялся моему внезапному отъезду из Парижа, а теперь удивляешься, что я живу здесь уже месяц без всякого дела.

Сиро. Вы правы.

Каллимако. Если я до сих пор не говорил тебе того, что скажу сейчас, то не от недоверия к тебе, а полагая, что о вещах, которые человек хочет скрыть, лучше говорить не иначе, как поневоле. Однако, думая, что мне понадобятся твои услуги, я хочу сказать тебе все.

Сиро. Я ваш слуга: слуги никогда ничего

не должны спрашивать у своих господ, ни выслеживать их поступков, но когда сами господа о них сообщают, слуги должны служить им верой и правдой. Так я и делал и буду делать.

Каллимако. Я это знаю. Ты, наверное, слышал от меня тысячу раз (однако не беда, если ты об этом узнаешь в тысячу первый раз), что мне было десять лет, когда, после смерти отца и матери, я был отправлен своими опекунами в Париж, где прожил двадцать лет; а так как по прошествии десяти, из-за похода короля Карла[1], начались в Италии войны, которые разорили эту страну, я решил остаться в Париже и никогда больше не возвращаться на родину, рассудив, что там я смогу жить в большей безопасности, чем здесь.

Сиро. Так оно и есть.

Каллимако. Распорядившись оттуда, чтобы было продано все мое имущество, кроме дома, я и остался в Париже, где провел еще десять лет весьма счастливо.

Сиро. Знаю.

Каллимако. Уделяя часть времени наукам, часть удовольствиям и часть — делам, я подвизался в каждом из этих занятий так, что одно не преграждало мне пути к другому. И поэтому, как ты знаешь, я жил в высшей степени спокойно, угождая каждому и стараясь никого не обижать, так что, казалось мне, я был мил горожанам и дворянам, чужестранцу и местному жителю, бедному и богатому.

Сиро. Правда.

Каллимако. Однако судьба, которой показалось, что мне слишком уж хорошо живется, сделала так, что в Париже появился некий Камилло Кальфуччи.

Сиро. Я начинаю догадываться о вашей болячке.

Каллимако. Он, как и другие флорентинцы, часто бывал у меня в гостях, и однажды мы поспорили, где женщины красивее — в Италии или во Франции. Я не мог судить об итальянках, потому что был очень мал, когда уехал. А один флорентинец, который там присутствовал, стал на французскую сторону, Камилло же — на итальянскую, и после многих доводов и с той и с другой стороны Камилло, вроде как рассердившись, заявил, что если бы все итальянские женщины оказались уродами, одна его родственница сумела бы восстановить их честь.

Сиро. Теперь мне ясно, что вы хотите сказать.

Каллимако. И назвал мадонну Лукрецию, жену мессера Нича Кальфуччи, и расточал ей такие похвалы и за красоту и за нравы, что все мы одурели, а во мне пробудилось такое желание ее увидеть, что, оставив всякое иное попечение и не думая больше о войне и мире в Италии, я собрался сюда и, приехав, убедился, что слава мадонны Лукреции значительно уступает действительности — а это ведь редко бывает. И я зажегся таким желанием быть с нею, что не нахожу себе места.

Сиро. Если бы вы сказали мне об этом

в Париже, я бы знал, что вам посоветовать, но сейчас я не знаю, что и сказать вам.

Каллимако. Я это сказал тебе не для того, чтобы получать от тебя советы, а чтобы хоть немного отвести душу и чтобы ты готов был помогать мне всюду, где это понадобится

Сиро. За мною остановки не будет. Только на что вы надеетесь?

Каллимако. Увы! Ни на что или мало на что. И говорю тебе: против меня прежде всего ее природа — честнейшая и совсем чуждая любовным делам; потом то, что у нее очень богатый муж, покорный ей во всем, и если и не молодой, то, видимо, не совсем еще старый; то, что нет у нее родственников или соседей, с которыми она бы встречалась на каких-либо вечеринках, праздниках или иных увеселениях, коими обычно наслаждается молодежь. Работников у нее в доме нет никого, нет служанки или слуги, которые не трепетали бы перед ней, так что о подкупе не может быть и речи.

Сиро. Так что же вы думаете делать?

Каллимако. Никогда не бывает такого безнадежного дела, на которое нельзя было бы как-нибудь надеяться, хотя бы надежда была слабой и пустой; воля и желание довести дело до конца преображают его в наших глазах.

Сиро. Что же, наконец, питает вашу надежду?

Каллимако. Два обстоятельства. Одно —

простоватость мессера Нича. Он, хотя и доктор, но самый недалекий и глупый человек во Флоренции. Другое — его и ее желание иметь детей, так как она уже шесть лет замужем, а они до сих пор никого не произвели на свет. Им как очень богатым людям этого хочется до смерти. Есть и третье обстоятельство — ее мать была в свое время женщиной хоть куда, но и она богата, так что я и не знаю, как вести себя с ней.

Сиро. А пытались ли вы уже что-либо предпринять для этого?

Каллимако. Пытался, но это — пустяки.

Сиро. А именно?

Каллимако. Ты знаешь Лигурио, который постоянно ходит ко мне обедать? Он прежде был посредником по брачным делам, а потом стал жить тем, что напрашивается на обеды и ужины, и так как он человек приятный, мессер Нича поддерживает с ним близкие отношения; Лигурио[2] же водит его за нос, а тот хотя и не угощает его, но дает ему иногда денег взаймы. Я приобрел его дружбу и сообщил ему о своей любви. Он обещал помогать мне руками и ногами.

Сиро. Смотрите, как бы он вас не обманул: эти обжоры не отличаются честностью.

Каллимако. Это-то верно. Однако, когда человеку что-нибудь выгодно, можно предположить, что, если ты поманишь его надеждою, он будет служить тебе честно. Я обещал, в случае удачи, подарить ему хорошую сумму денег, в случае же неудачи он сорвет у меня

обед и ужин, которые я все равно не стал бы есть в одиночку.

Сиро. Что же он уже обещал сделать?

Каллимако. Он обещал уговорить мессера Нича, чтобы тот вместе с женой отправился в мае на морские купания.

Сиро. А вам что в этом?

Каллимако. Как что? Такая обстановка могла бы изменить ее нрав: ведь в подобного рода местах только и делают, что веселятся. И я бы туда поехал, постарался бы устроить там столько разнообразных удовольствий, сколько смогу, не останавливаясь ни перед какими роскошествами, сделался бы своим человеком у нее и у мужа. Как знать? Одно к одному, а время покажет.

Сиро. Не плохо.

Каллимако. Лигурио ушел от меня нынче утром и сказал, что он повидается с мессером Нича по этому делу и сообщит мне ответ.

Сиро. Вот они оба идут сюда.

Каллимако. Я отойду в сторону, чтобы поговорить с Лигурио, как только он расстанется с доктором, а ты пока что иди домой по своим делам, и если ты мне понадобишься, я тебе скажу.

Сиро. Иду.

Явление II

Мессер Нича и Лигурио

Нича. Кажется мне, что твои советы хороши, и я вчера вечером говорил об этом с женой. Она сказала, что ответит нынче, од-

нако скажу тебе правду — меня туда что-то не тянет.

Лигурио. Почему?

Нича. Потому что я тяжел на подъем. Да и перевозить жену, прислугу и скарб — не по мне. К тому же я посоветовался вчера вечером кое с кем из врачей: один говорит, чтобы я ехал в Сан Филиппо, другой — в Порету, третий — в именье. Они показались мне отменными плутами, и — скажу тебе правду — эти доктора медицины сами не знают, что делают.

Лигурио. Вам, должно быть, очень тягостно то, о чем вы только что говорили, ведь вы не привыкли терять из виду купол нашего собора.

Нича. Ты ошибаешься. Когда я был помоложе, я был большим непоседой: не было ни одной ярмарки в Прато, на которую я бы не съездил. Нет такого местечка в окрестностях, где бы я не побывал. Больше тебе скажу — я бывал в Пизе и в Ливорно, вот оно что!

Лигурио. Вы, верно, видели Карраколу в Пизе?

Нича. Ты хочешь сказать — Верруколу[3].

Лигурио. Ах да! Верруколу. А в Ливорно вы море видели?

Нича. Сам знаешь, что видел.

Лигурио. А насколько оно больше, чем Арно?

Нича. Чем Арно? Раза в четыре. Да нет: больше чем в шесть, в семь раз. Нет, прямо скажу: только и видно — вода, вода, вода.

Лигурио. Вот я и удивляюсь, что после

того, как вы мочились в стольких снегах, вам так трудно собраться на морские купанья.

Нича. У тебя еще молоко на губах не обсохло: тебе и кажется пустяком, когда приходится ставить вверх дном целый дом. Однако мне так хочется иметь детей, что я готов на все. Но поговори-ка ты с этими магистрами, посмотри, куда они посоветуют мне ехать, а тем временем я побуду с женой. Мы еще увидимся.

Лигурио. Ладно.

Явление III

Лигурио и Каллимако

Лигурио. Я думаю, что на свете нет человека глупее, чем он. А как судьба его обласкала! Он богат, у него красивая жена, разумная, благонравная и способная управлять целым королевством. Мне кажется, что в браках редко оправдывается пословица; бог создает людей, и они находят себе пару; ибо часто видишь, как человек с положением выбирает себе дуру и, наоборот, рассудительная женщина получает полоумного. Однако из сумасшествия этого человека можно извлечь то благо, что Каллимако есть на что надеяться. Но вот и он. Кого ты высматриваешь, Каллимако?

Каллимако. Я увидал тебя с доктором и ждал, когда ты от него отойдешь, чтобы узнать, что ты сделал.

Лигурио. Ты знаешь, какой это человек: в нем не много рассудка, еще меньше смелости

и он неохотно расстается с Флоренцией. Однако я его раззадорил, и он в конце концов сказал мне, что сделает все. Я думаю, что если он у нас польстится на этот план, мы уж доведем дело до конца. Я только не знаю, добьемся ли мы этим способом того, что нам нужно.

Каллимако. Почему?

Лигурио. Кто знает! Тебе известно, что на эти купания едут люди всякого состояния, и может появиться там человек, которому мадонна Лукреция понравится так же, как и тебе, который окажется богаче тебя и будет обаятельнее тебя, так что грозит опасность, как бы ты не потрудился для другого и как бы не случилось, что обилие соперников ее ожесточит, или же, что она, приручившись, обратится к другому, а не к тебе.

Каллимако. Пожалуй, ты прав. Но что же мне делать? На что решиться? Куда мне обратиться? Я должен испробовать что-нибудь, все равно — трудное, опасное, пагубное, позорное. Лучше умереть, чем жить так. Если бы я мог спать ночью, если бы я мог есть, если бы я мог чем-либо наслаждаться, я бы терпеливее выжидал свое время. Но здесь нам ничего не поможет. Если какое-нибудь решение не поддержит во мне надежды, я умру наверняка, а видя, что должен умереть, я уже не боюсь ничего, и готов принять любое решение, зверское, жестокое, нечестивое.

Лигурио. Не говори так. Обуздай порыв своей души.

Каллимако. Ты прекрасно видишь, что я питаюсь этими мыслями именно для того, чтобы обуздать себя. Все же необходимо или попрежнему посылать его на купания, или найти нам иной путь, питающий во мне надежду, если не верную, то хотя бы ложную, но такую, которая вскормила бы во мне мысль, сколько-нибудь умеряющую мои страдания.

Лигурио. Ты прав. Я так и собираюсь.

Каллимако. Верю, хоть и знаю, что подобные тебе живут тем, что морочат людей. Однако я не верю, чтобы ты оказался в их числе; ведь если бы ты это сделал, и я бы это заметил, я бы сумел постоять за себя, и ты тотчас потерял бы доступ в мой дом и надежду получить то, что я обещал тебе в будущем.

Лигурио. Не сомневайся в моей честности, ибо если бы даже не было здесь той пользы, которую я понимаю и на которую надеюсь, уже кровь моя сроднилась с твоей, и я желаю исполнения твоего желания почти столько же, сколько и ты. Но оставим это. Доктор поручил мне найти врача и узнать, на какие купания ему лучше ехать. Я хочу, чтобы ты поступил по-моему, а именно, чтобы ты сказал, что изучил медицину и приобрел в Париже достаточный опыт. Он таков, что легко поверит этому по своей глупости и потому, что ты человек книжный и можешь сказать ему что-нибудь из-латыни.

Каллимако. Для чего это нам нужно?

Лигурио. Это нам нужно для того, чтобы послать его на те купания, на какие мы за-

хотим, и для того, чтобы принять некий другой план, который я придумал и который будет более короток, более верен и более выполним, чем купания.

Каллимако. Что ты говоришь?

Лигурио. Говорю, что если ты будешь смел и если ты доверишься мне, я тебе покончу это дело прежде чем завтра наступит этот же час. И если бы даже он был человеком способным доискиваться, врач ты или нет,— а он не таков,— то краткость времени и сами обстоятельства не позволят ему в этом разобраться. А если бы даже и стал разбираться, то не успеет испортить наш план.

Каллимако. Ты воскрешаешь меня: это слишком большое обещание, и ты кормишь меня слишком большой надеждой. Как же ты поступишь?

Лигурио. Ты это узнаешь в свое время. Пока что мне не следует тебе об этом говорить, потому что нам не хватит времени на дело, не то что на разговоры. Ты иди домой и жди меня там, я же пойду за доктором. И если я приведу его к тебе, следи за моими словами и приноравливайся к ним.

Каллимако. Я так и сделаю, хоть боюсь, что надежда, которой ты меня наполняешь, рассеется, как дым.

КАНЦОНА

Кто, Амор, не признает
Власти твоей, те надеются тщетно,
Чтоб стало им приметно

Лучшее, чем нас небо награждает,
Не знают, как живет и умирает
Чета любви, как тянемся к обманам.
Другого любим боле
Себя, в страхе и боли
Любовь кружит и леденит сердца нам,
Как люди все и боги в мере равной
Твоей стрелы боятся своенравной!

АКТ ВТОРОЙ

Явление I

Лигурио, мессер Нича и Сиро *(отвечающий из дома)*

Лигурио. Я вам говорил, что, по-моему, сам бог послал нам этого человека, чтобы исполнить ваше желание. Он приобрел в Париже величайший опыт, и не удивляйтесь, что он не занимался своим искусством во Флоренции, ибо тому было причиной, во-первых, что он богат, во-вторых, что он с часу на час собирается вернуться в Париж.

Нича. Да, брат, в этом-то все и дело. Я бы не хотел, чтобы он меня закрутил, а потом оставил на бобах.

Лигурио. Этого не бойтесь, остерегайтесь только того, что он не согласится взяться за это лечение. Но раз он возьмется, он не такой человек, чтобы бросить вас, прежде чем доведет дело до конца.

Нича. В этом я хочу положиться на тебя, но что касается учености, я тебе скажу на-

верняка, как только поговорю с ним, действительно ли он муж науки. Меня он не проведет.

Лигурио. Именно потому, что я вас знаю, я вас и веду к нему, чтобы вы с ним поговорили, а если после разговора с ним он по своей осанке, по своей учености, по своему языку вам не покажется человеком, которому можно довериться с головой, можете говорить, что я не я.

Нича. Итак, господи благослови, идем. А где он живет?

Лигурио. На этой площади. Его дверь вот эта, прямо против вас.

Нича. Ну, в добрый час.

Лигурио. Готово.

Сиро. Кто там?

Лигурио. Каллимако дома?

Сиро. Да, дома.

Нича. Почему ты не говоришь: магистр Каллимако?

Лигурио. Он не считается с такими пустяками.

Нича. Не говори так, воздавай должное, а если это ему не по душе,— дело его.

Явление II

Каллимако, мессер Нича, Лигурио

Каллимако. Кто хочет меня видеть?

Нича. Bona dies, domine magister.

Каллимако. Et vobis bona, domine doctor[4].

Лигурио. Ну как?

Нича. Хорошо, клянусь евангелием.

Лигурио. Если вы хотите, чтобы я остался здесь с вами, говорите так, чтобы я вас понимал, а то ведь пеший конному не товарищ.

Каллимако. Чем могу служить?

Нича. Да что ж сказать вам? Ищу вот две вещи, которых другой, пожалуй, стал бы избегать: хлопот для себя и для других. У меня нет детей, и я хотел бы их иметь, и чтобы доставить себе эти хлопоты, я прихожу надоедать вам.

Каллимако. Мне никогда не будет в тягость, угождать вам и всем доблестным и достойным людям, вам подобным, и я не для чего иного столько лет трудился над наукой в Париже, как для того, чтобы быть в состоянии служить таким людям, как вы.

Нича. Премного благодарствую. Если бы и вам понадобилось мое искусство, я бы охотно вам услужил. Однако вернемся ad rem nostram[5]. Думали ли вы о том, какие купания более подходящи для того, чтобы расположить мою жену к зачатию? Я ведь знаю, что Лигурио сказал вам то, что вам было сказано.

Каллимако. Так оно и есть. Но чтобы исполнить ваше желание, необходимо знать причины бесплодия вашей супруги, ибо причин на то может быть много. Nam causae sterilitatis sunt aut in semine, aut in matrice, aut in

instrumentis seminariis, aut in virga, aut in causa extrinseca[6].

Нича. Это самый достойный человек, какого только можно сыскать.

Каллимако. Далее, бесплодие это может иметь причиной ваше бессилие. Будь это так, никакие средства не помогли бы.

Нича. Бессилен? Я? О, да вы хотите меня насмешить. Не думаю, чтобы во всей Флоренции был человек более крепкий, чем я.

Каллимако. Если это не так, будьте уверены, что мы для вас отыщем какое-нибудь средство.

Нича. А не найдется ли другого средства, кроме купания? Я бы не хотел всей этой возни, да и жена неохотно уехала бы из Флоренции.

Лигурио. Найдется, ручаюсь вам. Каллимако уж слишком осмотрителен. Разве вы мне не говорили, что вы умеете прописывать некий напиток, от которого неминуемо беременеют?

Каллимако. Да, говорил, но я веду себя сдержанно с людьми, которых я не знаю, потому что я не хотел бы, чтобы они считали меня шарлатаном.

Нича. Не сомневайтесь во мне, ибо вы поразили меня настолько, что нет такой вещи, в которую я бы не поверил или которую не сделал бы, получив ее из ваших рук.

Лигурио. Я полагаю, вам необходимо увидеть мочу.

Каллимако. Конечно — нельзя без этого.

Лигурио. Позовите Сиро, чтобы он вместе

с доктором отправился за ней в его дом и вернулся сюда, а мы подождем его здесь.

Каллимако. Сиро, иди с ним, а вы, мессер, если вам угодно, возвращайтесь сюда тотчас же, и мы придумаем что-нибудь хорошее.

Нича. Как — если мне угодно? Я вернусь сюда вмиг, ибо верю вам больше, чем венгерец своему мечу.

Явление III

Мессер Нича и Сиро

Нича. Хозяин твой — великий человек.

Сиро. Больше, чем вы думаете.

Нича. Французский король с ним наверное считается.

Сиро. И как еще!

Нича. Поэтому-то он, верно, охотно и живет во Франции.

Сиро. Ну да.

Нича. И очень хорошо делает. В нашей стране — одни скряги, здесь не ценят никаких талантов. Живи он здесь, никто бы на него не глядел. Об этом могу судить я, который чуть не надорвал себе печенки, чтоб изучить азы, и если бы мне пришлось этим жить, хорош бы я был, говорю тебе.

Сиро. А вы зарабатываете сто дукатов в год?

Нича. Куда там! И ста лир, ста гроссов не зарабатываю. В том-то и дело, что если в этой стране у кого из нашего брата нет своего состояния, на него ни одна собака не залает, и мы ни на что больше не годны, как

ходить на похороны или на свадьбы или целыми днями околачиваться на лавках проконсула[7]. Да я никого и не осуждаю, и ни в ком не нуждаюсь. Всем бы жилось так, как мне! Однако я не хотел бы, чтобы до них дошли мои слова, а не то в самом деле получу еще какой-нибудь налог или какую-нибудь еще пакость на шею, так что в пот ударит.

Сиро. Не сомневайтесь во мне.

Нича. Вот мы и дома. Подожди меня здесь, я сейчас вернусь.

Сиро. Идите.

Явление IV

Сиро *(один)*

Сиро. Если бы все законники были такие же, как этот, мы бы показали, где раки зимуют. Я не я, если этот мошенник Лигурио и этот сумасшедший, мой господин, не сыграют с ним какой-нибудь штучки и не осрамят. Да и по правде говоря, я бы этого хотел, будь я уверен, что об этом не узнают: ведь если узнают, я рискую жизнью, а господин мой — и жизнью и добром. Он уже сделался врачом. Я не знаю, что они задумали и куда метит их обман. Но вот и доктор с посудиной в руках. Кого не рассмешит это чучело?

Явление V

Мессер Нича и Сиро

Нича *(говорит, обращаясь за сцену)*. Я во всем поступил по-твоему, но в этом я хочу,

чтобы ты поступила по-моему. Если бы я предполагал, что у меня не будет детей, я бы скорей взял себе в жены крестьянку, чем... Ты здесь, Сиро? Ну, пойдем. Сколько мне стоило усилий добиться, чтобы эта дурочка, моя жена, дала мне мочу! Ведь нельзя сказать, чтобы ей не хотелось иметь детей и чтобы она не думала об этом больше моего. Но о каком бы пустяке я ее ни попросил, сразу — целая история.

Сиро. Имейте терпение. Добрыми словами можно направлять женщин куда угодно.

Нича. Какими это добрыми словами? Они мне оскомину набили. Живо беги, скажи магистру и Лигурио, что я здесь.

Сиро. А вот они и сами выходят.

Явление VI

Лигурио, Каллимако и мессер Нича

Лигурио. Доктора легко будет уговорить,— вся трудность в жене; но и на это найдется средство.

Каллимако. Моча у вас?

Нича. Она у Сиро под полою.

Каллимако. Дай ее сюда. О, эта моча показывает слабость почек.

Нича. Она мне кажется мутноватой, но ведь она ее выпустила совсем недавно.

Каллимако. Не удивляйтесь этому: nam mulieris urinae sunt semper majoris glossitiei et albedinis, et minoris pulchritudinis, quam virorum. Hujus autem, inter caetera, causa est amplitudo canalium, mixtio eorum, quae ex martice exeuni cum urina[8].

Нича. Ух ты, елки-палки! Этот человек вырастает на моих глазах: смотри, как он здорово рассуждает об этих вещах!

Каллимако. Я боюсь, что она ночью плохо укрывается, и потому моча у нее получается грубая.

Нича. Однако на ней хорошее одеяло. Но она по четыре часа простаивает на коленях, нанизывая „отче наш" на четках, прежде чем лечь в постель, и холод ей нипочем.

Каллимако. В конце концов, доктор, либо вы мне доверяете, либо нет; либо я вас научу верному средству, либо нет. Что до меня, лекарство я вам дам. Если вы мне будете доверять, вы его возьмете, и если через год в этот самый день ваша жена не будет нянчить ребенка на руках, я обязуюсь выплатить вам две тысячи дукатов.

Нича. Говорите только, ибо я готов отдать для вас все и верить вам больше, чем моему исповеднику.

Каллимако. Знайте же, что нет более верного средства, чтобы женщина забеременела, как дать ей выпить настойку мандрагоры. Это дело испытано мною не раз, и всегда с успехом, и не будь этого, королева Франции осталась бы бесплодною и бесчисленные другие принцессы этого государства.

Нича. Неужели это возможно?

Каллимако. Да, это так, как я вам говорю, и судьба к вам так благосклонна, что я привез сюда с собою все те снадобья, которые

входят в этот напиток, и вы можете получить его когда угодно.

Нича. Когда же она должна принять его?

Каллимако. Нынче вечером, после ужина, ибо луна находится в хорошем положении, и время не может быть более благоприятным.

Нича. Это не очень трудное дело; пропишите его во всяком случае, я ее заставлю принять его.

Каллимако. Только вам нужно знать, что первый мужчина, с которым она будет иметь дело после того, как примет этот напиток, умрет в течение восьми дней, и ничто на свете не сможет его спасти.

Нича. Чорт возьми! Не хочу я этого пойла! Не проведешь! Здорово вы меня обделали!

Каллимако. Не беспокойтесь, и на это есть средство.

Нича. Какое?

Каллимако. Тотчас же положить к ней другого, который, проведя с ней ночь, впитал бы в себя всю отраву мандрагоры. А потом вы будете спать с ней безопасно.

Нича. Не хочу этого.

Каллимако. Почему?

Нича. Потому что я не хочу делать из своей жены девки, а из себя рогача.

Каллимако. Что вы говорите, доктор! Неужели окажется, что вы не так умны, как я думал? Неужели вы задумаетесь сделать то, что сделал король Франции и столько вельмож, сколько их там есть?

Нича. Кого я найду, кто бы решился на

это безумие? Если я ему это скажу, он не захочет, если не скажу, стану предателем, а это дело уголовное. Не хочу я ради вас попасть в беду.

Каллимако. Если вас беспокоит только это, предоставьте позаботиться мне.

Нича. Как же это устроить?

Каллимако. Я вам скажу. Я вам передам напиток сегодня вечером; после ужина вы ей дадите испить его и тотчас положите ее в постель, часов в десять[9]. Затем мы все перерядимся, вы, Лигурио, Сиро и я, и пойдем искать по Новому Рынку, по Старому Рынку[10] да и по этим углам, и первому праздношатающемуся молодчику, который нам попадется, мы заткнем рот и под звуки палочных ударов отведем его в дом, в вашу спальню, впотьмах, там уложим его в постель, скажем ему, что нужно делать, и никаких затруднений не будет. А утром вы выгоните его до рассвета, прикажете омыть вашу жену и будете жить с ней в собственное удовольствие и без всякой опасности.

Нича. Я согласен, раз вы говорите, что король и принцы и вельможи прибегали к этому способу, но главное, чтобы об этом никто не знал, а то дойдет до уголовного суда.

Каллимако. Кто же разболтает?

Нича. И еще одно затруднение остается, очень важное.

Каллимако. Какое?

Нича. Добиться, чтобы жена согласилась, а на это, я думаю, нет никакой надежды.

Каллимако. Вы правы, но я не хотел бы быть мужем, если бы я не уговорил ее сделать то, что я хочу.

Лигурио. Я придумал средство.

Нича. А именно?

Лигурио. Через духовника.

Каллимако. Кто уговорит духовника?

Лигурио. Ты, я, деньги, наша подлость, их подлость.

Нича. Сомневаюсь, чтобы она, даже если я ей прикажу, согласилась пойти говорить об этом с духовником.

Лигурио. И на это есть средство.

Нича. Какое?

Лигурио. Сделать так, чтобы ее свела к нему мать.

Нича. Она ей доверяет.

Лигурио. А я знаю, что мать разделяет наше мнение. Однако не будем терять времени: уже вечереет. Ты, Каллимако, пойди прогуляйся и сделай так, чтобы мы в восемь часов застали тебя дома с готовым напитком. Доктор и я, мы отправимся к матери, чтобы ее уговорить (я ведь с ней знаком); потом пойдем к монаху и сообщим вам то, что мы сделали.

Каллимако. Ах, не оставляйте меня одного!

Лигурио. Ты, по-моему, пьян.

Каллимако. Куда же мне прикажете теперь итти?

Лигурио. Туда, сюда, по этой улице, по той: Флоренция велика.

Каллимако. Я чуть жив.

КАНЦОНА

Видели все по этому примеру:
Блажен дурак, всему дает он веру.
Честь ему безразлична,
И страха он не знает,
От которых обычно
Неприятность бывает.
Этот доктор мечтает
Так сильно о ребятах,
Что поверил в ослов крылатых.
Он все хорошее забыл на свете,
Осталась лишь мечта, что будут дети.

АКТ ТРЕТИЙ

Явление I

Сострата, мессер Нича и Лигурио

Сострата. Я всегда слыхала, что разумному человеку подобает выбирать из дурных исходов лучший. Если у вас нет иного средства, чтобы иметь детей, приходится на него решиться, и раз это не отягчает совести, решайтесь на него.

Лигурио. Вы отправитесь к вашей дочери, а мессер и я пойдем к фра Тимотео, ее духовнику, и расскажем ему, в чем дело, так чтобы вам уж ничего больше не пришлось говорить. Увидите, что он вам скажет.

Сострата. Так и сделаем. Вы идите туда, а я пойду к Лукреции и поведу ее к монаху, чтобы она с ним поговорила во что бы то ни стало.

Явление II

Мессер Нича и Лигурио

Нича. Ты, быть может, удивляешься, Лигурио, что приходится разводить такую канитель, чтобы склонить мою жену, но если бы ты знал все, ты бы не удивлялся.

Лигурио. Я думаю, это от того, что все женщины подозрительны.

Нича. Дело не в том. Она была самым кротким существом на свете, самым покладистым. Но после того как одна соседка ей сказала, что если она даст обет простоять сорок ранних обедень у Сервитов[11], то она забеременеет, она обет дала и ходила туда раз двадцать. Так знаете ли, один из этих жирных монахов начал ее обхаживать, так что она больше не пожелала туда возвращаться. Все-таки нехорошо, что те, которые должны были бы подавать добрый пример, таковы. Не правда ли?

Лигурио. Еще бы, чорт возьми! Что правда, то правда!

Нича. С того самого времени у ней ушки на макушке. Хотя она ничего не говорит, но чинит молча тысячу затруднений.

Лигурио. Теперь я больше не удивляюсь. А обет тот как был выполнен?

Нича. Он был снят.

Лигурио. Отлично. Кстати, если у вас есть при себе, дайте мне двадцать пять дукатов, так как в подобных случаях надо раскошеливаться, поскорее заручиться дружбой монаха и подать ему надежду на большее.

Нича. Бери. Мне не жалко, я выгадаю на другом.

Лигурио. Эти монахи хитры и пронырливы, и это понятно, раз они знают и наши грехи и свои собственные, и кто не имел с ними дела, может попасть впросак и не сумеет добиться те, понимает толк в своих книгах, но в житейхотел, чтобы в разговоре испортили все дело: ведь ваш брат, весь день сидящий в кабинете, понимает толк в своих книгах, но в житейских делах ничего не смыслит. (Это такой дурак, что я боюсь, как бы он не испортил вседело.)

Нича. Скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал?

Лигурио. Чтобы вы предоставили говорить мне и не говорили бы, пока я не подам вам знак.

Нича. Я согласен. Какой же ты сделаешь знак?

Лигурио. Закрою один глаз и прикушу губу. Ах нет, мы сделаем иначе. Сколько прошло времени, как вы не говорили с монахом?

Нича. Больше десяти лет.

Лигурио. Отлично. Я ему скажу, что вы оглохли, а вы не будете отвечать и не скажете ничего, пока мы не заговорим громко.

Нича. Будет сделано.

Лигурио. Не волнуйтесь, если я скажу что-нибудь, что вам покажется не соответствующим нашим намерениям, ибо все повернется в пашу пользу.

Нича. В добрый час.

Явление III

Фра Тимотео и женщина

Фра Тимотео. Если вы хотите исповедаться, я сделаю то, что вы желаете.

Женщина. Не сегодня. Меня ждут, и с меня довольно было немного облегчить душу, хотя бы так — на ходу. Отслужили ли вы обедни пресвятой богородице, о которых я вас просила?

Фра Тимотео. Да, мадонна.

Женщина. Возьмите этот флорин и каждый понедельник в течение трех месяцев служите обедню за упокой души моего мужа. И хоть он был грубый человек, а все-таки плоть дает знать о себе. Мне бывает не по себе, когда вспоминаю о нем. А как вы думаете — он в чистилище?

Фра Тимотео. Без сомнения.

Женщина. Уж, право, не знаю. Вам ведь известно, что он иногда со мною делал. Ах, сколько раз я вам на него жаловалась. Я сторонилась его, сколько могла, но он был так назойлив. Ах ты господи боже мой!..

Фра Тимотео. Не сомневайтесь, милосердие божие велико. Если у человека нет недостатка в доброй воле, всегда будет время покаяться.

Женщина. Думаете ли вы, что турки в этом году придут в Италию?[12]

Фра Тимотео. Придут, если вы не будете молиться.

Женщина. Ой, страшно! Да сохранит нас господь от этой чертовщины! Я до смерти

боюсь, как бы меня на кол не посадили. Но я вижу, там в церкви, женщину, у которой моя пряжа. Пойду к ней. Будьте здоровы.

Фра Тимотео. Идите с миром.

Явление IV

Фра Тимотео, Лигурио и мессер Нича

Фра Тимотео. Самые сердобольные существа — это женщины, но и самые докучливые. Кто их от себя гонит, избегает и докуки и пользы, кто с ними водится, имеет сразу и пользу и докуку. Да и то правда, что нет меду без мух. Что поделываете, добрые люди? Никак это мессер Нича?

Лигурио. Говорите громко, потому что он настолько оглох, что больше ничего не слышит.

Фра Тимотео. Добро пожаловать, мессере!

Лигурио. Громче.

Фра Тимотео. Добро пожаловать!

Нича. И встречаться в добрый час, отец.

Фра Тимотео. Что поделываете?

Нича. Помаленьку.

Лигурио. Обращайтесь ко мне, отец, потому что, если вы хотите, чтобы он вас понял, вам придется поднять на ноги всю площадь.

Фра Тимотео. Что вы от меня хотите?

Лигурио. Вот этот мессере Нича и другой почтенный человек, о котором вы еще услышите, собираются раздать на бедных несколько сот дукатов.

Нича. Чорт тебя дери!

Лигурио. Молчите, чтоб вас... Их будет не-

много. Не удивляйтесь, отец, тому, что он говорит, ведь он не слышит, а ему иногда кажется, что он слышит, и тогда он говорит невпопад.

Фра Тимотео. Продолжай, и пускай он говорит, что хочет.

Лигурио. Часть этих денег я имею при себе, и они распорядились, чтобы распределяли их вы.

Фра Тимотео. С превеликой охотой.

Лигурио. Однако, прежде чем раздать их бедным, необходимо, чтобы вы оказали нам помощь в одном странном случае, приключившемся с мессером, и только вы одни можете помочь, где дело идет о чести всего его дома.

Фра Тимотео. В чем дело?

Лигурио. Не знаю, был ли вам знаком Камилло Кальфуччи, племянник этого мессера?

Фра Тимотео. Да, я его знаю.

Лигурио. Он уехал год назад во Францию по своим делам и, не имея жены (она умерла), оставил свою взрослую дочь на попечение в одном монастыре, имя которого вам пока что знать не надлежит.

Фра Тимотео. Что же из этого вышло?

Лигурио. Вышло то, что либо по оплошности монахинь, либо по ветренности девицы она оказалась беременной на пятом месяце, так что если не принять благоразумных мер, доктор, монахини, девица, Камилло, дом Кальфуччи — обесчещены; а доктор так близко принимает к сердцу этот позор, что дал обет (если только это не разгласится) пожертвовать триста дукатов христа-ради.

Нича. Что за чушь!

Лигурио. Тише. И пожертвует он их вашими руками, и вы один и настоятельница можете нам помочь.

Фра Тимотео. А как?

Лигурио. Убедить настоятельницу дать девице напиток, чтобы она выкинула.

Фра Тимотео. Об этом стоит подумать.

Лигурио. Посмотрите, сколько проистекает из этого добра, если это сделать. Вы сохраняете честь монастыря, девицы, родителей, вы возвращаете отцу дочь, вы ублажаете этого мессера и столько его родственников, вы раздаете столько милостыни, сколько вы можете раздать на эти триста дукатов, а с другой стороны, вы не вредите никому, кроме как куску новорожденного бесчувственного мяса, которое может погибнуть тысячами способов. И, по-моему, хорошо то, что приносит добро наибольшему числу людей и чем наибольшее число людей довольно.

Фра Тимотео. Ну, во имя божие, будь по-вашему! Ради господа и милосердия, пусть будет все сделано. Назовите мне монастырь, дайте мне напиток, а если можно, и деньги, чтобы я мог начать какое-нибудь доброе дело.

Лигурио. Теперь вы мне кажетесь тем монахом, за которого я вас почитал. Возьмите эту часть денег. Монастырь зовется... но погодите, там в церкви женщина, которая мне делает знаки,— я сейчас вернусь. Не покидайте мессера Нича. Я должен ей сказать два слова.

Явление V

Фра Тимотео и мессер Нича

Фра Тимотео. Эта девица на каком месяце?

Нича. У меня ум за разум заходит.

Фра Тимотео. Я говорю, на каком месяце эта девица?

Нича. Чтобы ему пусто было!

Фра Тимотео. Почему?

Нича. Потому.

Фра Тимотео. Похоже, что я попал в переделку. Связался я с сумасшедшим да с глухим. Один удирает, другой не слышит. Если это не медные деньги, я распоряжусь ими лучше, чем они. Вот и Лигурио возвращается.

Явление VI

Лигурио, фра Тимотео и мессер Нича

Лигурио. Успокойтесь, мессере. О, у меня большая новость, отец!

Фра Тимотео. Какая?

Лигурио. Женщина, с которой я говорил, сообщила мне, что та девушка выкинула сама.

Фра Тимотео. Прекрасно. Эта милостыня пойдет мне впрок.

Лигурио. Что вы говорите?

Фра Тимотео. Говорю, что вы тем более должны будете сделать это пожертвование.

Лигурио. Пожертвование будет сделано, когда вы захотите, но необходимо, чтобы вы оказали другую услугу этому доктору.

Фра Тимотео. Какую?

Лигурио. Услугу менее трудную, менее скользкую, более приятную нам, более полезную вам.

Фра Тимотео. Какова же эта услуга? Я уже договорился с вами и, сдается мне, так тесно сдружился, что нет вещи, которой бы я для вас не сделал.

Лигурио. Я вам это скажу в церкви с глазу на глаз, а доктору придется подождать нас здесь,— мы скоро вернемся.

Нича. Как сказала жаба бороне [13].

Фра Тимотео. Идем.

Явление VII

Мессер Нича *(один)*

Нича. День это или ночь? На-яву я или во сне? Или я пьян? А ведь я сегодня еще не пил ни глотка, так я побежал за этой чепухой. Договариваемся сказать монаху одно, а он говорит другое, а потом требует, чтобы я прикидывался глухим. Я должен бы законопатить себе уши, как Данезе [14], чтобы только не слышать глупостей, которые он говорил, бог его знает с какой целью. У меня взяли двадцать пять дукатов, а о деле моем и речи не заходило. А теперь поставили меня здесь как дурака. Вот они возвращаются. Беда им будет, если они не переговорили о моем деле.

Явление VIII

Фра Тимотео, Лигурио и мессер Нича

Фра Тимотео. Пришлите ко мне женщину — я знаю, что мне делать, и если слово мое что-нибудь да значит, мы сведем кого нужно сегодня же вечером.

Лигурио. Мессер Нича, фра Тимотео готов на все; надо позаботиться, чтобы женщины пришли.

Нича. Ты обновляешь меня всего с ног до головы. Мальчик будет?

Лигурио. Мальчик.

Нича. Я плачу от умиления.

Фра Тимотео. Идите в церковь, я подожду женщин здесь. Стойте в сторонке, чтобы они вас не видели. А когда они уйдут, я сообщу вам, что они сказали.

Явление IX

Фра Тимотео *(один)*

Фра Тимотео. Не знаю, кто кого надул. Этот мошенник Лигурио подъехал ко мне с первой небылицей, чтобы меня испытать. Если бы я не согласился, он не сказал бы мне больше ничего, чтобы зря не раскрывать их замыслы. А до первой вдали им никакого дела не было. Правда, я на этом попался, однако — это пойдет мне в пользу. Мессер Нича и Каллимако богаты; и с каждого можно сорвать достаточно под разными предлогами. Это дело должно оставаться в тайне, тем более, что

им столько же нужно об этом болтать, сколько и мне. Будь что будет, я не раскаиваюсь. Правда, я боюсь, как бы не было затруднения, потому что мадонна Лукреция благоразумна и добра. Но я поймаю ее на ее доброте, а у женщин у всех мало мозга, и достаточно, чтобы она умела связать два слова, как о ней идет молва: ведь в царстве слепых кривой — уже король. А вот и она с матерью. Та — сущая дрянь и будет мне великой помощью, чтобы уговорить ее.

Явление X

Состратa и Лукреция

Состратa. Я знаю, что ты уверена, дочь моя, что я ценю твою честь больше, чем кто-либо на свете, и что я не посоветовала бы тебе ничего нехорошего. Я говорила тебе и повторяю: если фра Тимотео скажет, что это не обременит твоей совести, делай это, не думая ни о чем.

Лукреция. Я всегда боялась, как бы желание мессера Нича иметь детей не заставило нас сделать какую-нибудь ошибку, и потому всякий раз, как он мне о чем-нибудь говорил, это вызывало во мне сомнения и колебания, в особенности после того как со мной приключилось то, что вы знаете, при посещении монастыря Сервитов. Но из всего, что было испробовано, это мне кажется самым странным. Подвергать мое тело такому осквернению и быть причиной, что мужчина умрет за то, что меня осквернит! Ведь даже если бы я осталась одна

на целом свете и от меня зависело возрождение рода человеческого, я не думаю, чтобы мне было позволено решиться на такое дело.

Сострата. Я не сумею на все это тебе ответить. Ты поговоришь с фрате, увидишь, что он тебе скажет, и сделаешь то, что тебе посоветует он, мы и всякий, кто хочет тебе добра.

Лукреция. Я вся в огне от этой муки.

Явление XI

Фра Тимотео, Лукреция и Сострата

Фра Тимотео. Добро пожаловать. Я знаю, что вы хотите узнать от меня, ибо мессер Нича уже со мной говорил. Поистине я больше двух часов провел над книгами, дабы изучить этот случай, и после долгих изысканий я нашел многое, что и в частности и в общем говорит в нашу пользу.

Лукреция. Вы говорите всерьез или шутите?

Фра Тимотео. Ах, мадонна Лукреция, разве этим можно шутить? Неужто вы меня узнали только сегодня?

Лукреция. Нет, отец, но это мне кажется самым странным, что когда-либо было слыхано.

Фра Тимотео. Верю вам, мадонна, но я не хочу, чтобы вы это повторяли. Много существует вещей, которые издали кажутся ужасными, невыносимыми, странными, а когда подойдешь к ним поближе, они оказываются человечными, сносными, привычными. Потому и го-

ворится, что у страха глаза велики. Таково и наше дело.

Лукреция. Дай-то бог.

Фра Тимотео. Я хочу вернуться к тому, что я говорил вначале. Что касается вашей совести, вы должны принять общее положение, что там, где есть верное благо и неверное зло, никогда не следует отказываться от блага из боязни зла. Здесь есть верное благо, а именно: вы забеременеете, приобретете лишнюю душу господу богу. Неверное зло — это то, что человек, который после напитка проведет с вами ночь, умрет. Но ведь бывают и такие, которые от этого не умирают. Однако, поскольку дело это сомнительное, все же лучше, чтобы мессер Нича не подвергался этой опасности. Что же касается самого действия, будто оно греховно,— это басня, ибо грешит воля, а не плоть. Грех — не угодить мужу,— вы ему угождаете; грех — получать от этого удовольствие,— вы получаете неудовольствие. К тому же цель — вот что надо иметь в виду при всех обстоятельствах. Ваша цель — заполнить седалище в раю и ублаготворить вашего супруга. В библии сказано, что дочери Лота, думая, что они остались одни на свете, совокупились с отцом, а так как намерение у них было благое, они не согрешили.

Лукреция. В чем же вы меня убеждаете?

Сострата. Дай себя убедить, дочь моя. Как ты не понимаешь, что у женщины, у которой нет детей, нет и дома. Умирает муж,— она остается как животное, всеми покинутое.

Фра Тимотео. Клянусь своим саном, ма-

донна, что повиноваться в данном случае вашему мужу не более предосудительно, чем съесть мяса в среду, а это грех, который смывается святой водою.

Лукреция. К чему же вы меня склоняете, отец?

Фра Тимотео. Склоняю вас к тому, за что вы всегда будете иметь причину молить за меня бога. И будущий год удовлетворит вас больше, чем этот.

Сострата. Она сделает все, что захотите. Я уложу ее в постель сама. Чего ты боишься, дурочка? С полсотни женщин в этом городе благодарили бы за это небо с воздетыми руками.

Лукреция. Я согласна, но думаю, что никогда не доживу до завтрашнего утра.

Фра Тимотео. Не сомневайся, дочь моя, я буду молить господа за тебя. Я буду читать молитву ангела Рафаила, дабы он сопутствовал тебе. Ступайте в добрый час и приготовьтесь к этому таинству, ибо уже вечереет.

Сострата. Оставайтесь с миром, отец.

Лукреция. Помоги мне, господи, и, пречистая дева, сохрани меня от зла.

Явление XII

Фра Тимотео, Лигурио и мессер Нича

Фра Тимотео. Эй, Лигурио, выходите сюда!

Лигурио. Как дела?

Фра Тимотео. Прекрасно. Они пошли домой, готовые исполнить все, и не будет никаких затруднений, потому что мать пойдет с ней и хочет уложить ее в постель сама.

Нича. Неужели правда?

Фра Тимотео. Однако вы излечились от глухоты.

Лигурио. Святой Климент смилостивился над ним.

Фра Тимотео. Надо поставить ему образ. Вы погуляете по этому случаю, а мне что-нибудь от вас перепадет.

Нича. Мы удаляемся от дела. Не будет моя жена противиться тому, что я желаю?

Фра Тимотео. Да нет же, говорю вам.

Нича. Я самый довольный человек на свете.

Фра Тимотео. Верю. Вы будете нянчить сынишку, а кому этого не дано, тем хуже для него.

Лигурио. Возвращайтесь, отец, к вашим молитвам, и если еще что понадобится, мы к вам зайдем. Вы, мессере, идите к ней, чтобы поддержать ее в ее решении, а я отправлюсь к магистру Каллимако, чтобы он послал вам напиток. Хорошо бы нам увидеться в шесть часов, чтобы договориться о том, что нам делать в десять.

Нича. Ты прав. Прощайте.

Фра Тимотео. Будьте здоровы.

КАНЦОНА

Коль конец благодатен,
Как сладко нам любовное коварство!
Сам горький вкус приятен,
Исчезают все прочие мытарства.
О дивное лекарство!
Кажешь правый ты путь заблудшим парам
Ты могучей силой
Делаешь и любовь сугубо милой.
Святое, противостоишь недаром
Каменьям, ядам, чарам.

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Явление 1

Каллимако *(один)*

Каллимако. Хотел бы я все-таки узнать, что они сделали. Неужели я не увижу Лигурио? Сейчас не то что четыре часа, а все пять. Как я мучился и мучаюсь! И вправду, судьба и природа всегда уравновешивают счет: они никогда не сделают тебе добра, без того чтобы тут же не возникло зло. Насколько возросла моя надежда, настолько возрос и страх. О, я несчастный! Неужели я смогу жить в таких страданиях, мучимый страхами и надеждами? Я — корабль, гонимый двумя встречными ветрами, которому тем страшнее, чем он ближе к гавани. Глупость мессера Нича питает мою надежду. Благоразумие и суровость Лукреции повергают меня в страх. Горе мне! Я нигде не нахожу покоя! Иногда я пытаюсь побороть

себя. Браню себя за свое безумие и говорю себе: что ты делаешь? Ты сошел с ума. Если ты добьешься ее, что тогда? Ты познаешь свое заблуждение, ты пожалеешь о своих трудах и о помыслах, которые ты питал. Разве ты не знаешь, как мало находит человек блага в том, к чему он стремится, по сравнению с тем, что он предполагал найти? С другой стороны, худшее, что может с тобой случиться,— умереть и попасть в ад. Но столько умерло других, и в аду столько хороших людей. Разве тебе стыдно туда попасть? Взгляни своей судьбе в лицо, беги от зла, а если не можешь, сноси его, как мужчина. Не падай ниц, не унижайся, как женщина. Так я ободряю себя, но недолго остаюсь на высоте. Ибо со всех сторон меня обуревает такое желание хоть раз обладать ею, что я чувствую, как я весь, с головы до ног, становлюсь сам не свой, ноги трясутся, все нутро переворачивается, сердце рвется из груди, руки свисают как плети, язык онемел, глаза мутятся, голова кружится. Если бы я только нашел Лигурио, мне было бы с кем отвести душу. Да вот и он спешит сюда: его весть либо даст мне еще прожить немного, либо убьет меня совсем.

Явление II

Лигурио и Каллимако

Лигурио. Я еще никогда так не желал встретить Каллимако и никогда мне не было так трудно отыскать его. Если бы я нес ему печальные вести, я бы тотчас же нашел его.

Я был в доме, на площади, на рынке, у дворца Спини, у лоджии Торнаквинчи[15] и не нашел его. У этих влюбленных под ногами ртуть,— они не могут усидеть на месте.

Каллимако. Лигурио идет и глядит в эту сторону. Он, верно, ищет меня. Что же я стою и не окликну его? У него как будто веселый вид. Эй, Лигурио, Лигурио!

Лигурио. О Каллимако, где же ты был?

Каллимако. Какие новости?

Лигурио. Хорошие.

Каллимако. Правда?

Лигурио. Самые лучшие.

Каллимако. Лукреция согласна?

Лигурио. Да.

Каллимако. Монах свое дело сделал?

Лигурио. Сделал.

Каллимако. О благословенный фрате! Я всегда буду молить господа за него.

Лигурио. Хорош ты! Как будто бог воздаст за зло, как за добро! Монах потребует не молитв, а совсем другого.

Каллимако. Что же он потребует?

Лигурио. Денег.

Каллимако. Дадим ему. Сколько ты ему обещал?

Лигурио. Триста дукатов.

Каллимако. Хорошо сделал.

Лигурио. Доктор уже выложил двадцать пять.

Каллимако. Как?

Лигурио. Довольно с тебя, что он их выложил.

Каллимако. А мать Лукреции что сделала?

Лигурио. Почти все. Как только она узнала, что дочка ее должна провести приятную ночь и без греха, она не переставая просила, приказывала, ободряла Лукрецию, пока не отвела ее к монаху, а затем уже сделала так, что та согласилась.

Каллимако. О боже! За какие мои заслуги даруется мне столько счастия? Я готов умереть от радости.

Лигурио. Что за народ! То от радости, то от горя — так или иначе он хочет умереть. Напиток ты приготовил?

Каллимако. Да, приготовил.

Лигурио. Что ты ей пошлешь?

Каллимако. Стакан ипокраса[16], который отлично помогает желудку и веселит голову. О, горе мне! Я пропал.

Лигурио. Что такое, в чем дело?

Каллимако. Здесь уж ничто не поможет!

Лигурио. Что за чорт?

Каллимако. Все погибло. Я попал в тупик.

Лигурио. Почему? Почему ты не говоришь? Отними руки от лица.

Каллимако. Разве ты не знаешь, что я сказал мессеру Нича, что ты, он, Сиро и я схватим человека, чтобы положить его рядом с женой?

Лигурио. Что же из этого?

Каллимако. Как что из этого? Если я буду с вами, я не смогу быть тем, кого схва-

тят, если я не буду с вами, они догадаются об обмане.

Лигурио. Ты прав. Но разве нет средства помочь этому?

Каллимако. Я не вижу.

Лигурио. Глупости! Должно быть.

Каллимако. Какое?

Лигурио. Дай подумать.

Каллимако. Нечего сказать — убедил. Хорош я буду, если ты только сейчас должен придумывать.

Лигурио. Нашел.

Каллимако. Что?

Лигурио. Я сделаю так, что монах, который до сих пор нам помогал, сделает и остальное.

Каллимако. Каким образом?

Лигурио. Мы все должны перерядиться; я заставлю перерядиться и монаха, он изменит голос, лицо, одежду, и я скажу доктору, что это ты, и он поверит.

Каллимако. Мне это нравится. Но что же я буду делать?

Лигурио. Ты наденешь дырявый плащ и с лютней в руках выйдешь там из-за угла его дома, напевая песенку.

Каллимако. С открытым лицом?

Лигурио. Да. Если бы на тебе была маска, у него зародилось бы сомнение.

Каллимако. Тогда он узнает меня.

Лигурио. Не узнает. Потому что я хочу, чтобы ты скривил на сторону лицо, раскрыл, выпятил или оскалил рот, зажмурил один глаз. Попробуй-ка.

Каллимако. Так я делаю?

Лигурио. Нет.

Каллимако. Так?

Лигурио. Мало.

Каллимако. Вот эдак?

Лигурио. Так, так, запомни это. У меня есть дома приставной нос. Ты его нацепишь.

Каллимако. Хорошо. Что же будет дальше?

Лигурио. Когда ты покажешься из-за угла, мы будем стоять здесь, отнимем у тебя лютню, схватим тебя, скрутим, поведем в дом, положим в постель. Остальное тебе придется делать самому.

Каллимако. Только бы попасть туда.

Лигурио. Туда-то ты попадешь. Но добиться того, чтобы ты мог вернуться, зависит от тебя, а не от нас.

Каллимако. Каким образом?

Лигурио. А так, что ты должен в эту ночь расположить ее к себе и, прежде чем уйти, открыться ей. Признайся ей в обмане, выкажи любовь, которую ты к ней питаешь, скажи, как она тебе дорога и как она без всякого сраму может быть твоей подругой, а подвергаясь величайшему сраму — твоим врагом. Немыслимо, чтобы она с тобой не спелась и захотела, чтобы эта ночь осталась единственной.

Каллимако. Ты думаешь?

Лигурио. Убежден. Но не будем больше терять времени: уже восемь часов. Позови Сиро, пошли напиток мессеру Нича и жди меня дома. Я пойду за монахом; заставим его переодеться

и приведем сюда, разыщем доктора и сделаем все остальное.

Каллимако. Ты хорошо придумал. Ступай.

Явление III

Каллимако и Сиро

Каллимако. Эй, Сиро!

Сиро. Мессере.

Каллимако. Поди сюда!

Сиро. Вот он я.

Каллимако. Возьми серебряный стакан в шкафу у меня в спальне и принеси его мне, покрыв куском шелка, да смотри не пролей дорогой.

Сиро. Будет сделано.

Каллимако. Этот человек пробыл со мной десять лет и всегда служил мне верой и правдой,— я думаю, что и в этом случае я могу на него положиться, и хотя я ему и не сообщил об этом обмане, он о нем догадывается, так как он достаточно пронырлив, и я вижу, что он готов нам содействовать.

Сиро. Вот он.

Каллимако. Хорошо. Живо ступай в дом мессера Пича и скажи ему, что это лекарство, которое мадонна Лукреция должна принять сейчас же после ужина, и что чем раньше она поужинает, тем лучше, а так как мы будем на углу в условленный час, пусть он туда же придет. Иди скорей.

Сиро. Иду.

Каллимако. Послушай. Если он захочет,

чтобы ты его подождал, жди его и приходи сюда с ним; если не захочет, вернись сюда ко мне, после того как отдашь ему стакан и исполнишь поручение.

Сиро. Слушаю, мессере.

Явление IV

Каллимако *(один)*

Каллимако. Я жду, чтобы Лигурио вернулся с монахом, и кто говорит, что ожидание дело нелегкое, говорит правду. Я каждый час теряю десять фунтов в весе, думая, где я нахожусь сейчас и где могу оказаться через два часа, трепеща, как бы не произошло чего-нибудь, что нарушит мои планы. Если это случится, это будет последняя ночь моей жизни. Я брошусь в Арно, повешусь, выброшусь из этих окон, зарежусь на ее пороге. Что-нибудь да сделаю, чтобы покончить с собой. Но я вижу Лигурио. Так и есть, это он. С ним кто-то. Как будто горбатый, хромой. Это, наверное, переодетый фрате. Ох, эти монахи! Узнай одного — узнаешь всех. Кто же еще один, что присоединился к ним? Как будто Сиро, который уже выполнил поручение? Он самый. Подожду их здесь, чтобы с ними договориться.

Явление V

Сиро, Лигурио, Фра Тимотео *(переодетый)* и Каллимако

Сиро. Кто это с тобой, Лигурио?

Лигурио. Хороший человек.

Сиро. Хромой он или притворяется?

Лигурио. Не твое дело.

Сиро. Рожа у него самая разбойничья!

Лигурио. Молчи пожалуйста! Как ты нам надоел! Где Каллимако?

Каллимако. Я здесь. Добро пожаловать.

Лигурио. Каллимако, предупреди ты этого болвана Сиро. Он уже наговорил тысячу глупостей.

Каллимако. Послушай, Сиро, ты нынче вечером должен делать все то, что тебе скажет Лигурио, и иметь в виду, что когда он приказывает, это я сам, и что бы ты ни видел, ни приметил или ни слышал, держи в величайшей тайне, если ты дорожишь моим добром, честью и жизнью и твоим благополучием.

Сиро. Будет сделано.

Каллимако. Ты отдал стакан доктору?

Сиро. Да, мессере.

Каллимако. Что же он сказал?

Сиро. Что он все исполнит во-время.

Фра Тимотео. Это Каллимако?

Каллимако. К вашим услугам. Наши обязательства должны быть выполнены. Вы можете располагать мною и всем моим имуществом, как самим собою.

Фра Тимотео. Слышал и верю этому и готов сделать для тебя то, чего бы не сделал ни для кого на свете.

Каллимако. Ваши труды не пропадут даром.

Фра Тимотео. С меня достаточно твоего расположения.

Лигурио. Оставим церемонии. Мы с Сиро пойдем перерядимся. Ты, Каллимако, иди с нами, потом пойдешь по своим делам. Фрате дождется нас здесь; мы тотчас же вернемся и отправимся за мессером Нича.

Каллимако. Хорошо, идем.

Фра Тимотео. Я вас жду.

Явление VI

Фра Тимотео *(переодетый)*

Фра Тимотео. Правы те, кто говорит, что дурное общество доводит до виселицы. И нередко человек кончает плохо, как оттого, что слишком податлив и слишком добр, так и оттого, что слишком порочен. Бог ведает, что я никого не хотел обижать, сидел себе в своей келье, служил свои службы, пекся о своей пастве: попался мне этот дьявол Лигурио, я из-за него сначала палец замарал в грехе, а там запустил всю руку и увяз по уши, и не знаю, куда еще влопаюсь. Впрочем, меня утешает то, что когда какое-нибудь дело касается многих, многим и приходится о нем заботиться. Но вот и Лигурио возвращается со слугой.

Явление VII

Фра Тимотео, Лигурио и Сиро *(переодетый)*

Фра Тимотео. В добрый час вам вернуться.

Лигурио. Хороши мы?

Фра Тимотео. Как нельзя лучше.

Лигурио. Не хватает доктора. Пойдем к его дому: уже больше девяти часов. Идемте.

Сиро. Кто это отворяет его дверь? Он или слуга?

Лигурио. Нет, это он сам. Ха-ха-ха!

Сиро. Чего ты смеешься?

Лигурио. Как не смеяться? На нем камзольчик, который не закрывает ему зада. Что за чертовщина у него на голове? Что-то вроде скуфьи, как у каноников. А под полой шпаженка. Ха-ха! Он бормочет что-то. Отойдем в сторону, и мы услышим еще про какое-нибудь несчастье с его женой.

Явление VIII

Мессер Нича *(переодетый)*

Нича. И чего только не выкидывала эта моя дура! Она услала служанку к матери, а слугу на хутор. За это я ее хвалю, но не похвалю за то, что, прежде чем соблаговолить лечь в постель, она так долго кривлялась: „Я не хочу... Как же мне быть?.. Что вы меня заставляете делать?.. Ах, мама, мама!..“ Если бы мать не задала ей перцу, она так бы и не залезла в постель. Чтоб ее лихорадка растрясла! Приятно видеть неподатливых женщин, но не настолько. Ведь она нам совсем задурила голову, куриные ее мозги. Если бы кто сказал: „повесить самую умную женщину во Флоренции“, она бы сказала: „Что я тебе сделала?..“ Я знаю, что Пасквина войдет в Ареццо, и прежде чем я выйду из игры, я смогу сказать,

как мона Гинга[17]: видел своими глазами. Однако я хорош! Кто мог бы узнать меня? Я кажусь выше ростом, моложе, стройнее, и не нашлось бы женщины, которая потребовала бы у меня денег за то, чтобы лечь со мною в постель. Но где мне найти остальных?

Явление IX

Лигурио, мессер Нича, фра Тимотео и Сиро

Лигурио. Добрый вечер, мессере.

Нича. Ай-ай-ай.

Лигурио. Не бойтесь, это мы.

Нича. О, да вы все здесь! Если бы я вас сразу не узнал, я бы прямо так и пронзил вас этим клином. Это ты, Лигурио, и ты, Сиро? А тот — магистр? Ха!

Лигурио. Да, мессере.

Нича. Ишь ты. Здорово он вырядился, не узнаешь. Подойди-ка ты сюда.

Лигурио. Я заставил его положить два ореха в рот, чтобы его не узнали по голосу.

Нича. Ты болван.

Лигурио. Почему?

Нича. Что же ты мне раньше не сказал? Я бы себе тоже положил в рот два ореха. Ты знаешь, как важно не быть узнанным по голосу.

Лигурио. Нате, положите себе это в рот.

Нича. Что это такое?

Лигурио. Шарик воска.

Ничa. Дай-ка. (*Кашляет и плюется.*) Тьфу! Чтоб ты высох, негодяй ты эдакий!

Лигурио. Простите, я вам дал другой, я не заметил.

Ничa (*кашляет, плюется*). Из че-че-че-го он сделан?

Лигурио. Из алоэ[18].

Ничa. Пропади ты! Тьфу, тьфу! Магистр, вы ничего не говорите.

Фра Тимотео. Лигурио меня рассердил.

Ничa. О, вы хорошо меняете голос.

Лигурио. Не будем больше терять здесь времени. Я буду полководцем и выстрою войско перед сражением. Правым флангом будет командовать Каллимако, левым — я, между двумя флангами здесь расположится доктор, Сиро составит прикрытие, чтобы оказать поддержку той части, которая дрогнет. Пароль будет — святой рогач.

Ничa. Кто это святой рогач?

Лигурио. Это самый чтимый святой, какой только есть во Франции. В поход! Устроим засаду на этом углу. Стойте, слушайте, я слышу лютню.

Ничa. Это он. Что делать?

Лигурио. Необходимо выслать разведчика, чтобы обнаружить, кто он. В зависимости от того, что он донесет, мы и будем действовать.

Ничa. Кто же пойдет?

Лигурио. Иди ты, Сиро. Ты знаешь, что тебе надо делать; разгляди, разведай, возвращайся живо, донеси.

Сиро. Иду.

Нича. Я бы не хотел, чтобы вы дали маху, чтобы это оказался слабый и хилый старикашка и чтобы завтра вечером пришлось начать игру сначала.

Лигурио. Не бойтесь, Сиро — ловкий малый. Вот уж он возвращается. Что нашел, Сиро?

Сиро. Это самый красивый молодчик, которого вы когда-либо видели. Ему нет и двадцати пяти лет и он идет себе один, в коротком плаще, играя на лютне.

Нича. Это в самый раз, если говоришь правду. Но берегись, если это не так, тебе не придется расхваливать.

Сиро. Он таков, как я вам сказал.

Лигурио. Подождем, когда он появится из-за этого угла, и тогда все сразу бросимся на него.

Нича. Подвиньтесь поближе, магистр, вы мне кажетесь парнем дюжим. Вот он.

Каллимако *(поет)*. Пусть чорт придет к тебе в постель, раз мне нельзя.

Лигурио. Смелее! А ты давай сюда лютню!

Каллимако. Ой, ой, что я вам сделал?

Нича. Увидишь. Покрой ему голову, зажми ему рот.

Лигурио. Крути его!

Нича. Дай ему еще раз, дай еще, пихай его в дом!

Фра Тимотео. Мессер Нича, я пойду себе отдохну, потому что у меня до смерти болит голова, и если не понадобится, то я завтра не вернусь.

Нича. Да, магистр, не возвращайтесь, мы сами справимся.

Явление X

Фра Тимотео *(один)*

Фра Тимотео. Они заперлись в доме, и я пойду в монастырь, а вы, зрители, не браните нас, если в эту ночь никто не будет спать, так что действие будет продолжаться без перерыва. Я буду читать молитву. Лигурио и Сиро будут ужинать, потому что они сегодня еще ничего не ели. Доктор из спальни будет ходить в залу, чтобы кухня работала как нужно. Каллимако и мадонна Лукреция спать не будут, потому что я знаю, что будь я на его месте, а вы на ее, мы бы наверное не спали.

КАНЦОНА

О сладостная ночь, святые
Часы успокоенья,
Друзья любовников самозабвенных,
Упоенья земные
Все в вас; вы — наслажденья
Прямой источник для сердец блаженных.
Вы полчищам влюбленных
Даруете награды.
После долгих томлений,
Ночь, под твоею властью
И ледяная грудь пылает страстью.

АКТ ПЯТЫЙ

Явление I

Фра Тимотео *(один)*

Фра Тимотео. Я не мог сомкнуть глаз всю ночь, так обуревает меня желание узнать, как это Каллимако и другие обделали дельце, и я старался убить время всякими способами. Я отслужил утреню, прочел одно из житий святых отцов, пошел в церковь и зажег потухшую лампаду, сменил покрывало на чудотворной мадонне. Сколько раз я говорил братьям, чтобы они содержали ее в чистоте. А потом они удивляются, что убывает благочестие. Я помню, когда там было пятьсот образков, а теперь нет и двадцати. В этом виноваты мы, что не сумели поддержать ее славы. Бывало, каждый вечер после часов мы ходили крестным ходом и каждую субботу пели песнопения. Мы сами делали приношения, чтобы всегда можно было видеть новые восковые фигурки[19]. Теперь ничего подобного не делается. И мы еще удивляемся, что дела идут вяло! Ох, как мало мозгов у этой моей братии! Но я слышу великий шум в доме мессера Нича. Вот они, клянусь богом. Они выталкивают узника. Значит, я пришел во-время. Они здорово замешкались. Уже светает. Я подслушаю, что они говорят, и не буду показываться.

Явление II

Мессер Нича, Каллимако, Лигурио и Сиро

Нича. Хватай его с этой стороны, а я с этой, а ты, Сиро, держи его сзади за плащ!

Каллимако. Не делайте мне больно!

Лигурио. Не бойся, только проваливай!

Нича. Дальше не пойдем.

Лигурио. Правильно, отпустим его здесь. Обернем его два раза, чтобы он не знал, откуда пришел. Крути, Сиро!

Сиро. Вот так!

Нича. Поверни еще раз!

Каллимако. А моя лютня?

Лигурио. Прочь распутник, проваливай! Если ты будешь еще болтать, я тебе глотку перережу.

Нича. Удрал. Пойдем переодеваться. Нам нужно всем выйти во-время, чтобы не было видно, что мы не спали эту ночь.

Лигурио. Вы правы.

Нича. Идите вы и Сиро к магистру Каллимако и скажите ему, что все прошло как нельзя лучше.

Лигурио. Что же мы можем сказать ему? Мы ничего не знаем. Вы знаете, что, придя в дом, мы отправились в погреб выпить. Вы и теща остались возиться с ним, и мы вас больше не видали до тех пор, пока вы нас не позвали, чтобы его выпроводить.

Нича. Вы правы. О, зато у меня есть что рассказать вам. Супруга моя была в постели впотьмах. Сострата меня ожидала у огня; я

поднялся наверх с этим молодчиком, и, чтобы чего-нибудь не проглядеть, я отвел его в каморку, которая у меня рядом с залой. Там горел слабый свет, бросавший бледное мерцание, так что он не мог видеть моего лица.

Лигурио. Разумно.

Нича. Я заставил его раздеться. Он сопротивлялся. Я тормошил его, как собака, так что ему казалось, что прошло тысячу лет, пока он вылез из одежды и остался нагишом. Он безобразен с лица. У него носище и рот на сторону, но я никогда не видел более красивого тела. Белое, нежное, упругое. О других вещах не спрашивайте.

Лигурио. Тут уж нечего было разговаривать. Нужно было видеть все.

Нича. Ты смеешься! Раз я уж запустил руку в квашню, я хотел нащупать и дно, а затем надо было посмотреть, здоров ли он. Если бы у него оказались язвы, хорош бы я был. Тебе легко говорить.

Лигурио. Вы правы.

Нича. Когда я увидел, что он здоров, я его вытащил за собой и впотьмах отвел его в спальню. Уложил его в постель и, перед тем как уйти, захотел на ощупь убедиться, как идет дело: я ведь не привык, чтобы мне очки втирали.

Лигурио. Вы провели это дело с большой предусмотрительностью.

Нича. После того как я все обтрогал и общупал, я вышел из спальни, запер дверь и пошел к теще, которая сидела у огня, и мы всю ночь провели за беседой.

Лигурио. О чем же вы беседовали?

Нича. О глупости Лукреции и о том, насколько было бы лучше, если бы она уступила сразу без всяких околичностей. Затем поговорили о младенце. Ведь мне уже кажется, что я держу его на руках, этого малыша. Мы так засиделись, что я слышал, как пробило пять часов, и, боясь, как бы нас не застал день, пошел в спальню. Что ж вы думаете? Я не мог поднять этого парня.

Лигурио. Верю.

Нича. Сало пришлось кошке по вкусу. Все же он встал, я вас вызвал, и мы его выпроводили.

Лигурио. Ловко обделано!

Нича. А знаешь, мне его жалко.

Лигурио. Кого?

Нича. Этого бедного юношу, что он должен умереть так скоро и что эта ночь ему обойдется так дорого.

Лигурио. Вот еще! Не было печали! Предоставьте ему об этом тужить.

Нича. Ты прав. Однако я жду не дождусь, когда увижу магистра Каллимако, чтобы порадоваться вместе с ним.

Лигурио. Он выйдет через час. Но уже совсем светло, мы пойдем переоденемся. А вы что будете делать?

Нича. Я тоже пойду домой надеть приличное платье. Подниму жену с постели и заставлю ее пойти в церковь взять молитву. Я хотел бы, чтобы вы и Каллимако тоже были там и чтобы мы поговорили с фрате, поблаго-

дарили его и вознаградили за то добро, которое он нам сделал.

Лигурио. Правильно. Так и сделаем.

Явление III

Фра Тимотео *(один)*

Фра Тимотео. Я слышал разговор, и он мне понравился, принимая в рассуждение, до чего глуп этот доктор. Но последнее заключение меня порадовало превыше всего; и так как они должны притти ко мне на дом, я не хочу здесь больше оставаться, а подожду их в церкви, где мой товар будет стоить дороже. Однако кто это выходит из этого дома? Мне кажется, что это Лигурио, а с ним, должно быть, Каллимако. Я не хочу, чтобы они меня видели, по причинам, выше изложенным, тем более, что если бы даже они не пришли ко мне, у меня всегда хватит времени зайти к ним.

Явление IV

Каллимако и Лигурио

Каллимако. Как я уже говорил тебе, мой Лигурио, мне было не по себе часов до трех ночи, и хотя я получил большое наслаждение, мне казалось, что дело неладно. Но после того как я открылся ей и высказал ей любовь, которую я к ней питаю, и как легко по глупости ее мужа мы можем жить счастливо без всякого позора, обещав ей взять ее в жены, как только господь приберет его к себе, а она,

помимо всех убедительных доводов, отведала разницу между ночью, проведенной со мной и с мессером Нича, и между поцелуями молодого любовника и старого мужа, немного повздыхав, сказала: „Раз твоя хитрость, глупость моего мужа, простоватость моей матери и низость моего духовника заставили меня сделать то, чего бы я никогда не сделала по собственному почину, я готова признать, что это случилось по соизволению неба, которое распорядилось так, а не иначе, и я не в праве отказаться от того, что небо повелевает мне принять. Поэтому я выбираю тебя своим господином, повелителем и руководителем. Ты — мой отец, мой заступник, и я хочу, чтобы ты был моим единственным благом. И то, чего мой муж захотел на один вечер, я хочу, чтобы было у него всегда. Итак, ты сделаешься его кумом и пойдешь сегодня утром в церковь, а оттуда обедать вместе с нами, и в твоей воле будет приходить к нам и оставаться у нас, сколько тебе захочется, и мы сможем видеться когда угодно, не возбуждая никаких подозрений". Услышав эти слова, я чуть не умер от восторга. Я не смог ответить и малой доли того, что мне хотелось сказать. Словом, я чувствую себя самым счастливым и довольным человеком, который когда-либо жил на свете. И если это счастие не отнимут у меня смерть или время, я буду блаженнее блаженных и праведнее праведных.

Лигурио. Я от души радуюсь каждой твоей удаче. И с тобой случилось точь-в-точь то,

что я тебе говорил. Но что же мы теперь будем делать?

Каллимако. Пойдем в церковь, потому что я обещал ей быть там. Туда придет она, ее мать и доктор.

Лигурио. Я слышу, как отворяется его дверь. Это они. Дамы выходят, а за ними доктор.

Каллимако. Направимся к церкви и там подождем их.

Явление V

Мессер Нича, Лукреция и Сострата

Нича. Лукреция, я полагаю, что если делать дело, то со страхом божиим, а не кое-как.

Лукреция. Что же еще надо делать?

Нича. Ишь ты как отвечает! Как петушится!

Сострата. Не удивляйтесь. Она несколько взволнованна.

Лукреция. Что вы хотите сказать?

Нича. Говорю, что хорошо бы мне пойти вперед, поговорить с фрате и сказать ему, чтобы он встретил тебя у входа в церковь и повел тебя к молитве, ибо сегодня утром ты все равно что снова родилась на свет.

Лукреция. Что же вы не идете?

Нича. Ты что-то очень смела сегодня. Вчера она казалась полумертвой.

Лукреция. Это по вашей милости.

Сострата. Идите к фрате. Впрочем, не нужно. Он выходит из церкви.

Нича. А ведь верно.

Явление VI

Фра Тимотео, мессер Нича, Лукреция, Каллимако, Лигурио и Сострата

Фра Тимотео. Я вышел к вам потому, что Каллимако и Лигурио сказали мне, что доктор и дамы идут в церковь.

Нича. Bona dies[20], отец.

Фра Тимотео. Добро пожаловать. От всей души желаю вам, мадонна, чтобы бог послал вам хорошенького мальчугана.

Лукреция. Дай бог.

Фра Тимотео. Бог даст непременно.

Нича. Я вижу в церкви Лигурио и магистра Каллимако.

Фра Тимотео. Да, мессере.

Нича. Позовите их.

Фра Тимотео. Идите сюда.

Каллимако. Спаси вас бог.

Нича. Магистр, дайте руку моей жене.

Каллимако. Охотно.

Нича. Лукреция, вот этому человеку мы будем обязаны тем, что у нас будет посох, который поддержит нашу старость.

Лукреция. Он мне очень дорог, и хорошо, если бы он сделался нашим кумом.

Нича. Вот теперь я хвалю тебя. Я хочу, чтобы он и Лигурио пришли сегодня отобедать с нами.

Лукреция. Непременно.

Нича. И я хочу дать им ключи от нижней комнаты, выходящей на лоджию, чтобы они могли входить туда, когда им будет угодно,

а то у них в доме нет женщин, и они живут не по-людски.

Каллимако. Я принимаю эти ключи, чтобы воспользоваться ими, когда мне понадобится.

Фра Тимотео. А я получу деньги на подаяния?

Нича. Вы это прекрасно знаете, отец. Сегодня же будут посланы.

Лигурио. О Сиро никто и не вспомнит.

Нича. Пусть попросит: все мое — его. А ты, Лукреция, сколько гроссов должна фрате за молитву?

Лукреция. Дайте ему десять.

Нича. Утопила!

Фра Тимотео. А вы, мадонна Сострата, привили новый росток к старому дереву.

Сострата. Как же тут не радоваться!

Фра Тимотео. Идемте все в церковь и там произнесем молитву, какую полагается. Затем после службы вы во благовремение пойдете обедать. А вы, зрители, не ждите, что мы еще выйдем: служба длинная, и я останусь в церкви, а они через боковую дверь отправятся домой. Прощайте.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Поход Карла VIII, короля Франции, в Италию (1494) был началом войн из-за Италии между Францией и Габсбургами. Результатом их было то, что и юг, и север (Неаполь с Сицилией и Миланская область) достались Испании (см. вступительную статью).

[2] Лигурио, паразит, так же как и Сиро, слуга,— типы, заимствованные из римской комедии, но у Макиавелли получившие бытовые итальянские черты.

[3] Лигурио — человек мало образованный и путает названия.

[4] „Добрый день, господин магистр".— „И вам также, господин доктор".

[5] „К нашему делу".

[6] „Ибо причины бесплодия либо в семени, либо в матке, либо в семенном аппарате, либо в мужском органе, либо во внешних причинах".

[7] Проконсул — титул старшины консулов, судей и нотариусов.

[8] „Ибо женская моча всегда гуще и мутнее мужской и не так прозрачна. Причина этого, между прочим — широта каналов и смешение мочи с выделениями из матки".

[9] Часы, которые у Макиавелли, естественно, идут по флорентинскому счету, в переводе даются по счету, принятому теперь.

[10] Старый Рынок и Новый Рынок — во времена Макиавелли самые людные места Флоренции. Названия сохранились, а на Новом Рынке еще и сейчас производится торговля.

[11] Сервиты — монашеский орден.

[12] Страх перед нашествием турок особенно усилился в Италии после взятия Константинополя (1453). Он имел основания, ибо в 1480 г. турками был на некоторое время захвачен на юге Италии приморский город Отранто.

[13] Эту поговорку Макиавелли принужден был объяснять в одном из писем к Гвиччардини, который также ее не понял, как не поняли бы, разумеется, и мы. Существовала басня: жабе очень хотелось узнать, что такое борона, и когда борона пошла по полю, где жила жаба, жаба высунулась и была больно ею задета. Жаба и сказала тогда: «Уходи и не возвращайся».

[14] Персонаж из новеллы.

[15] Людные места во Флоренции.

[16] Ипокрас — вино, сваренное с пряностями.

[17] Значение слов „Пасквина войдет в Ареццо" — то же, что „сатана войдет в ад" у Боккаччо или „папа войдет в Рим" у Мазуччо. Мона Гинга — персонаж из новеллы.

[18] Из алоэ приготовлялись благовония. Шарики Лигурио, очевидно, были менее всего благовонны.

[19] Восковые фигурки были самыми дешевыми приношениями по обету (ex voto). Более состоятельные люди дарили фигурки серебряные и даже золотые.

[20] „Добрый день".

БЕЛЬФАГОР

Забавнейшая новелла Никколо Макиавелли

„Бельфагор" — самая беспритязательная и легкая вещь, написанная Макиавелли. Точную дату ее написания установить трудно, но она несомненно относится к последним годам жизни Никколо. Сюжет ее — один из многих так называемых мигрирующих сюжетов, очень обычных в итальянской новеллистике. До Макиавелли он дошел всего вероятнее устным путем, а первоначальным его источником была турецкая книга „Сорок визирей", восходящая к арабским и индийским образцам. После Макиавелли сюжет этот был использован многими итальянскими новеллистами, а позднее Лафонтеном, обильно черпавшим, как известно, у итальянцев и превратившим в очаровательную стихотворную новеллу также и „Мандрагору".

Макиавелли расцветил по-своему восточный сюжет. Он перенес действие в Италию и Францию, назвал наугад французского короля первым подвернувшимся именем — Людовик VII — и весело заставил его вступить в сношения с флорентинской Синьорией, не смущаясь тем, что между смертью Людовика VII и появлением Синьории во Флоренции прошло около

ста лет. Очевидно, „Бельфагор“ был для Макиавелли отличным отдыхом от „Истории Флоренции“, где необходимость сверять даты и блюсти хронологию портила Никколо так много нервов.

Кто-то высказывал предположение, что Макиавелли этой новеллой заклеймил сварливость и строптивый нрав своей жены — Марietты Корсини. Это совершенно неправдоподобно. Отношения Никколо с женою все время были очень сердечные, ибо мона Марietта обладала, судя по всему, большим тактом, понимала, что к такому мужу, как Никколо нельзя подходить с обычными мерками, и глядела сквозь пальцы на все его многочисленные шалости.

„Бельфагор“ отвечал какой-то определенной потребности Макиавелли испробовать свои силы в настоящем новеллистическом жанре.

О том, как его тянуло к новеллистике, нетрудно догадаться, читая не только „Каструччо Кастракани“, но и „Историю Флоренции“, где при всяком удобном случае он бросает важный стиль историка и берется за перо рассказчика. А некоторые из его писем представляют собою самые настоящие новеллы, отделанные тем более тщательно, чем меньше их размеры. „Бельфагор“ — новелла, которую Макиавелли обработал по всем правилам литературного канона.

Сколько нам известно, „Бельфагор“ на русский язык переведен никогда не был.

А. Д.

Архидьявол Бельфагор послан Плутоном в мир сей с предписанием жениться. Явившись сюда, он женится, но, не в силах вынести злоправия жены, предпочитает возвратиться в ад, нежели вновь соединиться с нею.

В древних летописях флорентинских имеется рассказ некоего благочестивого мужа, жизнь коего прославлялась современниками его, о том, как в молитвенном восхищении узрел он, как неисчислимые души несчастных смертных, умерших в немилости божией, шествуя в ад, все, или же большая часть их, плакались, что подверглись злополучной сей участи лишь по причине женитьбы своей. Сему Минос и Радамант вместе с другими адскими судьями дивились немало; и не придавая веры сим клеветам их на женский род, жалобы на который росли изо дня в день, вошли с соответствующим докладом к Плутону; он же положил, по зрелому рассмотрению сего дела вкупе со всеми князьями адскими, принять то решение,

что признано будет наилучшим, дабы либо разоблачить сей обман, либо признать всю его истину. Итак, созвав их на совет, сказал им Плутон такое слово: „Хотя, любезнейшие мои, по небесному предначертанию, непреложному вовеки волей судеб, владею я царством сим и в силу сего не обязан полагаться ни на какое суждение, ни небесное, ни земное, тем не менее, поскольку благоразумнее власть имущим подчиняться законам и уважать чужое суждение, положил я держать совет с вами касательно некоего дела, как могущего навлечь позор на государство наше, коим должен я править. Ибо, поскольку все души людские, прибывающие в царство наше, говорят, что причиной тому жена, и поскольку сие представляется нам возможным, опасаемся, что, давая веру таким рассказам, можем мы быть оклеветаны в чрезмерной жестокости, не давая же — в недостатке суровости и в малой любви к справедливости. И поскольку, в одних грехах виновны люди по легкомыслию, в других — по неправоте своей, и желая избежать обвинений в том, что может зависеть от того и от другого, и не находя к тому способа, созвали мы вас сюда, дабы советом своим помогли вы и послужили тому, чтобы царство сие как в прошлом существовало без позора, так и в будущем сохранялось бы таковым же".

Каждому из князей дело сие показалось важнейшим и труднейшим, но, решив единодушно, что истину открыть необходимо, разошлись они в суждениях относительно способа. Ибо одним

казалось, что следует послать одного из них на землю, дабы в образе человеческом лично узнал он всю правду; многим же другим казалось, что можно обойтись без таких хлопот, принудив разные души разными муками открыть истину. Но как большинство согласилось в том, что послать надлежит, то и склонились к такому мнению. И не находя никого, пожелавшего бы добровольно взяться за сие дело, рассудили определить избранника жребием. Выпал он Бельфагору, ныне архидьяволу, в былое же время, до низвержения с небес, архангелу; хотя и неохотно брал на себя он сию повинность, однако, принужденный властью Плутона, согласился последовать решению совета и подчинился условиям, кои торжественно были тут установлены и состояли в том, чтобы немедленно было вручено отряженному с сим поручением сто тысяч дуктов, с коими должен был он явиться на землю, в образе человеческом вступить в брак и прожить с женой десять лет; а засим, притворившись умершим, вернуться обратно и по личному опыту доложить верховному начальству, каковы тяготы и неудобства супружеской жизни. Объявлено было ему еще, что в течение указанного времени он будет подвержен всем тем нуждам, всем тем бедам, коим подвержены люди, вплоть до нищеты, темницы, болезни и всяких иных несчастий, коим подпадают люди, ежели только обманом или хитростью не освободится от них.

Итак, получив наказ и деньги, Бельфагор прибыл в мир сей и, в сопровождении конной

свиты, с великой пышностью въехал во Флоренцию, каковой город предпочтительно пред всеми другими избрал для своего пребывания как наиболее подходящий, по его мнению, для помещения в рост денег. Приняв имя Родериго из Кастильи, он снял внаймы дом в предместьи Всех Святых. Дабы предупредить излишние расспросы о своем происхождении и положении, он объявил, что еще в юные годы выехав из Испании и направившись в Сирию, нажил все свое состояние в Алеппо, откуда поехал в Италию, намереваясь найти себе жену в странах более светских и более соответствующих требованиям гражданского общежития и собственному его душевному расположению. Был Родериго человек весьма красивый и на вид лет тридцати; с первых же дней он блеснул всем своим богатством и выказал столь образцовую светскость и твердость, что многие знатные граждане, имевшие много дочерей и мало денег, искали породниться с ним; изо всех остановил свой выбор Родериго на отменно красивой девушке, по имени Онеста, дочери Америго Донати, имевшего еще трех других дочерей. И хотя принадлежал он к весьма знатному роду и пользовался общим уважением во Флоренции, тем не менее, по отношению к многочисленной семье своей и знатности, был он крайне беден.

Свадебный пир задал Родериго наславу, не забыв ничего из того, что требуется на таковых празднествах, будучи, по условиям, установленным для него при отбытии из ада, под-

вержен всем страстям человеческим. Он сразу вошел во вкус почестей и пышностей света и стал дорожить людскими хвалами, что ввело его в немалые расходы. Кроме того, не прожил он и нескольких дней со своей моной Онестой, как влюбился в нее превыше всякой меры и жить не мог, чуть только видел ее печальной и чем-либо недовольной. Вместе со знатностью и красотой своей принесла мона Онеста в дом к Родериго нрав столь строптивый, что самому Люциферу было бы далеко до нее; и Родериго, испытавший нрав их обоих, рассудил, что жена обладает тут превосходством. Но стала она куда еще строптивее, лишь только обнаружила всю любовь к себе мужа; решив, что может захватить полную власть над ним, она стала повелевать им без зазрения совести и не задумывалась грызть его грубыми и оскорбительными словами, когда в чем-либо был отказ ей от него, что причиняло Родериго несказанную тоску. И все же тесть, шурья, вся родня, брачный долг, а сверх всего великая любовь к жене, заставляли его сносить все терпеливо. Я уж не говорю об огромных расходах, которые делал он, дабы угодить ей, одевая ее в новые платья, и угодить ее прихоти поспевать за модой, которую город наш имеет обыкновение менять то и дело, не говорю, что был он вынужден, желая жить с ней в мире, помочь тестю выдать замуж других его дочерей, что стоило ему огромных денег. Засим, ради ее удовлетворения, ему пришлось снарядить одного шурина в торговую поездку на Восток

с тонкими тканями, а другого на Запад с плотными сукнами, да еще помочь третьему открыть золоточеканную мастерскую, на каковые предприятия истратил он большую часть своего состояния. Помимо того, во время карнавала и в день св. Иоанна, когда весь город, по древнему обычаю, предается празднествам, и многие знатные и богатые горожане задают пиры наславу, мона Онеста, дабы ие отстать от других дам, желала, чтобы ее Родериго превосходил всех роскошью своего гостеприимства. Все это, по указанным выше причинам, нес он покорно, и даже тягчайшее бремя не показалось бы ему тяжелым, лишь бы только принесло оно мир его дому и мог он спокойно дожидаться срока своего разорения. Но случилось обратное, ибо вместе с непосильными расходами нестерпимый характер жены причинял ему бесконечные беспокойства, и не находилось ни раба, ни слуги в его доме такого, чтобы не то что долгое время, а и кратчайшие дни мог бы он вытерпеть. Отсюда проистекали для Родериго тягчайшие затруднения, ибо он не мог найти себе верного и преданного раба, и, равно как и прочие слуги, даже те дьяволы, что сопутствовали ему в качестве его челяди, предпочли лучше вернуться в огонь преисподней, нежели жить в этом мире под ее владычеством.

В таких тревогах и беспокойствах своей жизни, растратив уже беспорядочными расходами и ту движимость, что у него сохранилась, Родериго стал жить надеждой на выручку, что

ожидал с Запада и с Востока. Пользуясь все еще хорошим кредитом, дабы не уронить своего достоинства, он занял деньги под проценты, но, имея уже за спиной большие долги, требовавшие уплаты, он скоро попал на отметку тех, кто занимался подобными же денежными операциями. Когда дела его уже совсем висели на волоске, с Запада и с Востока пришли внезапно известия, что один из братьев моны Онесты проиграл все имущество Родериго, а другой, возвращаясь на корабле, нагруженном его товарами, и ничего не застраховав, утонул вместе с ним. Не успели эти новости стать известными, как кредиторы Родериго, собравшись на совещание, рассудили, что он разорен, и так как обнаружиться это еще не могло, поскольку срок уплаты им еще не наступил, положили, что следует учинить за ним бдительное наблюдение, дабы, от слов к делу, не бежал он тайком. Родериго же, с своей стороны, не видя, чем помочь беде, и памятуя о своих обязательствах перед законами приисподней, решил бежать во что бы то ни стало. Однажды утром, сев верхом на лошадь, выехал он через ворота Прато, неподалеку от коих жил; не успела разнестись весть о его отъезде, как шум поднялся среди его кредиторов, которые не только потребовали скороходов у власти, но и сами всей толпой бросились его преследовать. Родериго не отъехал и на милю от города, как услышал за собой шум погони, и потому, рассудив, что ему не сдобровать, решил, чтобы скрыть свое бегство, съехать с дороги и пуститься наудачу

по полям. Но из-за множества канав, пересекавших всю местность, он не мог продолжать свой путь верхом и, оставив коня на дороге, побежал пешком с поля на поле, по виноградникам, и камышам, коими изобилует эта местность, пока не достиг выше Перетолы хижины Джованни Маттео дель Брикка, арендатора земли Джованни дель Бене; но счастью, он застал дома Джованни Маттео, который задавал корм волам, и, назвав себя, обещал ему, что ежели он спасет его из рук врагов, преследующих его, чтобы уморить в темнице, то он обогатит его, в чем при прощании даст ему верное ручательство; в противном же случае согласен, чтобы он сам выдал его в руки врагов. Хотя и крестьянин, был Джованни Маттео человек храбрый и, рассудив, что не прогадает, согласившись его спасти, дал ему в том обещание; спрятавши его в навозной куче перед своей хижиной, он прикрыл его камышом и соломой, заготовленными им на топливо. Не успел Родериго скрыться, как явились его преследователи и угрозами могли лишь добиться от Джованни Маттео, что видеть его он видал, только и всего.

Лишь только шум утих, Джованни Маттео, вытащив Родериго из убежища, где тот находился, потребовал от него исполнения данного слова. На что Родериго ответил:

— Брат мой, ты оказал мне великую услугу, и я желаю тебя всячески отблагодарить; а чтобы ты убедился в том, что я могу это сделать, скажу тебе, кто я такой.

И тут он рассказал ему все о себе самом и об обязательствах, принятых им на себя при выходе из ада, и о своей женитьбе; а засим сообщил ему способ, каким намеревался его обогатить и состоявший в следующем: как только Джованни Маттео услышит о какой-либо бесноватой, пусть знает, что вселился в нее не кто иной, как он сам своею собственной персоной, и не выйдет из нее, пока тот не явится изгнать его, что даст ему случай потребовать любой платы от ее родителей. Порешив на том, они распростились, и Родериго пустился своей дорогой.

Прошло не много дней, как по всей Флоренции разнесся слух, что дочь мессера Амброджо Амедеи, выданная замуж за Буонайуто Тебальдуччи, одержима бесом. Родители применили все средства, какие в подобных случаях применяются: возлагали ей на голову главу св. Зиновия и плащ св. Иоанна Гуальбертийского, но все это вызвало лишь издевательства со стороны Родериго. И дабы каждому стало ясно, что болезнь девушки имела причиной злого духа и не была плодом фантастического воображения, он говорил по-латыни, рассуждал о философских предметах и разоблачал прегрешения многих: среди прочих разоблачил он грех одного монаха, который в течение более четырех лет держал в своей келье женщину, переодетую монашком; все это вызывало всеобщее изумление. Был поэтому в большом горе мессер Амброджо и, тщетно испытав все средства, потерял уже всякую наде-

жду на ее излечение, когда Джованни Маттео явился к нему и пообещал исцелить его дочь, ежели он даст ему пятьсот флоринов на покупку имения в Перетоле. Мессер Амброджо принял условия; тогда Джованни Маттео, приказав прежде всего отслужить обедню, после разных обрядов, чтобы пустить пыль в глаза, наклонился к уху девицы и сказал:

— Родериго, вот я явился к тебе, чтобы ты сдержал свое обещание.

На что Родериго ответствовал:

— Превосходно, но сего недостаточно, чтобы обогатить тебя; посему, удалившись отсюда, я войду в дочь Карла, короля неаполитанского, и не выйду из нее без твоего вмешательства. Потребуй себе тогда какого хочешь вознаграждения и больше уж не беспокой меня.

С этими словами он вышел из нее, на радость и удивление всей Флоренции.

Не прошло после того много времени, как по всей Италии, разнесся слух о таком же происшествии с дочерью короля Карла; не получив никакой действительной помощи от монахов и прослышав о Джованни Маттео, король послал за ним во Флоренцию, и тот, прибывши в Неаполь, после нескольких мнимых обрядов исцелил ее. Но Родериго, прежде чем удалиться, сказал:

— Видишь, Джованни Маттео, я сдержал свое обещание обогатить тебя и посему, расплатившись с тобой, я больше ничего тебе не должен. Итак, постарайся отныне не попадаться мне на пути, потому что ежели я тебя до сих пор

благодетельствовал, то впредь тебе от меня неподоровится.

Возвратившись во Флоренцию богатым-пребогатым, потому что получил от короля более пятидесяти тысяч дукатов, Джованни Маттео думал тихо и мирно наслаждаться своим богатством, не помышляя о том, чтобы Родериго чем-либо собирался повредить ему. Но мысли его были внезапно смущены пронесшимся слухом, что одна из дочерей Людовика VII, короля французского, одержима бесом. Эта новость взволновала всю душу Джованни Маттео, сразу подумавшего о могуществе сего короля и о словах, сказанных ему Родериго. И действительно, не находя средства излечения дочери и прослышав о силе, какою обладал Джованни Маттео, король сперва просто послал своего скорохода за ним; но когда он сослался на некоторое нездоровье, король был вынужден обратиться к Синьории, и та заставила Джованни Маттео повиноваться. Безутешный, отправился он в Париж и первым делом доложил королю, что все это так: ему случилось в прошлом излечить нескольких бесноватых, но это не значит, что он умеет или может исцелить всякую; ибо встречаются бесы столь упорные, что не боятся ни угроз, ни заклинаний, ни религиозных обрядов; но со всем тем он готов исполнить свой долг, если же его постигнет неудача, просит уж не взыскать и простить его. На что король, вознегодовав, ответствовал, что ежели он не исцелит его дочери, то будет повешен. Великая скорбь охватила Джованни Мат-

тео; однако, собравшись с духом, велел он привести бесноватую и, наклонившись к ее уху, смиренно обратился к Родериго, напомнив об оказанном ему благодеянии и указав, какую проявит он неблагодарность, ежели не поможет ему в такой крайности. На что Родериго ответствовал:

— О, вероломный негодяй! как осмеливаешься ты предстать предо мною? Вздумал ты похваляться, что ли, что разбогател с моей помощью? Вот покажу я тебе и каждому, как умею и я дарить и отнимать дареное по своей прихоти. Не уйти тебе отсюда, миновав виселицу.

Тут Джованни Маттео, не видя для себя выхода, решил попытать счастья другим путем и, велев увести одержимую, обратился к королю с такими словами:

— Государь, как доложил я вам, бывают духи столь злобные, что с ними добром ничего не поделаешь, и сей один из таких, посему хочу я сделать последний опыт, и, ежели удастся он, ваше величество и я будем довольны, а не удастся, так предаю себя в твои руки и прошу лишь о сострадании к моей невинности. Прикажи посему на площади богоматери Парижской построить большой помост, такой, чтобы разместить на нем всех твоих баронов и все городское духовенство, прикажи украсить помост шелками и парчей и соорудить посредине его алтарь; в ближайшее воскресенье утром ты явишься туда с духовенством, вкупе со всеми твоими князьями и баронами, со всей королевской пышностью, в блестящих и роскошных

одеяниях и, по совершении торжественной обедни, прикажешь привести бесноватую. Кроме сего, пусть с одной стороны площади соберутся не менее двадцати музыкантов с трубами, рогами, волынками, тарелками, кимвалами и всякими другими шумовыми инструментами и, как только я подниму шапку, громко заиграют на них и двинутся по направлению помоста. Все сие вместе с некоторыми другими тайными средствами, думаю, заставит удалиться сего духа.

Король тотчас же распорядился обо всем, и когда наступило воскресное утро и помост наполнился важными особами, а площадь народом, и была отслужена обедня, одержимая была приведена двумя епископами в сопровождении многих царедворцев. Увидев такое количество собравшегося народа и такие приготовления, Родериго чуть не обомлел и сказал про себя: „Что еще выдумал этот негодяй? Думает он, что ли, запугать меня всей этой пышностью? Не знает он разве, что я довольно навидался и небесной славы и адских ужасов? Достанется же ему от меня".— И когда Джованни Маттео приблизился и попросил его выйти вон, он сказал ему:

— Ого! хороша твоя выдумка! Чего ты думаешь добиться всеми твоими приготовлениями? Думаешь ты, что ли, избежать этим моей власти и королевского гнева? Мужик проклятый, не миновать тебе виселицы.

И когда он продолжал поносить его упреками и бранью, Джованни Маттео решил не терять больше времени и подал знак шапкой; тотчас

же все, отряженные на производство шума, заиграли на своих инструментах и, громыхая так, что небеса содрогнулись, двинулись к помосту. На такой шум Родериго навострил уши и, не понимая, что сие значит, и весьма изумляясь, совсем растерявшись, спросил у Джованни Маттео, что сие означает. На что Джованни Маттео в полном смущении отвечал:

— Беда! милый ты мой Родериго, ведь то жена твоя идет за тобой.

Нельзя и представить себе, какой переполох в голове Родериго вызвало одно упоминание имени его жены; так он переполошился, что, и не задаваясь мыслью о том, возможно ли и допустимо, чтобы то была она, не думая о возражениях, в ужасе обратился в бегство, покинув девицу, и предпочел скорее вернуться в ад и отдать там отчет в своих действиях, нежели снова наложить на себя супружеское ярмо со всеми сопряженными с ним хлопотами, досадами и опасностями. Итак, Бельфагор, возвратившись в ад, поведал о всем том зле, что приносит с собой жена в дом мужа, а Джованни Маттео, который знал про то лучше самого дьявола, веселый вернулся домой.

ПРИЛОЖЕНИЯ

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ

1469 — Рождение Макиавелли.
1478 — Заговор Пацци во Флоренции.
1494 — Карл VIII в Италии.
„ Изгнание Пьеро Медичи.
„ Отпадение Пизы от Флоренции.
1494—1498 — Савонарола во Флоренции.
1495 — Битва при Форнуово.
1498 — Казнь Савонаролы.
„ Макиавелли поступает на службу.
1499 — Людовик XII в Италии.
„ Покорение Милана французами.
„ Цезарь Борджа в Романье.
„ Казнь Паоло Вителли.
1501 — Французы и испанцы в Неаполе.
1502 — Учреждение пожизненного гонфалоньерата во Флоренции (Пьеро Содерини).
„ Цезарь отнимает Урбино у Гвидубальдо Монтефельтро.
„ Лига против Цезаря (Орсини, Бальони, Вителли и др.).

1503 — Ловушка в Синигалии.
„ Смерть Александра VI, избрание Пия III, потом Юлия II.
„ Цезарь отказывается от Романьи.
1504 — Победа Гонсальво над французами при Гарильяно.
1504 — Смерть Пьеро Медичи.
1505 — Завоевание Неаполитанского королевства испанцами.
1506 — Взятие Болоньи папою Юлием II.
„ Учреждение флорентинской милиции (Ordinanza).
1507 — Смерть Цезаря Борджа.
1508 — Камбрейская лига (папа Юлий, Испания, Франция, Германия) против Венеции.
1509 — Поражение венецианцев при Аньяделло.
„ Взятие Пизы флорентинцами.
1510 — Неудачная осада Падуи императором Максимилианом.
1511 — Священная лига, образованная Юлием II против французов в союзе с Испанией.
1512 — Победа французов при Равенне.
„ Взятие Прато испанцами.
„ Реставрация Медичи во Флоренции.
Заговор Пьетро Паоло Босколи против Медичи.
„ Макиавелли теряет место. Тюрьма и пытка.
1513 — Германия присоединяется к Священной лиге.
„ Поражение французов при Поваре.
„ Смерть Юлия II. Избрание Льва X Медичи.
1513 — 1515 — Написание „Князя“ и „Discorsi“.
1515 — Поход Франциска I в Италию.

1515 — Победа его при Мариньяно и завоевание Милана.
1516 — Мир Франциска с папою Львом X.
„ Смерть Джулиано Медичи, брата папы Льва X.
1517 — Макиавелли в садах Ручеллаи.
1519 — Смерть Лоренцо Медичи, племянника папы.
1520 — „Военное искусство".
1521 — Смерть Льва X и избрание Адриана VI.
1522 — Заговор против кардинала Джулио Медичи во Флоренции.
1523 — Смерть Адриана VI. Джулио Медичи — папа (Климент VII).
1524 — Гвиччардини — „президент" Романьи.
1525 — Новый поход Франциска в Италию.
„ Битва при Павии и пленение Франциска.
1520 — 1525 — „История Флоренции".
1526 — Коньякская лига (папа, Франция, Англия, швейцарцы, Венеция) против Испании.
„ Гвиччардини — наместник папы при армии.
„ Битва у Говерноло и смерть Джованни Медичи.
1527 — Взятие и разгром Рима испанцами (Sacco di Roma).
„ Смерть Макиавелли.

БИБЛИОГРАФИЯ

Из крупных сочинений, посвященных Макиавелли, частично переведена на русский язык только монография *Виллари,* продолжающая оставаться лучшей общей работою о великом флорентинце. Этого места не отнял у нее ни один из появившихся после нее новых трудов, хотя в числе последних имеются и такие капитальные, как законченная в 1911 году книга *Оресто Томмазини.* Из трех томов Виллари переведен лишь первый (*Паскуале Виллари,* Никколо Макиавелли и его время, т. I, перевод Кригеля, под редакцией *А. Волынского,* 1917). Книге предпослана статья *М. М. Ковалевского.* Ему же принадлежит обзор учения Макиавелли в книге „От прямого народоправства к представительному“ (т. I, 1906), в котором, в противоположность обычным обзорам, доктрина рассматривается в тесной связи с общественными и политическими условиями эпохи.

Оригинальная монография о Макиавелли на русском языке только одна — *А. С. Алексеев,* Макиавелли

как политический мыслитель (1880). Книга принадлежит известному юристу-государствоведу, проф. Московского университета. Это строго догматический анализ политической доктрины Макиавелли. Небольшую книжку о Макиавелли напечатал *Топор-Рабчинский* („Макиавелли", 1909).

Столь же догматическим характером, как и книга Алексеева, отличаются отделы, посвященные Макиавелли в историях политических учений, принадлежащих другим нашим юристам: *Б. Н. Чичерину* („История политических учений", т. I, изд. 2-е, 1903), *Н. И. Новгородцеву* (в курсе „Политические мыслители" и в „Книге для чтения по истории Средних веков", т. IV, 1891). В работе *Е. Н. Трубецкого* — Политическое мировоззрение эпохи Возрождения (1895) — главное внимание обращено на философскую сторону.

В последнее время Макиавелли посвятил три статьи *В. Максимовский*. Наиболее важная из них — „Идея диктатуры у Макиавелли" („Историк-марксист", т. XIII, 1929). Предмет второй („Архив Маркса и Энгельса", 1929, кн. IV) составляет отношение к Макиавелли Карла Маркса, а третьей (тот же „Архив", 1930, кн. V) — юбилейная литература, появившаяся в связи с четырехсотлетием со дня смерти Макиавелли (1727).

„Князь" переводился на русский язык трижды, причем по крайней мере два раза из трех — так сказать, с пересадкой с других языков: откровенно — с немецкого *Федором Заттлером*, интендантским чиновником, искавшим, вероятно, в книге оправдания гомерическому казнокрадству, за которое он поплатился после Крымской кампании („Монарх", Спб. 1869),

Н. Курочкиным с французского, в чем его изобличают ошибки, добросовестно повторяющие ошибки французских переводчиков („Государь и рассуждения на первую декаду Тита Ливия", Спб. 1869), и *С. Роговиным* („Князь", 1910), относительно которого нельзя утверждать с определенностью зависимость от переводчиков на другие языки, но и нельзя ручаться за то, что он сделан непосредственно с итальянского. Перевод *М. С. Фельдштейна,* таким образом, должен считаться первым, который честно — и на наш взгляд вполне успешно — добивался передачи на русский язык подлинника в упорной борьбе с могучим и капризным стилем самого Макиавелли.

А. Д.

Библиотека завкома
инв. № 6131

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

1. **Макиавелли.** *Гравюра из издания Testi 1545 г.* . . . 3
2. **Лоренцо Медичи.** *С портрета Вазари* 32
3. **Гвиччардини.** *Современная гравюра* 48
4. **Джованни делле Банде Нере.** *С портрета неизвестного художника (Турин, Галлерея)* 64
5. **Гонсальво Кордовский.** *Современная гравюра* . . . 65
6. **Цезарь Борджа.** *Современная гравюра* 80
7. **Вителлоццо Вителли.** *Современная гравюра* . . . 81
8. **Юлий II.** *Современный рисунок (Рим, палаццо Киджи)* . 96
9. **Лев X.** *Акварель, Вена* 97
10. **Климент VII.** *С портрета Вазари* 112
11. **Карта событий 1502—1527 гг.** 113

Художественная редакция
М. П. Сокольников
Литерат.-технич. наблюдение
А. Н. Плавильщиков
Тех. ред. И. А. Подсухин
Наблюдение на производстве
М. И. Козлов

Сдана в набор 14/XI 1932.
Подп. к печати 25/XI 1933.
Тираж 5300. Уполном. Главлита Б—24090. Зак. тип. 7220.
Ас. 55. Инд. А-1. Авт. л. 18¼.
Печ. л. 15⅞. Бум. 74×105/32.
Тип. зн. в 1 бум. листе 92928

Отпечатано на ф-ке книги
«Красный пролетарий»
Москва,
Краснопролетарская, 16.

Цена Р. 8.00
Переплет Р. 2.00